Андрей Амальрик

НЕЖЕЛАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В СИБИРЬ

A Harvest Special HB 191 $7.50 Slightly higher in Canada

НЕЖЕЛАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В СИБИРЬ

Андрей
Амальрик

НЕЖЕЛАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В СИБИРЬ

HARCOURT BRACE JOVANOVICH, INC.
NEW YORK

Involuntary Journey to Siberia

Hardbound ISBN 0-15-145503-1

Paperbound ISBN 0-15-645394-0

Library of Congress Catalog Card Number: 75-118829

Printed in the United States of America.

ОГЛАВЛЕНИЕ

НЕЖЕЛАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В СИБИРЬ

То, что произошло со мной и что я здесь описываю, не является сколько-нибудь удивительным или исключительным в моей стране. Но как раз этим моя история интересна.

Я старался писать как можно проще, не пренебрегая скучными подробностями; из них, большей частью, и складывается существование заключенного и ссыльного, иначе едва ли можно почувствовать атмосферу, в которой я жил. Я очень хотел писать объективно; если мне это не совсем удалось и кое-где проскальзывают ноты раздражения, я очень сожалею об этом. Я хотел, чтобы читатель, волей-неволей видя всё моими глазами, всё же мог бы дать свою оценку увиденному. Мне самому всё происходящее казалось порой до чудовищности нелепым, в другие минуты — совершенно естественным.

Я буду доволен, если моя книга, пусть в самой незначительной степени, будет содействовать пересмотру взгляда, что насилием можно достичь каких-то положительных результатов.

Глава первая
ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ «НЬЮСУИКА»

В конце января 1965 года я был разбужен телефонным звонком, и незнакомый женский голос сказал, что для меня есть каталог выставки Зверева. Так я узнал, что выставка, о которой так много говорилось и в возможность которой так мало верилось, все-таки состоится. Ее предистория довольно интересна, я скажу о ней в двух словах.

Во время своего первого визита в Москву французский дирижер Маркевич увидел в одном частном собрании среди картин Кандинского, Шагала и Татлина работы молодого московского художника Анатолия Зверева. Впоследствии он познакомился с самим Зверевым. Он встретил человека среднего роста, небритого, давно не мывшегося, в поношенной одежде с чужого плеча, стоптанных ботинках, с маленьким личиком, затравленными глазами и нервными жестами. Маркевич уже знал, что перед ним одна из самых интересных фигур современной русской живописи, но я думаю, что в его любви к Звереву как художнику и в решении устроить ему выставку за границей большую роль сыграл интерес к Звереву-человеку. Маркевич и Зверев казались мне вообще очень похожими друг на друга, и мне приходила в голову мысль, что если Звереву дать уверенность и славу знаменитого дирижера, он был бы вылитый Маркевич.

Я познакомился с Игорем Борисовичем Маркевичем во время его последнего приезда в Советский Союз осенью 1964 года, когда, по его словам, выставка уже была делом решенным, он уже договорился с владелицей галереи. Тем не менее я мало верил в это, именно потому, что о выставке так открыто и много говорилось, тогда как мы в Москве самое маленькое начинание в области левого искусства привыкли обставлять строжайшей тайной. И вот теперь я смог убедиться, что был неправ.

Выставка открылась третьего февраля. Не знаю, какое место она заняла в художественной жизни Парижа, но для русского искусства первая выставка художника-авангардиста послевоенного поколения была, как мне кажется, большим событием. Выставка, кроме того, имела еще один любопытный аспект. Она была как бы пробным камнем для советских официальных лиц, ведающих вопросами искусства. Ведь Зверев не считался художником в Советском Союзе, и выставка была частным делом Маркевича, которое он не согласовывал с чиновниками министерства культуры или с другими должностными лицами. Однако, раз уж она открылась, власти должны были как-то выказать свое отношение к ней, тем более, что за выставкой Зверева за границей могли последовать выставки других русских художников, далеких от социалистического реализма и академизма.

Последним в Москве о выставке узнал сам Зверев. Я долго не мог разыскать его, своего дома у него не было, и он скитался по Москве, снимая комнату или ночуя где придется. Обычно он заходил ко мне чуть ли не каждый день, но тут как на зло пропал. Мы уже отмечали открытие выставки, мой отец, художник Плавинский и я, когда неожиданно появился Зверев в непомерно большом красном пальто с чужого плеча. Как кажется, наше известие мало взволновало его, он заметил только, что мы немного поспешили, сегодня еще только второе февраля. Мы, правда, часто путали числа, потому что никто из нас каждый день не ходил на работу.

Тем временем по Москве о выставке стали распространяться самые комичные слухи, вроде того, что выставку посетил Пикассо и скупил все картины или что Маркевич прилетел за Зверевым на самолете и увез его на два дня в Париж. Звереву в Париже крайне не понравилось и он попросился скорее обратно в Москву. Говорили также, что выставленные работы в действительности написала жена Зверева, Зверев подписал, а я продал за бешеные деньги простофиле Маркевичу.

Наконец, Зверевым заинтересовалось министерство культуры. Начальник одного из отделов министерства, ведающий экспортом картин, попытался разыскать Зверева через коллекционера Костаки. Костаки дал Звереву телефон министерства, и в середине февраля он позвонил туда. В министерстве, по

словам Зверева, очень обрадовались его звонку и попросили тотчас же зайти и занести свои работы. Тотчас заходить он отказался, сославшись на то, что на-днях ложится в больницу, и обещал зайти после операции.

«На-днях» Зверев ложился в больницу уже почти целый год, однако ему действительно предстояла операция: надо было вынуть винты, которыми скрепляли сломанную руку, он довольно часто заходил в Институт Склифасовского, но операцию каждый раз откладывали. И на этот раз операцию Зверев упомянул только как предлог, чтобы не ходить в министерство. Зверев думал, что там захотят отобрать его наиболее конформистские работы для продажи в недавно открывшемся художественном салоне для иностранцев, чтобы скорее обратить в валюту квази-успех парижской выставки. Он боялся, что его таким образом постепенно приберут к рукам, лишат возможности писать, как он хочет, и продавать свои картины, кому он пожелает. Перспектива хороших заработков в салоне, по-видимому, мало уравновешивала его опасения.

Едва ли, впрочем, все обстояло именно так. Скорее всего, чиновники министерства разделились на две партии: тех, кто хотел как-то «легализировать» Зверева, раз уж он стал известен, и тех, кто попросту предлагал игнорировать его как умалишенного. Так что, учитывая вдобавок министерскую волокиту, никто сразу бы не потащил Зверева в салон, к нему просто хотели присмотреться. Но если власти не спешили сами продавать работы Зверева, это не значило, что они и в дальнейшем будут мириться с продажей картин левых русских художников за границу. Хотя власти никак открыто не обнаружили своего отрицательного отношения к выставке и советские дипломаты даже присутствовали на ее открытии, вполне могли быть приняты меры, чтобы такие выставки не повторялись без ведома властей и чтобы были закрыты действительные или воображаемые каналы, по которым работы русских авангардистов попадали за границу.

В Москве, таким образом, отношение к парижской выставке было самое двусмысленное. Очень интересно было узнать, как отнеслись к ней за границей. Сведения доходили самые противоречивые. Складывалось впечатление, что французы встретили выставку довольно сдержанно, а англичанам и американцам она

понравилась. Те немногие газетные статьи, которые я видел, подтверждали это. Зверев ругал французов, особенно от него доставалось Луи Арагону, который, как говорили, выступил в «Леттр Франсез» резко против выставки.

Мне казалось, что теперь было бы очень интересно, если бы Зверев дал интервью кому-либо из иностранных журналистов в Москве. Зверев был не против, но считал, что касаться выставки и вообще искусства опасно, и хотел говорить в основном о своей любви к черепахам. Как бы то ни было, вопрос об интервью мы с ним решили, дело оставалось только за интервьюером.

Я решил поговорить об этом со знакомым американским дипломатом. Как раз накануне нашего разговора один художник пригласил Зверева и меня к американскому журналисту, имя и фамилию которого он забыл и помнил только, что его жену зовут Кристина и что сам он интересуется русской живописью. Мы не строили из себя важных господ, и для нас этого было вполне достаточно. В тот вечер журналиста не было дома, и художник по телефону договорился с Кристиной, что позвонит через два дня, он не называл нас и сказал только, что с ним зайдут двое его приятелей. Когда я рассказал об этом своему знакомому и спросил, не знает ли он этого журналиста, он сказал, что это Роберт Коренгольд, корреспондент «Ньюсуика», и что я вполне могу поговорить с ним об интервью.

Мы собирались звонить Коренгольду на следующий день вечером, однако рано утром мне позвонил дипломат и сказал, что он хочет зайти ко мне со своим другом, о котором мы говорили вчера. Я понял, что речь идет о Коренгольде. Мы договорились, что они зайдут послезавтра, в 12 часов дня. Завтра мне обещал позвонить Зверев, и я хотел предупредить его.

Оказывается, как раз в день нашего несостоявшегося визита к Коренгольду он получил телеграмму от своей редакции с указанием взять интервью у Зверева, так как в номер идет статья о парижской выставке. Сделать это надо было как можно скорее, иначе интервью уже не пошло бы. И вот в то время, как мы набивались в гости к его жене, он сам рыскал по городу в безуспешных поисках Зверева. Сначала он пытался разыскать его через своих сомнительных русских друзей, молодых художников и писателей. Эти молодые друзья, о которых я еще скажу

несколько нелестных слов, нашли, как я узнал потом, Зверева, но у Коренгольда была уже к тому времени договоренность с дипломатом о встрече со Зверевым у меня.

Зверев не позвонил мне в обещанное время, но я думал, что он еще позвонит или зайдет завтра. Но утром вместо Зверева ко мне пришел художник Плавинский и сообщил, что позавчера Зверев неожиданно лег в больницу на операцию. Тогда я решил позвонить Коренгольду, чтобы предупредить его. Дома никто не отвечал, а из конторы ответили, что господина Коренгольда нет и неизвестно, будет ли он сегодня. Когда я выходил из телефонной будки — я звонил из автомата — то увидел, что прислонившись к ней с другой стороны с индифферентным видом стоит какой-то молодой человек. До 12 часов оставалось минут двадцать, и я пошел домой.

Я жил в коммунальной квартире, в огромном доме, построенном в свое время страховым обществом «Россия» для своих служащих. Тогда квартира предназначалась для одной семьи, но сейчас в ней жило четыре. Коридор делил квартиру на две части: справа, прямо у входной двери, находилась наша комната, где я жил вдвоем с отцом. Впрочем, комната еще давно была разгорожена на две, в первой половине жил отец, во второй я. Дальше по той же стороне коридора шли ванная комната, кухня и маленькая комната при кухне, так что мы непосредственно не соседствовали ни с кем из других жильцов. Из кухни одна дверь вела на черную лестницу, заботливо предусмотренную архитекторами страхового общества для кухарок и другой прислуги. Слева от входной двери, напротив нас, жили старуха и ее внук с женой. В следующей комнате — паспортистка милиции со своим мужем и дочерью, и в последней, против кухни, — председатель домкома с женой. В коридоре был телефон, один на всех жильцов.

Гости приехали ровно в 12 часов. Коренгольд оказался лысоватым господином невысокого роста, по-видимому, евреем. Я извинился, что невольно подвел его, так как Зверев неожиданно лег в больницу. Коренгольд не особенно огорчился, ему, по-видимому, описали меня как человека, который заранее знает все, что может сказать Зверев.

Пока Коренгольд рассматривал картины, развешанные у меня в комнате, я услышал, как моя соседка, паспортистка милиции,

звонит кому-то по телефону. Я обратил на это внимание только потому, что сейчас она говорила чуть ли не шепотом, тогда как обычно орала на всю квартиру, крайне мешая мне работать. Дима Плавинский, сидевший у меня с утра, тоже заметил это.

Не помню уже точно, о чем мы говорили с Коренгольдом. Кажется, я расспрашивал его, как отнеслись американцы к выставке, и рассказал о звонке Зверева в министерство. Коренгольд спросил меня, могут ли быть у Зверева какие-нибудь неприятности из-за выставки. Я ответил, что, по-видимому, нет. Потом Коренгольд сказал о телеграмме из Нью-Йорка, что я уже знал, и спросил, как быть с интервью. Интервью надо отправить сегодня вечером или в крайнем случае завтра утром, не смогу ли я дать его за Зверева? У меня на столе лежала автобиография Зверева, и Коренгольд предложил воспользоваться ей для ответа на его вопросы. Однако у меня был другой план. Пусть Коренгольд запишет вопросы, которые он хотел задать Звереву, сказал я, я прямо сейчас поеду к нему в больницу и до вечера привезу Коренгольду интервью вместе с фотографией Зверева. Я предложил еще ему сфотографировать несколько работ Зверева на тот случай, если журнал захочет репродуцировать какую-нибудь картину. Коренгольд охотно согласился. Так что все, казалось, было решено, и между мной и дипломатом уже началась деликатная борьба за то, из чьей коллекции репродуцировать картины, и Коренгольд уже начал записывать вопросы, чтобы не терять времени зря, но тут в наружную дверь раздался громкий звонок.

На всех жильцов был общий электрический звонок, нам нужно было звонить пять раз, но на всякий случай я попросил отца, если это пришли ко мне, сказать, что меня нет дома. Я слышал, как соседка открыла дверь, отец вышел в коридор, но тотчас же его растерянное лицо опять показалось в дверях. «Андрюша, это к тебе», — сказал он, и, оттеснив его, в комнату вошли четверо человек, один в милицейской форме и трое в штатском. Гости мои заметно перепугались. Человека в форме я знал, это был участковый уполномоченный, капитан Киселев, двое в штатском были довольно молодые люди с маловыразительными лицами, лишенными того типичного выражения, которое постепенно вырабатывается у оперативников, третий, по-

старше, в меховой шапке и с самым профессиональным выражением лица, был, как я понял, главным в этой группе.

Хотя я был уже отчасти подготовлен к этому, все же почувствовал себя очень неприятно. Как я знал, наблюдение за мной ведется довольно давно, исходя, по-видимому, только из того общего предположения, что, раз я знаком с иностранцами, с одной стороны, и с левыми художниками, с другой, то в той или иной форме должен заниматься посредничеством между ними. Разумеется, мне неизвестно, какие материалы были собраны обо мне, также мне не ясна еще роль некоторых людей, с которыми мне приходилось так или иначе общаться, все же слежка, видимо, ввиду моей незначительности, велась не настолько тонко, чтобы я ничего не знал о ней. Еще весной 1963 года якобы сотрудники Московского угрозыска наводили обо мне как коллекционере справки в журнале «Спорт за рубежом», где я в то время работал. Едва ли они могли узнать там что-нибудь интересное. Несколько позднее для наблюдения за мной была завербована моя соседка И. Каган, уже немолодая домашняя хозяйка. Вскоре после этого она устроилась на работу в милицию паспортисткой. Поскольку я с ней даже не разговаривал, на нее возлагалась только задача сообщать, кто и когда ко мне приходит или звонит. Как я понял, ни с кем из тех, кого я интересовал, она непосредственно не общалась и все сведения должна была передавать участковому уполномоченному милиции. Гораздо большие надежды возлагали на завербованного в начале 1964 года другого соседа, В. Жаховского, как человека примерно одного со мной возраста, в детстве мы с ним играли в солдатики. Ему ставилась задача ближе сойтись со мной и познакомиться с моими друзьями. Для этого, в частности, ему давались пригласительные билеты на художественные выставки. В наблюдение за мной были также вовлечены дружинники, а с лета 1964 года время от времени стал заходить участковый уполномоченный милиции, с тем, чтобы узнать, работаю ли я где-нибудь или нет. Координировал всю эту деятельность, по-видимому, оперуполномоченный КГБ по Фрунзенскому району Гончаренко, о котором я еще скажу.

Несмотря на это, я продолжал встречаться со своими иностранными знакомыми, так как с моей точки зрения в этом не было ничего преступного. Кроме того, я не видел большой

беды в том, что моя малограмотная соседка пост-фактум сообщит, что у меня был какой-то «иностранец» и ушел. Впрочем, слежка могла быть и за самим иностранцем. Теперь же, в случае с интервью, еще утром можно было подозревать, что о визите ко мне заранее известно, почему же я все-таки пошел на это, а не отменил как-нибудь встречу? Ведь даже в последний момент можно было дождаться возле дома машины Коренгольда и дать понять: уезжайте скорей. Вероятно, я поступил так из следующих соображений: во-первых, я считал, что, принимая у себя иностранцев, я не нарушаю никаких советских законов; во-вторых, я думал, что если о визите Коренгольда стало известно заранее, его задержат при выходе из моего дома, с тем, чтобы проверить, не несет ли он от меня каких-нибудь картин, и убедятся, что не несет, я даже хотел предупредить своих гостей о возможности этого, и в-третьих, я рассуждал чисто по-русски — раз раньше ничего не было, авось и сейчас ничего не будет. Но вышло все иначе, и теперь мне предстояло объясняться с обладателем меховой шапки.

— Что, интервью даешь? — сказал он, что называется, с порога.

— Какое интервью? — удивленно спросил я. Коренгольд успел спрятать листок с вопросами в карман.

Тогда человек в меховой шапке, которую он так и не снял у меня в комнате, переменил тактику.

— Пора за ум браться, Андрей Алексеевич, — сказал он с некоторым даже дружелюбием в голосе. — От ваших соседей поступили заявления, что вы нигде не работаете и устраиваете у себя подозрительные сборища.

— Я нигде постоянно не работаю, потому что у меня отец инвалид первой группы и за ним нужен уход, — сказал я.

— Ну вот, вы и должны помогать отцу, — перебил меня он.

— Я помогаю ему, — продолжал я. Я старался быть педантичным в своих ответах, чтобы нигде не сбиться. — А что касается сборищ, то это неправда, меня посещают гораздо меньше, чем моих соседей, и только немногие мои друзья.

— Это тоже ваши друзья? — спросила меховая шапка, указывая на Плавинского, Коренгольда и дипломата.

— Да, — сказал я.

— Предъявите ваши документы, — сказал он мне тоном уже совершенно официальным.

— Покажите сначала ваше удостоверение.

— Пожалуйста, — и с оттенком легкого пренебрежения к затеянным мной церемониям он протянул мне, не выпуская, впрочем, из рук, удостоверение старшего лейтенанта Московского уголовного розыска. — Можете записать мою фамилию, — сказал он.

Но я не стал записывать фамилию и даже запоминать ее, потому что это было совершенно ни к чему. С самого начала я подумал, что передо мной сотрудник Московского управления госбезопасности.

— А эти молодые люди — дружинники, — указал он на своих штатских спутников, обращаясь не столько ко мне, сколько к американцам. Молодые люди учтиво поклонились, опять же не мне, а американцам.

— Так, значит вы нигде не работаете, — повторил старший лейтенант, рассматривая мой паспорт. Я уточнил, что не работаю на постоянной работе, а подрабатываю временно.

— А вы где работаете? — спросил он Диму Плавинского.

— Я работал на телевидении, — ответил Дима; «работал» звучало довольно предательски, однако старшего лейтенанта это, по-видимому, не так уж интересовало.

— А вы где работаете? — сурово обратился он к американцам, словно ожидал, что и они нигде не работают. Но оказалось, что в отличие от нас с Димой оба работают, один в посольстве США, другой в журнале «Ньюсуик».

— И это ваши друзья! — с пафосом сказал мне оперативник, возвращая им документы. — Давно вы с ними связаны?

— Что значит связаны?! — сказал я. — Мы знакомы, а не связаны.

— А зачем они пришли к вам?

— Посмотреть картины.

— Да, мы пришли посмотреть картины, — в один голос сказали дипломат и корреспондент. Оба они были сильно напуганы и, видимо, боялись, что поедут отсюда уже не на Кутузовский проспект, а на Лубянку, хотя было неясно, в чем состоит их вина, ведь прийти к кому-то посмотреть коллекцию картин или даже взять интервью — это еще не преступление.

Все стены моей маленькой комнаты были завешаны картинами, многие картины стояли и лежали на шкафу и на полу.

— Это те картины, которые вы продаете иностранцам? — любезно спросил старший лейтенант.

— Я не продаю никаких картин, — ответил я.

— А что, они не могли посмотреть картины в другом месте? — уже грубее спросил он.

— Очевидно, их интересовала моя коллекция, — тут я решил несколько прихвастнуть и добавил: — в Москве всего несколько человек собирают современных художников, и я среди них хорошо известен.

Мое хвастовство не понравилось дружинникам. Один из них что-то неодобрительно пробормотал о картинах, кажется, что это не картины, а барахло. Другой иронически заметил, что, оказывается, не я один занимаюсь «подобными делами».

После этого старший лейтенант сказал американцам, что они могут ехать домой. Я вышел в коридор проводить их под присмотром одного из дружинников. Пока они с потерянными лицами пожимали мне на прощание руку, я испытывал крайнюю неловкость, так как думал, что, если не дипломат, то во всяком случае Коренгольд может заподозрить меня в том, что я провокатор, специально подстроивший это свидание.

— А теперь поедем с нами, — сказал старший лейтенант мне и Диме, когда американцы ушли.

— Есть у вас ордер на задержание? — спросил я.

Сначала меня не поняли, оперативникам показалось, что я спрашиваю, есть ли у них машина. Как потом выяснилось, была машина, почему-то замаскированная под грузовое такси. Когда же они поняли, что я спрашиваю про ордер, старший лейтенант даже удивился.

— Какой там ордер, — сказал он, — мы приглашаем просто поговорить.

— Без ордера я не поеду, — сказал я.

— Нет, поедешь.

— Тащите силой, если хотите, — сказал я, — иначе я не поеду.

— Собирайся и поезжай! — внезапно гаркнул капитан Киселев. До сих пор он играл роль молчаливого статиста, но мое

упрямство возмутило его. — Ты что, не советский человек, раз не подчиняешься власти?!

— Почему же, я подчиняюсь советской власти, но не вам, — ответил я. Такой иезуитский ответ озадачил участкового.

— Поезжай, не то хуже будет. Поезжай, мы просто с тобой хотим поговорить по-хорошему, — так еще долго уговаривал меня и угрожал мне старший лейтенант, но я твердо решил не ехать. Не потому, что я считал это самым разумным (может быть, это было как раз неразумно), но просто из чувства противоречия и нежелания подчиняться.

Увидев, что я решительно не хочу ехать, старший лейтенант изменил тон.

— Хорошо, — сказал он, — тогда садитесь, вот вам бумага, и подробно напишите, что такого-то числа у вас были такие-то люди с такой-то целью, а затем явилась опергруппа.

— Этого я тоже не буду делать, — сказал я. — Единственное, что я могу написать, что такого-то числа ко мне явились капитан милиции, старший лейтенант угрозыска и двое дружинников с неизвестной мне целью.

— Ну, этого нам не нужно, — раздраженно сказал старший лейтенант. Теперь он занялся Димой Плавинским. У того не было документов, и старший лейтенант потребовал, чтобы я подтвердил, что это действительно Плавинский, Дмитрий Петрович. Я подтвердил. «В том случае, если это не так, вы понесете ответственность», — сказал озлобившийся старший лейтенант и пошел в соседнюю комнату к отцу, чтобы и тот подтвердил личность Димы. После этого он отпустил Плавинского и вновь принялся уговаривать меня и угрожать мне. Видимо, он надеялся, что, лишившись зрителя, я окажусь податливее. Но я стоял на своем. «Ну, мы с вами еще встретимся», — угрожающе сказал он и вышел. Остальные пошли за ним. Я тоже думал, что так или иначе мне не миновать встречи с ним, но ошибся: до сих пор мы еще не встретились. В дверях оба дружинника, или те, кто выдавал себя за дружинников, почему-то сказали: «Извините за беспокойство». Я извинил.

Глава вторая

Я БЕГУ ИЗ ДОМА

Было совершенно очевидно, что с уходом незваных гостей ничего не кончилось, а все только начинается. Могло даже случиться, что через полчаса они бы явились снова, на этот раз уже с ордером на задержание. Если, как мне казалось, против меня не было никаких улик, чтобы завести уголовное дело, то я был уязвим в другом отношении: уже почти год я нигде не работал на постоянной работе и, таким образом, подпадал под так называемый «Указ об усилении борьбы с лицами, ведущими паразитический антиобщественный образ жизни». Этот указ, принятый в 1960 году после шумной газетной кампании против «тунеядцев», предусматривал для лиц, более месяца нигде официально не работающих, выселение на срок от двух до пяти лет в традиционные русские места ссылки, Север Европейской России, Сибирь и Дальний Восток, «с обязательным привлечением к физическому труду». Этой карательной мерой, по-видимому, хотели убить сразу несколько зайцев: ликвидировать безработицу, обеспечить рабочей силой отдаленные районы и очистить большие города от «антиобщественных элементов». Указ представлял также удобное средство для расправы с неугодными лицами из интеллигенции, как это было, например, с ленинградским поэтом и переводчиком Иосифом Бродским, высланным на Север в 1963 году. На меня, правда, этот указ не должен был распространяться, потому что я жил вдвоем с парализованным отцом, инвалидом первой группы, которая давалась только людям, нуждающимся в постороннем уходе, но при желании этим могли пренебречь. Поэтому я решил уйти пока из дому и избегать всяких контактов с милицией, пока не устроюсь на постоянную работу.

Я взял записную книжку, деньги, некоторые материалы по искусству, в частности, каталог выставки Зверева, собрал рукописи своих пьес, работу над которыми я и считал настоящей своей работой, но, увы, не такой работой, справку о которой я мог бы представить в милицию, попрощался с отцом, сказав, что к нему ежедневно будет заходить моя приятельница, и вышел на улицу по черной лестнице: я боялся, что меня еще могут поджидать у парадного подъезда.

Я хотел устроиться секретарем или библиотекарем к какому-нибудь профессору-историку, так как такая работа была бы более или менее синекурой, об этом я думал еще раньше, зная, что рано или поздно встанет вопрос о постоянной работе. Ничего определенного мне в тот день не обещали и просили позвонить завтра. Как я понял, надежды здесь было мало, но на тот случай, если мне откажут, у меня был еще один интересный вариант, о котором я скажу дальше. Весь день прошел в звонках и разъездах, и только вечером я приехал к своим друзьям и рассказал им о своих злоключениях.

Как я уже писал, мне была неприятна мысль, что американцы могут подумать, что я специально спровоцировал встречу у меня, выполняя чье-то указание. Кроме того, если даже дипломат, который знал меня довольно давно, и не подозревал во мне провокатора, он мог думать, что, оказавшись в руках госбезопасности, я могу быть как-то использован против него, дать какие-то, пусть мнимые, показания, на основании которых он был бы объявлен персоной нон-грата. В таком случае, если не он, то его начальники в посольстве могли поторопиться прежде всего сами как-то очернить меня в глазах госбезопасности. Поэтому я попросил мою приятельницу прямо сейчас съездить к дипломату домой, чтобы сообщить ему, что я на свободе, и успокоить его. Кроме того, я считал, если так можно сказать, делом своей чести все-таки предоставить «Ньюсуику» интервью со Зверевым и просил передать дипломату, что если Коренгольд согласен, завтра в первой половине дня ему передадут фотографию Зверева в больничном халате вместе с ответами на вопросы журнала.

Я тщательно объяснил ей, как найти квартиру дипломата, и даже нарисовал план, потому что замешкайся она возле дома и начни смотреть, правильный ли это номер и нужный ли подъезд, к ней подошел бы милиционер, дежуривший возле автомашин, и стал бы спрашивать, к кому она идет и зачем. На всякий случай я объяснил ей, что нужно говорить при этом, но до дверей квартиры дипломата она добралась беспрепятственно. За дверью раздавалось много женских голосов сразу, по-видимому, у дипломата были гости. Когда она позвонила, голоса на мгновение стихли и затем возобновились с новой силой. К двери никто не подходил. Тогда она позвонила еще раз. Шум в квар-

тире усилился, но двери не открывали. Она звонила еще несколько раз, но все безрезультатно, впрочем, было такое впечатление, что кто-то стоит у самой двери. Тогда она решилась на крайнее средство и стала колотить в дверь.

Тогда дверь открылась, и дипломат вышел на лестничную площадку, здесь они и говорили. Дипломат был очень взволнован и, перебивая мою приятельницу, сначала все время повторял: «Это новая провокация... Это новая провокация...» Потом он спросил: «Что с Андреем и Димой? Они в тюрьме?»

— Не волнуйтесь, оба на свободе, — сказала моя приятельница, но он, видимо, не поверил ей. Как я мог понять ее, разговор вообще носил довольно сумбурный характер. Дипломат все время говорил, что он человек, который просто интересуется современным русским искусством, и начинал объяснять, каких художников он любит больше всего и как он не жалел денег на покупку их картин, потом он спохватывался и вновь принимался твердить, что «это новая провокация», пока моя приятельница не сказала ему, почему он в таком случае разговаривает с ней обо всем этом на лестничной площадке и повышенным тоном, ведь она вполне могла привести с собой людей, которые стоят этажом ниже и записывают на пленку весь разговор. Однако дипломат, по-видимому, поверил, что она действительно послана мной, но все же ни до чего договориться они не смогли, хотя он и ходил несколько раз советоваться с женой. А когда речь зашла о предложенном мной интервью, то дипломат только удивленно махнул рукой. Видя, что из ее миссии ничего не вышло, моя приятельница сказала, что, по-видимому, я сам захочу встретиться с ним, каким образом можно это устроить? «Есть ли у вас в Москве какие-нибудь знакомые иностранцы, у которых можно устроить эту встречу? — спросил дипломат. — Посольство категорически запретило мне посещать кого-либо из советских людей». Моя приятельница сказала, что посоветуется со мной, и они расстались. Когда она уже возвращалась домой, в метро к ней подошли двое молодых людей и сказали: «Девушка, поедемте с нами». Как она говорит, у нее все похолодело внутри, но, к счастью, оказалось, что у этих молодых людей были более игривые намерения, чем она подумала вначале.

После некоторых колебаний я решил ехать к дипломату сам. Я поехал на следующий день рано утром, так как медлить было нельзя, кроме того, нужно было застать дипломата, пока он не уехал в посольство. Я доехал на автобусе почти до самого дома и внимательно смотрел, не стоит ли где-нибудь поблизости машина с советским номером, но ничего подозрительного не заметил и без происшествий вошел в подъезд вместе с двумя неграми. Еще не было восьми часов, но я недооценил трудолюбие американских чиновников: дипломат уже уехал в посольство, и мне предстояло объясняться с его напуганной женой, которая смотрела на меня как на выходца с того света и вдобавок не понимала ни одного слова по-русски. Кое-как нам удалось объясниться — я нарисовал на бумажке едущую из посольства машину, она позвонила мужу, и через несколько минут дипломат приехал, благо посольство находилось недалеко.

Теперь мы могли поговорить в более спокойной обстановке. На прощание я спросил дипломата, чем он был так напуган вчера, что даже боялся открыть дверь? Однако он ответил, что просто не слышал звонков из-за шума в комнате. Мы договорились, что через некоторое время я заеду вновь. Я был у него еще несколько раз, однако проститься с ним перед его отъездом мне уже не удалось. За время нашего двухлетнего знакомства мы не всегда относились друг к другу дружелюбно; не знаю, увижу ли я его еще когда-нибудь, поэтому хочу сказать здесь, что от многих иностранцев в Москве, покупающих у русских художников, его выгодно отличала настоящая любовь к живописи и понимание ее. Его симпатичная рыжая жена сама могла бы стать хорошей художницей, если бы, как многие женщины, не предпочла искусству заботу о семье.

Затем я заехал к Диме Плавинскому, но не застал его дома. Его жена рассказала мне, что Дима был так испуган, что вчера прошатался весь день по улицам и пришел домой только в середине ночи, опасаясь засады, а рано утром ушел опять. В шесть часов вечера у него было назначено свидание с женой на Смоленской площади, и я просил передать ему, что я у своих друзей и прошу его приехать. Мы увиделись с ним вечером, а на следующее утро он уехал в Среднюю Азию.

В тот же день я смог выяснить некоторые обстоятельства, предшествовавшие нашей неудачной встрече с Коренгольдом. Как я уже писал, в тот же день, когда мы говорили по телефону с его женой, 22 февраля, Коренгольд получил телеграмму своей редакции об интервью. 23 февраля утром у меня был дипломат, и я, в свою очередь, просил его посоветовать мне какого-нибудь журналиста. В это же время Коренгольд просил своего знакомого, молодого художника Эдика Штейнберга, разыскать Зверева. При этом он сказал, что, если это нужно, он получит разрешение на интервью в министерстве культуры. Не знаю, затребовал ли он такое разрешение. В тот же день вечером Коренгольд где-то увиделся с дипломатом, тот сообщил ему обо мне, и Коренгольд ухватился за эту возможность. Утром следующего дня, 24 февраля, дипломат позвонил мне, и мы договорились встретиться 26 февраля, так как я рассчитывал, что Зверев позвонит мне 25-го. После этого, 24 или 25 февраля, Коренгольд заехал к Штейнбергу, чтобы узнать, разыскал ли тот Зверева. В это время к Штейнбергу набилось много различных людей, почему-то вовлеченных в поиски Зверева: богемные художники, молодые люди, выдающие себя за писателей, престарелый поэт и даже почему-то водитель троллейбуса. Водитель этот никакой роли в дальнейшем не сыграл, и я упоминаю его просто в виде курьеза. Вся эта разношерстная компания сообщила Коренгольду, что Зверева они пока не нашли. Тогда Коренгольд при всех сказал присутствующему там моему знакомому, который в свое время приглашал меня со Зверевым к нему в гости, что 26-го утром он увидится со Зверевым у его хорошего друга, об этой встрече договорился «высокий человек в очках, у которого жена художница». Он имел в виду дипломата. Однако такая маскировка была довольно наивной. Находившийся в этой компании осведомитель немедленно сообщил об этой фразе Коренгольда, об интервью в КГБ уже знали и решили не допустить его. Не представляло большого труда установить, кто этот «высокий человек в очках, у которого жена художница»; было известно также, что я знаком с ним и что я хороший друг Зверева. Впрочем, сотрудники КГБ и без того полагали, что интервью состоится при моем посредничестве, поскольку этот осведомитель всячески пытался последние дни попасть ко мне, пока Коренгольд невольно не

выдал время и место встречи со Зверевым. После этого была проинструктирована моя соседка, чтобы 26 февраля она была дома и немедленно позвонила, как только ко мне приедут «иностранцы». Кроме того, видимо, было установлено наблюдение у моего дома. Что было дальше, я уже писал.

Вскоре после ухода Коренгольда от Штейнберга вся эта сомнительная компания все же увиделась со Зверевым, кажется, он сам зашел туда, и ему сообщили, что его разыскивает американский корреспондент, чтобы взять интервью. Зверев с интересом выслушал это, ничего не сказал и прямо оттуда поехал в больницу, где его сразу же положили на операцию. Я не знаю, поехал ли он туда, чтобы избежать встречи с корреспондентом или просто потому, что ездил в больницу чуть ли не каждый день. Положили ли его на операцию, потому что рано или поздно нужно было ее делать или потому, что имели указание положить его именно теперь, я тоже не знаю. Осведомителя, который сообщил о встрече, я видел за несколько месяцев перед тем у одной интересующейся искусством девицы, не зная, разумеется, что это за человек и какую роль он сыграет в моей судьбе. Это был молодой человек лет двадцати трех, очень чистенький, сын крупного чиновника одной из виноградных республик, звали его Володя Аниканов. Оказывается, он писал рассказы, и в тот вечер говорил о том, что искусство должно нести людям положительные идеалы.

На следующий день после моего бегства выяснилось, что из попытки устроиться на работу секретарем или библиотекарем к какому-нибудь историку ничего не вышло. По-видимому, историки обладали большой долей осторожности. Тогда я решился на довольно рискованный шаг. Я слышал, что журналу «Советская милиция» требовался на временную работу корректор. С одним из ответственных сотрудников журнала я когда-то вместе работал и надеялся теперь, что он составит мне протекцию, не зная, разумеется, обо всех моих передрягах последнего времени. Я не думал также, что чрезмерно тщательно будут наводить справки о человеке, поступающем на незначительное место корректора, да еще временно. Все мои документы были в полном порядке, я не сидел в тюрьме, никто из моих родственников не жил за границей, вдобавок я не еврей, что является негласным, но необходимым условием для работы в

таких учреждениях. Мысль защититься от милиции, устроившись работать в закрытый милицейский журнал, сама по себе казалась мне очень любопытной, кроме того, редакция находилась недалеко от моего дома, и я всегда в обед мог зайти посмотреть за отцом. Устроившись на работу, я мог бы, как я думал, чувствовать себя в относительной безопасности, а уволить меня без достаточных оснований было бы довольно сложно.

Я созвонился со своим знакомым, получил пропуск в Министерство охраны общественного порядка, бывшее МВД, и прошел в редакцию журнала. Заведующая корректурой, пожилая толстая дама, встретила меня очень любезно, даже радостно, расспросила о прежней работе, сказала, что приступить к работе я мог бы уже завтра, что именно такого сотрудника она и желала бы, и повела к редактору. Редактором оказался решительный мужчина в форме полковника внутренних войск.

— Раз вам он нравится, значит и мне подходит, — дружелюбно сказал он толстой даме, не задавая лишних вопросов, — сейчас я позвоню Гаранову.

Гаранов был начальником отдела кадров центрального аппарата МВД.

— Работа у нас временная, — сказала мне заведующая корректурой, пока полковник просил соединить его с Врановым, — а потом, — тут она уже обращалась к полковнику, — я думаю, его у нас в органах можно будет устроить.

— Ну, в органах... — неопределенно сказал полковник, в то же время поощрительно подмигивая мне: не робей, мол, покажешь себя с выгодной стороны — устроим и в «органы».

По внутреннему телефону полковника соединили с Врановым.

— Гаранов? Это Клячкин говорит, — решительно сказал полковник, — я тебе сейчас пришлю парня, ты его оформи с завтрашнего дня к нам корректором.

Видимо, Гаранов возразил, что по существующему порядку положен месяц на сбор сведений о новом сотруднике, прежде чем его можно принять на работу, потому что полковник, понизив голос, сказал: «Ну, что там месяц... Подумаешь, ведь всего в корректуру, да еще временно...»

Затем полковник направил меня к Гаранову. Министерство находилось в неуклюжем пятиэтажном здании без лифта, построенном в конце сороковых годов, в эпоху расцвета сталинского лжеклассицизма. На каждом этаже из конца в конец тянулись огромные широкие коридоры, в отличие от других советских учреждений совершенно пустые, не видно было ни покуривающих и болтающих друг с другом чиновников, ни просителей с искательными и озабоченными лицами, только иногда рысцой проносилась одинокая фигурка в военной форме и тотчас же скрывалась за плотно прикрытой дверью. Мне, признаться, стало здесь немного жутко, но я решил не отступать.

Комнатки по краям огромного коридора оказались очень маленькими, если судить по кабинету Гаранова, где сидело за отдельными столами еще двое человек. Сам Гаранов, майор внутренних войск, то ли плешивый, то ли со слишком уже нализанными волосами и с лицом совершенно бесцветным, встретил меня без каких-либо изъявлений радости и восторга. Разговор тоже был совершенно бесцветный, вроде того, где я работал раньше и откуда узнал, что «Советской милиции» требуется корректор. Тут нас прервал вошедший капитан, на редкость тощий, с покатыми женскими плечами. Пришел он со странной, на мой взгляд, просьбой о каком-то молодом человеке. Он все повторял, что «парень почувствовал себя поэтом», что «у парня открылся вдруг талант» и поэтому надо «помочь парню», устроить его на работу в МВД. Майор же странности этой просьбы нисколько не удивлялся, а беспокоился только, насколько этот «открывшийся вдруг талант» апробирован, на что капитан сказал, что к печати уже готовится сборник стихов. Тогда майор вроде бы согласился, и капитан довольный ушел. Какая связь между поэзией и работой «в органах», я так и не понял.

Разговор о поэзии дал новое направление мыслям майора.

— Книжки читаете? — спросил он меня. Я немного растерялся, но сообразил, что майора интересует мой «культурный уровень».

— Читаю, — сказал я, но боялся, что Гаранов спросит, что именно я читаю. Но Гаранов ничего больше не спросил и сказал, чтобы я написал заявление, автобиографию и принес завтра свои документы.

В кабинете майора я стал свидетелем еще одной любопытной беседы. Два чиновника за соседними столами говорили о ком-то, допустим об Иван Иваныче, который допустил какие-то ошибки, в результате которых пострадали невинные люди. Речь теперь шла о том, исправить ли эти ошибки и освободить неправильно осужденных людей или же «пощадить самолюбие» Иван Иваныча, человека уже пожилого и обидчивого, которому исправление его действий будет неприятно. Кого в конце концов они решили пощадить, невинно осужденных или самолюбивого Иван Иваныча, я не знаю.

Я заехал домой, посмотреть, как себя чувствует отец. Отец сказал, что пока все в порядке, что заходил Киселев и занес повестку. В повестке мне предлагалось завтра в 5 часов явиться в 5-е отделение милиции с документами к следователю Васильеву. Я не стал долго задерживаться дома, услышав, что соседка, которая видела меня, уже звонит по телефону.

Кажется, в тот же день я решил навестить Зверева в больнице. Там был объявлен карантин, и ни у кого в гардеробе не принимали пальто, зато можно было беспрепятственно пройти в пальто. Зверев уже слышал о том, что случилось у меня дома. Дима Плавинский, думая, что меня после его ухода свяжут и отвезут в тюрьму, рассказал о неудавшемся интервью полусумасшедшей любовнице Зверева, а она уже успела пересказать не только Звереву, но, безбожно перевирая и приукрашивая, половине Москвы, так что все знакомые, встречая меня через несколько дней на свободе, удивленно таращили глаза. Сам Зверев, пока я давал за него интервью, лежал на операционном столе. Операция была весьма несложной, и ее поручили практикантам. Практиканты возились слишком долго, наркоз кончился, а Зверев, приходя в себя от боли, услышал, как кто-то сказал: «А это тот самый знаменитый Зверев». «Ну все, сейчас прикончат», — подумал мнительный Зверев и дико заорал. Кое-как его утихомирили, вытащили винты из руки и отпустили на все четыре стороны.

Утром следующего дня, пока меня разыскивала местная милиция, я уже входил в кабинет начальника отдела кадров центрального милицейского аппарата. Впрочем, Гаранов встретил меня еще менее радостно, чем первый раз. Долго читал мою автобиографию и листал трудовую книжку.

— Что же вы все время меняете работу, — сказал он наконец со вздохом, — сколько же можно быть временщиком?

Я что-то промямлил вроде того, что мне, мол, трудно найти хорошую работу без высшего образования. Что меня исключили из университета, тоже, естественно, было не в мою пользу.

— Конечно, — сказал Гаранов, — надо учиться. Я вот в органах работал и учился на вечернем факультете. А знаете, как органы раньше работали, ни минуты свободного времени не было, не то что теперь.

Как раньше работали «органы», я примерно знал.

— Ну вот, — сказал Гаранов, — так что и вам пора находить свое место в жизни. Позвоните мне, пожалуйста, утром через два дня.

Я не хотел встречаться с Васильевым или вообще с кем-либо из 5-го отделения милиции до тех пор, пока не выяснится вопрос о работе в журнале. Однако в пять часов я позвонил в отделение и попросил соединить меня с Васильевым.

— Пожалуйста, приходите сейчас же сюда, — сказал Васильев.

— К сожалению, я неважно себя чувствую, давайте отложим встречу на два дня, — сказал я более или менее развязным тоном.

— Хорошо, — сказал Васильев после непродолжительного молчания, — приходите 5 марта в то же время.

Было ясно, что тянуть слишком долго нельзя, один эпизод указал мне на это. Мои друзья, у которых я пока жил, вечером ушли в гости, и я остался посидеть с детьми. Примерно часов в десять кто-то позвонил в дверь. Я приоткрыл дверь, и по тому, как невзрачный человек в черном пальто, ни слова не говоря, полез в квартиру, я понял, что дело плохо.

— Что вам угодно? — любезно спросил я.

Не говоря ни слова, черный человек показал красную книжечку.

— Вы не беспокойтесь, — сказал он, насладившись эффектом. — Я просто хочу узнать у вас о соседях, — он указал на квартиру справа. — Что они за люди? Но, — тут он предостерегающе помахал рукой, — никому ни слова об этом.

— Вам надо поговорить с хозяевами, — ответил я, — их сей-

час нет, меня просто попросили посидеть с детьми. О соседях я ничего не знаю, знаю только, что сосед работает в милиции.

— В милиции?! — пораженный, переспросил агент и, пробормотав еще раз, чтобы я никому не говорил ни слова, быстро удалился.

Очевидно, или он так глупо перепутал квартиру и сунулся к моим друзьям, чтобы расспрашивать о соседе-милиционере, вместо того, чтобы у него навести справки о моих друзьях, либо просто использовал обычный в наших условиях предлог наведения справок о соседях для того, чтобы проверить, нет ли здесь меня.

Поздно вечером, когда мы все сидели в маленькой кухне, я рассказал об этом своим друзьям. Слева от них на площадке жил дворник, справа милиционер; было совершенно ясно, что у моих друзей никто не стал бы наводить справки о таких соседях. Кухня, где мы разговаривали, вообще была постоянным местом наших откровенных бесед. Только некоторое время спустя я узнал, что в квартире наверху, где жил член домкома, оперативники установили магнитофон и прослушивали и записывали наши разговоры через вентиляционную решетку. Я вспомнил тогда анекдотический разговор, который произошел у меня с Маркевичем в его номере в гостинице «Украина». Маркевич пожаловался, что Зверев не хочет заходить к нему в гостиницу.

— Зверев очень запуган, — сказал я, — а в гостинице, вероятно, шныряет довольно много агентов КГБ, вдобавок во многих номерах установлены микрофоны и подслушиваются все разговоры, что неприятно действует на впечатлительных и нервных людей.

Не надо думать, что все это я говорил заговорщицким шепотом, Маркевич был глуховат, и мне приходилось кричать во все горло.

— Пустяки, — спокойно сказал Маркевич, — я уже давно живу в этой гостинице. Здесь все время что-то ломается: то гаснет свет, то не идет вода. Наверняка и микрофоны давно уже не действуют.

Я думаю, Маркевич совершенно напрасно так пренебрежительно относился к советской технике. Для многих в Москве

микрофоны стали настоящим бичем: им все время кажется, что их подслушивают. Вспоминаю еще один курьезный случай. У одного моего приятеля на вечере среди прочих гостей была одна иностранка. Хотя разговор шел совершенно невинный, все же он, опасаясь подслушивания, громко включил радио. Каков же был общий испуг, когда около двенадцати часов ночи в дверь раздался громкий стук и вошли двое людей в милицейской форме. Впрочем, все объяснилось очень просто: в новых домах очень тонкие перекрытия, и жильцы из верхней квартиры, которым не давала спать громкая музыка, позвонили в милицию. Хотя вспоминать микрофонные истории очень весело, тогда мне было очень неприятно узнать, что все наши разговоры подслушивались.

После того как я понял, что милиции известно, где я, я решил вернуться домой. Через пятнадцать минут после моего возвращения зашел капитан Киселев. Он спросил меня, где я «пропадал», тоном скорее светским, чем служебным, и не настаивая на ответе, и передал новую повестку в милицию к следователю Васильеву, на тот день и час, как мы с ним договорились по телефону, то-есть на 5 марта.

— Ну как, придешь? — спросил Киселев.

— Там видно будет, — неопределенно сказал я.

— Смотри приходи, — дружелюбно сказал Киселев, — все равно ведь деться некуда.

Несколько ранее знакомый моего отца, по его просьбе, пытался узнать что-нибудь обо мне в милиции. Там ему сказали, что они не знают, что со мной, может быть, я уже арестован. Так что в милиции думали, что госбезопасность может заняться мной, минуя их.

Утром 5 марта я позвонил Гаранову, и тот, голосом уже совсем похоронным, сообщил мне, что «сейчас они взять меня, к сожалению, не могут», но что «если будет нужно», он позвонит. Впрочем, было ясно, что нужно не будет: Гаранову не понадобился «законный» месячный срок, чтобы выяснить, кто я. Так что накануне встречи с Васильевым я лишился главного своего козыря. Но скажу откровенно, что скорее я был даже рад, что из моей милицейской авантюры ничего не вышло.

Теперь я должен был подумать, что делать дальше. Конечно, можно было и не ходить по милицейской повестке, но я не знал,

будет ли это лучшим вариантом. Если при встрече могли со ства на работу и вообще посмотреть, как я себя «буду вести», мной еще как-то договориться или дать мне время для устрой- то продолжай я уклоняться от вызова, сразу же могли бы принять против меня карательные меры. Впрочем, все это только мои предположения. Во всяком случае, из разговора с Васильевым я надеялся узнать, что именно от меня хотят, чего мне надо опасаться и на что можно надеяться.

Глава третья
МАШИНА ЗАВЕРТЕЛАСЬ

Я думал, что либо сам Васильев окажется сотрудником КГБ, только выдающим себя за милицейского оперуполномоченного, либо при нашем разговоре будет присутствовать кто-либо из КГБ. Однако ничего этого не было. В грязной комнате угрозыска при 5-ом отделении милиции, кроме Васильева, было еще трое молодых людей, типичных милицейских «оперов», которые сидели за своими столами и в наш разговор почти не вмешивались. Один из них допрашивал какого-то старика, как я понял, конюха с ипподрома.

Меня поразило, как говорил Васильев. Говорил он, словно с трудом сдерживал гнев, прямо-таки задыхался от ярости, и поэтому очень тщательно и четко выговаривал слова, чтобы не дать своей ярости вырваться наружу. Не знаю, право, была ли у него просто такая манера говорить или же я в действительности вызывал у него такую ярость. Начал он с того, что как это я отказался ехать с оперативными работниками?! Вот если бы он там был, то уж он бы привез меня, хотя бы, как он сказал, «упаковав» меня для этого. И я бы еще ответил за свой отказ подчиниться представителям власти, суток пятнадцать посидел бы! Ссылался он при этом на Указы 1961 года об ответственности за сопротивление представителям власти. Действительно, Указы эти таковы, что при достаточно широком толковании их можно принять за приглашение милиции и дружинникам врываться в чужие квартиры и «в упаковке» доставлять хозяев в

каталажку. Однако я заспорил с Васильевым, будучи лучшего мнения о советском законодательстве. Васильев совсем уж вышел из себя и начал орать. Тогда я сказал, что в таком тоне вообще не буду с ним разговаривать. Васильев замолчал и стал говорить более вежливо, но с яростью возросшей, еще более четко выговаривая слова, так что казалось, что он каждую букву тщательно ощупывает языком, прежде чем выпустить наружу.

Сначала речь шла о том, где я был последние дни. Как я уже писал, милиции, если не самому Васильеву, это было хорошо известно; по-видимому, меня просто хотели «поймать». Кроме того, где бы я ни жил эти дни, все это не являлось криминалом, поэтому я отвечал самым нелепым образом, нисколько не заботясь о правдоподобии и давая Васильеву понять, что все это разговор бесполезный, так что один из «оперов» за соседним столом даже не выдержал и сказал: «Ты нам мозги не е..., парень, говори все, как было». Однако Васильев быстро сделал в его сторону предостерегающий жест и сказал что-то вроде «это не надо», имея в виду, что материться не надо, что я, мол, штука более тонкая, чем думает «опер» и что ко мне нужен иной подход. Затем он вынул лист бумаги и сказал:

— Хорошо, не хотите говорить, где были, не надо. Вот вам бумага, составьте подробный список всех ваших друзей.

— Этого я делать не буду, — сказал я.

— Это еще почему же? — спросил Васильев.

— Зачем же мне подводить своих друзей, — простодушно сказал я. — Чтобы разузнать обо мне, вы начнете таскать их в милицию и в лучшем случае доставите им несколько неприятных минут.

— Что вы пытаетесь представить милицию как какое-то страшное место, — демагогически сказал Васильев, — мы, наоборот, стоим на защите советских людей.

— Правильно делаете, — ответил я, после чего разговор принял новое направление. Со словами: «Хорошо, не хотите писать, не надо», — произнося их с яростными паузами, Васильев спрятал пустой лист бумаги почему-то в сейф и заговорил, видимо по заранее составленному плану, о том, где я работаю и на какие средства живу. Я сказал, что из-за тяжелой болезни

отца и болезни своей тетки, у которой три месяца назад умер муж и которая осталась одна, я не могу работать где-нибудь в штате и подрабатываю случайными заработками: работаю временно корректором, натурщиком, беру на дом технические переводы.

— Сколько же вы этим зарабатываете? — спросил Васильев.

— Примерно тридцать рублей в месяц, — сказал я, — отец получает шестьдесят с лишним рублей пенсии, и нам этого вполне хватает.

Тут Васильев стал доказывать, что тридцати рублей в месяц хватить на жизнь не может, вот ему, Васильеву, не хватает ста пятидесяти рублей. Я сказал, что у меня дома нет зато телевизора.

— У меня старый телевизор! — вскричал Васильев. — Мне вот даже на обед в столовой денег и то не хватает.

— Да нет, прожить можно, если только в семье жить, то и тридцатки хватит, — вдруг вмешался ипподромный конюх. Он и раньше пытался вступить в наш с Васильевым разговор, но в поддержку Васильева, желая, вероятно, тем самым выставить себя с выгодной стороны перед своим следователем, но в таком житейском вопросе вдруг стал на мою сторону.

— Ты, папаша, помалкивай и в чужой разговор не встревай, — сурово сказал ему «опер», и старик замолчал, а Васильев продолжал доказывать, что прожить на тридцать рублей нельзя и что я, видимо, имею еще какие-то другие источники дохода. Я не догадался уличить его тогда в том, что он, в сущности, занимается антисоветской пропагандой, поскольку тридцать рублей — это официально установленный советской властью прожиточный минимум в городах, и хочешь не хочешь, мы все должны уметь прожить на тридцать рублей. Вместо этого «идеологического» возражения, я сказал, что могу ему точно подсчитать свои расходы. Разозленный Васильев заметил, что, как он видит, я «шибко грамотный».

— Что же удивительного, — скромно сказал я, я кончил десять классов.

— Тут не в классах дело, вы кой в чем другом шибко грамотный, — многозначительно сказал Васильев и предложил написать мне подробно, где, кем и когда я работал, что делаю сейчас и особо упомянуть, что трачу рубль в день.

— В среднем рубль в день, — уточнил я, — иной раз два, а иной ничего, — и сел писать объяснение. Васильев спрятал мое жизнеописание в сейф и, ни слова не говоря, ушел. К моему удивлению, ничего прямо ни об иностранцах, ни о картинах он не спросил. Скорее, это был тревожный симптом. Видимо, от мысли поговорить со мной «по-хорошему» отказались и решили действовать руками милиции, ставя ей определенные и узкие задачи.

Место ушедшего Васильева занял участковый уполномоченный, капитан Киселев. С протокольным выражением лица он вновь начал спрашивать меня, где, когда и кем я работал, все это тщательно записывая, после чего предложил мне подписать его запись. Затем он предложил подписать бумажку, где было сказано, что меня ознакомили с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1961 года «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни» и дали мне срок для устройства на работу до 20 марта, после чего я буду привлечен к ответственности. Эту бумажку я подписал, то-есть признал, что Указ и предоставленный мне для трудоустройства срок мне известен, но сказал, что из-за болезни отца ни на какую постоянную работу я устраиваться не буду.

— Не будешь, поедешь в Красноярский край, — сказал Киселев, который, впрочем, в отличие от Васильева держался миролюбиво. Тут между нами возник спор из-за трудовой книжки, который, кажется, начался еще с Васильевым. Я не хотел давать свою трудовую книжку, но Киселев и еще какой-то капитан меня уломали, и я занес ее на следующий день. Отнес я книжку из тех соображений, что все равно, мол, не спасешься, а только еще новые неприятности наживешь, но может быть, было бы лучше им мою трудовую книжку не давать. Они тщательно переписали все, что там было, подшили к «делу» и вернули книжку мне. Таким образом «дело» на меня как на «тунеядца» было «оформлено».

Срок, предоставленный мне милицией, был настолько мал, что ни на какую работу по специальности я бы устроиться, конечно, не мог, если бы и захотел. Речь могла идти только о работе дворником, грузчиком, истопником, чернорабочим, то есть о работе, которая не представляла бы для меня никакого интере-

са, была бы крайне тяжела для моего больного сердца и оставляла мало свободного времени и за которую я мог бы взяться только из страха перед милицией. Сначала я все-таки искал работу, но потом изменил свое мнение и твердо решил на работу не поступать.

Конечно, во всяком случае на первый взгляд, кажется, что было бы осторожнее с моей стороны поступить на работу. Однако даже осторожность должна иметь предел. Нужно отстаивать свое право на независимое существование, рассуждал я, почему я должен идти работать грузчиком или ночным сторожем, если считаю своей работой работу над пьесами и стихами, а также свои исторические и художественные штудии? Лойяльность по отношению к государству не должна перерастать в рабскую покорность, думал я, и нужно, не поддаваясь страху, как-то отстаивать свое достоинство. Я тем более укреплялся в этом решении, что неприятные воспоминания о столкновении с милицией постепенно тускнели, а меня пока никто не беспокоил. Но это уже житейский комментарий к предыдущей патетике.

Была еще причина, почему мне трудно было устраиваться на работу, причем такая причина, как мне казалось, которую милиция должна принять во внимание. С января 1961 года, со дня смерти матери, я жил вдвоем с отцом, тяжело больным человеком, наполовину парализованным, почти лишенным речи, перенесшим несколько инсультов и инфаркт. Временами ему приходилось лежать совсем без движения, так что я даже кормил его с ложки, хотя большей частью он сам мог согреть себе обед и сам с трудом ходил по квартире, а иногда с моей помощью выходил посидеть на бульваре. Я не хочу сказать, что я безотлучно находился при отце, никуда не выходя из дому, но было совершенно очевидно, что без моего ухода отец прожить не сможет. После всех милицейских визитов ему, естественно, стало еще хуже.

Кроме отца, с начала этого года, мне пришлось еще заботиться о своей тете, родной сестре моей матери. В декабре 1964 года умер ее муж, и она осталась одна. Тоже была совсем больна, перенесла несколько кровоизлияний в мозг и почти ослепла, выходить из дому никуда не могла. Правда, ей помогали родственники мужа, но я заходил почти каждый день, ходил за продуктами и за лекарствами. Так что в этих условиях искать рабо-

ту, которая вдобавок отняла бы у меня целый день, мне было очень трудно.

И еще одно обстоятельство. Поскольку обвинение в «тунеядстве», как я думал, было только предлогом, а не причиной для судебного преследования, устройство на работу не спасло бы меня, а только заставило бы моих преследователей искать новые юридические уловки для обвинения, и против меня, например, возбудили бы какое-нибудь уголовное дело, что было бы гораздо хуже. Как будет видно дальше, я здесь не совсем ошибался.

Хотя срок предупреждения о трудоустройстве истек 20 марта, меня пока никто не беспокоил. Правда, в начале апреля раза два в мое отсутствие заходил капитан Киселев и спрашивал отца, устроился ли я на работу. Отец отвечал, что нет, и Киселев вздыхал и разводил руками, говоря: что же, мол, он думает делать и на что надеется? Потом он пытался расспрашивать отца, что за иностранцы ко мне ходят. В другой раз он завел с ним разговор, что вот, мол, я не работаю, отцу не помогаю, ухаживаю за ним, вероятно, плохо, и предложил ему написать на меня заявление в милицию. Так что отец попросил его больше не приходить, сказав, что очень устает от его посещений.

Ясно было, что это временное затишье и что невидимая мне бюрократическая машина продолжает работать, пишутся бумаги, отдаются распоряжения и собираются сведения, вращаются гигантские колеса и шестеренки, которые в один прекрасный момент затянут меня без остатка. Может быть, я все же начал бы искать работу, но случилось еще одно тяжелое событие. В середине апреля у тети произошло кровоизлияние в мозг, и через несколько дней она умерла.

Тетя моя, Клавдия Григорьевна Теодорович, урожденная Шаблеева, оказалась последней в старом русском роду Шаблеевых. Фамилия эта происходит от слова шабля, что значит сабля. Мой дед, Григорий Фокич Шаблеев, единственный сын крупного чиновника русской администрации в Польше, в конце прошлого века женился на цыганке, дочери цыгана-конокрада. От этого брака родилось трое детей: в 1895 году сын, Евгений Григорьевич, в 1900 году дочь, Зоя Григорьевна, моя мать, и в 1903 году дочь, Клавдия Григорьевна, после чего дедушка с

бабушкой разошлись. В семье дедушки этот брак считался «ужасным», и мама и дядя чуть ли не с рождения воспитывались у дедушкиной замужней сестры, а тетя осталась у бабушки и считалась кем-то вроде Золушки в семье, пока революция не стерла все эти нелепые различия. Дедушка погиб во время гражданской войны в Сибири, а бабушка умерла в 1942 году в эвакуации в Оренбурге. Хотя мне было тогда уже четыре года, у меня от нее ничего не осталось в памяти, кроме цветных стекол на террасе дома, где она жила перед смертью. Дядю расстреляли в 1937 году как «врага народа», мама умерла в 1961 году от рака мозга, и тетя, последняя из Шаблеевых, пережила ее всего на четыре года.

У тети был хороший голос, в молодости преподавательница пения говорила ей, что ее жизнь будет усыпана цветами. В тридцатых годах тетя пела в Тбилисской, затем в Саратовской опере, откуда во время войны перешла в оперетту, так как оперу в то время лишили государственных дотаций. После войны она выступала в Москве, и я помню ее в роли Сильвы с огромным страусовым пером на шляпке. Это перо — я вижу его в чемодане среди других тетиных театральных нарядов: черного платья с блестками и черного же веера — одно из сильных воспоминаний моего детства; вчера я совершенно случайно узнал, что перо попало к дальней родственнице моей тети, и ее маленькие внучки играют с ним в «театр». Тете пришлось бросить театр в 1951 году, когда арестовали ее мужа. В ордере на арест было сказано, что он «социально опасен как сын врага народа» (его отец был наркомом в первом правительстве Ленина после октябрьского переворота), а затем предъявлено обвинение в «клевете на социалистический реализм», за что он получил пять лет, что по тем временам считалось маленьким сроком. Чтобы как-то прожить, тетя занялась изготовлением искусственных цветов для шляп и платьев в духе советской моды начала пятидесятых годов, так что предсказание ее преподавательницы странным образом сбылось.

Смерть тети оставила тяжелое впечатлениие, и я решил ненадолго уехать из Москвы. Я договорился с домработницей соседки, что она три дня посмотрит за отцом, и уехал в Таллин, чтобы в одиночестве спокойно побродить по узким улочкам Старого города.

Вскоре после моего возвращения зашел капитан Киселев и сказал, что мне нужно проходить судебно-медицинскую экспертизу, для того чтобы установить, пригоден ли я к физическому труду. Сначала мы отправились в районную поликлинику, где меня осмотрели терапевт, окулист и ларинголог, взяли у меня анализы крови и мочи, просветили рентгеном и сделали электрокардиаграмму. Так мы и ходили рядышком из кабинета в кабинет, на подобие двух неразлучных друзей, занятых общим делом, и капитан Киселев постепенно собрал целый ворох медицинских справок. Заняло это, впрочем, несколько дней. Я спросил Киселева, что будет после экспертизы. «Дадим еще одно предупреждение, — сказал он, — а если не устроишься, передадим дело в суд».

В ожидании результатов кардиаграммы мы пошли в психиатрический диспансер, это была моя первая встреча с психиатрами. Разговаривали со мной трое: двое женщин и один мужчина.

— Почему вы не работаете? — спросили они меня. К тому времени все врачебные процедуры, равно как и глупые вопросы, мне изрядно надоели.

— Хватает других дел, — ответил я.

— Что же вы делаете? — любезно спросили психиатры.

— Хожу в гости к друзьям, — сказал я.

— Но ваши друзья большую часть дня, вероятно, заняты какой-нибудь работой, — осторожно возразили психиатры.

— Почему же, сказал я, — у меня такие же друзья, как и я сам.

После чего психиатры переглянулись и сказали мне, что я свободен. Как я мог понять из дальнейшего, я был признан совершенно нормальным.

Дня через два я столкнулся с Киселевым у своего дома. «Лечиться тебе надо, — соболезнующе сказал Киселев, — сейчас получил кардиаграмму, сердце у тебя совершенно никуда не годится, теперь о Красноярском крае и речи быть не может». У меня, если можно так скаламбурить, отлегло от сердца. Впрочем, ничего удивительного здесь не было: сердце у меня больное от рождения, из-за него я был освобожден от военной службы, а последнее время чувствовал себя совсем неважно.

После получения всех медицинских заключений и справок мы с Киселевым поехали в Бюро судебно-медицинской экспертизы, на окраину Москвы. Это было 30 апреля. Киселев долго выяснял что-то, наконец сказал, что комиссию придется подождать. Ждали мы тоже очень долго, в обществе нескольких женщин с синяками, пришедших для освидетельствования мужниных побоев, наконец нас вызвали, и я предстал перед «комиссией». Вся «комиссия» состояла из низкорослого, худенького человечка, невзрачного и курносого мышонка, в халате не белом, а таком же сером, как его лицо.

— Водочку пьете? — спросил он сладким голосом, небрежно прослушав мое сердце.

— Почти не пью, — сказал я.

— Ах, почти, — и он что-то быстро написал на бумажке, которую протянул Киселеву. Я думал, что меня еще осмотрит невропатолог, кабинет которого был рядом, но на этом экспертиза окончилась.

— Ну, что решила экспертиза? — спросил я, когда мы вышли.

— Ограниченно трудоспособен, без поднятия тяжестей, — ответил Киселев. — Теперь поедем в 5-е отделение, нужно поговорить с начальником.

Я не стал спорить, поняв из его слов, что это будет нечто вроде «отеческой» беседы, которой все дело и кончится. Однако в 5-ом отделении вместо ожидаемого начальника передо мной очутился опять Васильев. «Дело плохо», — подумал я.

— Ну, как жизнь? — спросил он светским тоном.

— Все так же, — ответил я.

— Так, да не так, — загадочно сказал Васильев и вновь предложил написать мне объяснение, где и когда я работал или учился, почему не работаю теперь и на какие средства живу. Пока я писал, он неожиданно спросил меня, какую группу инвалидности мне дали. Я сказал, что никакой. «Скоро дадут, — пообещал Васильев, — а вот с чего вам пенсию начислять, неизвестно, раз вы нигде не работаете». Забрав мое объяснение, он сказал, что я свободен, и любезно со мной попрощался. Уходя, я по рассеянности забыл у него свой паспорт.

Я ушел из милиции обрадованный, надеясь, что теперь все хорошо кончится, хотя и не вполне в этом уверенный. Может

показаться противоестественным, что человек радуется тому, что у него больное сердце, но противоестественны, по-видимому, те условия, в которых мы живем. Инвалидность дала бы мне относительную свободу и вдобавок маленькую пенсию, что было не лишне при моих ничтожных заработках.

Начался май. На скорое получение пенсии пока еще ничто не указывало, между тем можно было догадаться, что милиция ни в коей мере не утратила ко мне интерес. Как я предполагал, опросили всех моих соседей; кроме того, Васильев сказал, что ему нужно зайти опросить моего отца. Правда, можно было думать, что это пустая формальность, связанная с прекращением дела и назначением мне пенсии. Я сам позвонил Васильеву и попросил его зайти скорее, так как отца пригласили на дачу и он должен был вот-вот недели на две уехать из Москвы.

Отца пригласила его старая приятельница, у которой он и раньше иногда жил на даче. Я знал, что один из ее родственников косвенно замешан в слежке за мной, но не придал этому значения. В то же примерно время мне предложили место библиотекаря в одной библиотеке, находящейся недалеко от моего дома. Поскольку такая работа меня более или менее устраивала, я договорился, что зайду в отдел кадров, как только отправлю отца на дачу.

За два дня до отъезда отца пришел Васильев, с ним был какой-то молодой человек в штатском, которого ни раньше, ни позже я не видел. Во время опроса я сидел в другой комнате и в него не вмешивался и вышел только в самом конце. Насколько я помню, Васильев спрашивал, ухаживаю ли я за отцом, на какие средства мы живем, работаю ли я и если нет, то почему, помогают ли отцу соседи. Отец отвечал с большим трудом, с длинными паузами между словами, но внятно и толково. Он показал, что я за ним все время ухаживаю, приношу и готовлю пищу, мою его и делаю все, что нужно, что живем мы на его пенсию и на мои случайные заработки, что я уже долгое время постоянно не работаю, чтобы ухаживать за ним. Тут Васильев подсказал отцу, что я постоянно не работаю еще, видимо, потому, что у меня больное сердце, и отец это подтвердил. Про соседей он сказал, что, за исключением одной соседки, они ему не только не помогают, но даже преследуют его.

Все это Васильев записал, прочитал вслух отцу, и тот левой

рукой накарябал несколько букв внизу листа. Перед уходом Васильев спросил меня, как дела с работой. Я сказал, что, возможно, скоро поступлю на работу.

— Инвалидность, может быть, и дадут, но все же советую поступать скорее, — сказал Васильев, однако моего паспорта мне не вернул, хотя и понимал, что без него меня никуда не возьмут.

Я ответил, что уже один раз пытался поступить на работу, в журнал «Советская милиция», но оттуда, по-видимому, запросили обо мне местные органы милиции, то-есть того же Васильева, и они обо мне дали такой отзыв, что меня на работу не взяли.

— Ну нет, — сказал Васильев, — у министерства для проверки есть свой аппарат, нас они спрашивать не будут. Мы, наоборот, помогаем в устройстве на работу.

В дверях он столкнулся с нашей соседкой, и они поздоровались как старые знакомые. Это подтвердило мою мысль, что показания соседей уже собраны.

Глава четвертая

У ПРОКУРОРА. АРЕСТ. РАЗГОВОР С СУДЬЕЙ

Утром 14 мая я проводил отца на дачу. Едва я вернулся домой, ко мне зашел Зверев и сказал, что сегодня открывается его выставка в Женеве, та же, что ранее была в Париже. За время между двумя выставками он, наконец, успел побывать в министерстве культуры. Насколько я мог его понять, разговор с ним там мало отличался от разговора со мной в милиции. Его принял начальник отдела по охране и реставрации памятников старины Дружков, в ведении которого почему-то находится экспорт художественных произведений. В его кабинете, по описанию Зверева, очень узком, так как начальников в Москве много, а площади мало, сидело еще двое молодых людей атлетического сложения, с протокольными мордами. Страдающий манией преследования, Зверев решил, что эти молодые люди приглашены для того, чтобы после разговора с Дружковым хорошенько от-

лупить его, дабы больше неповадно было устраивать выставки в Париже.

— Что это на Западе газеты шум-бум подняли, что вы здесь с хлеба на квас перебиваетесь, что, вам разве плохо живется? — сурово спросил Дружков.

Зверев, который кроме кваса пил также водку, ответил, поглядывая на молодых атлетов, что это клевета буржуазной прессы. Разговор в таком духе продолжался еще минут двадцать, после чего Дружков велел Звереву зайти еще раз и принести свои работы. Под неодобрительными взглядами сотрудников Дружкова Зверев вышел, счастливый, что благополучно унес ноги, и больше в министерство не заходил.

Чтобы отметить женевскую выставку, мы пошли со Зверевым в кафе. Впрочем, у нас с собой не оказалось денег, и мы выпили за успех в Женеве даже не квасу, а газированной воды.

Когда я вернулся домой, соседи сказали, что ко мне заходил какой-то военный, тут же появился и сам «военный», оказавшийся не кем иным, как капитаном Киселевым.

— Дело плохо, — сказал он, — надо ехать к прокурору.

— А что сделает прокурор?

— Прокурор хочет поговорить, а там может прекратить дело или дать ордер на задержание, — объяснил Киселев.

Прокуратура Фрунзенского района находилась недалеко от Трубной площади, в правом крыле большого старого дома, на первом этаже. Главный прокурор района Фетисов велел приехать к четырем часам, но его самого еще не было. Мы ждали в длинном темном коридоре, сидя на деревянной скамье, какие бывают только в милиции и на железнодорожных вокзалах. Рядом с нами какой-то милицейский работник рассказывал другому, с каким трудом ему удалось задержать одну проститутку: поживет у одного — перейдет к другому, от него к третьему — и поди ее найди. Потом вошла девушка и почему-то спросила, не здесь ли поликлиника.

Прокурор появился около пяти часов. Он был высокого роста, в черном лоснящемся костюме, очень похожий на киноактера Самойлова, который играет ответственных партработников в кино, лет ему было за пятьдесят. Как он только пришел, сразу же нас позвали в кабинет, и он, не глядя, предложил нам садиться в два больших черных кожаных кресла возле его стола.

Над его головой висел портрет Ленина. Прокурор сел за стол и минуты три листал папку с моим делом, которую ему дал Киселев. Папка, как я заметил, была уже довольно толстая.

— Что ж, явное тунеядство, да еще фарцовкой попахивает, — сказал прокурор, ни к кому не обращаясь, и, посмотрев на меня в упор, спросил:

— Тебе что, Москва надоела?

— Нет, не надоела, — честно сказал я.

— Пусть он подождет, — сказал тогда прокурор Киселеву, кивнув на меня.

— Ты подожди пока, — сказал Киселев, и я вышел в коридор. Киселев пробыл у прокурора еще минут двадцать.

— Поедем в 5-ое отделение, — сказал он, выходя из кабинета, — прокурор проконсультируется и позвонит туда.

Едва мы вошли в дежурную часть 5-го отделения милиции, как Киселев куда-то пропал. Подождав минут десять, я хотел уйти.

— Сидите, вы задержаны, — сказал мне дежурный по отделению, и милиционер у двери стал на моем пути. Я понял, что Киселев просто обманул меня, чтобы я не скрылся от него по пути от прокурора в милицию, но быть может, прокурор действительно консультировался, прежде чем подписать ордер на задержание.

Огромная бюрократическая машина как-то, может быть, даже случайно, зацепила человека; между ее шестеренками попала лишь фалда пиджака, и человеку кажется, что все прекрасно, только пиджак немного жмет, а это не пиджак жмет, а шестеренки, медленно вращаясь, через мгновение втащат его всего и расплющат. Так и я шел с Киселевым по Трубной площади, согреваемый весенним солнышком, думая, что в милиции я опять в сотый раз напишу какое-нибудь объяснение и похожу в немного тесном пиджаке, тогда как в действительности два года медленно вращавшиеся шестеренки сделали свой последний оборот.

Конечно, все эти литературные ассоциации пришли мне в голову гораздо позже, тогда я думал не об этом. Около часу я просидел в дежурной части, большой комнате, разделенной надвое деревянным барьером. В задней части комнаты, за барьером, сидели дежурные офицеры 5-го и 11-го отделений милиции,

а остальная предназначалась для посетителей и сменяющихся с дежурства милиционеров. Одна дверь оттуда вела на улицу, и возле нее стоял на страже старшина, другая во внутренние помещения милиции, третья, закрытая на ключ, в маленький коридорчик, куда выходили двери так называемых КПЗ, камер предварительного заключения. И еще одна дверь, прямо напротив барьера, тоже вела в камеру, как бы подсобного характера, куда, как я понял, помещали в основном пьяниц для протрезвления и тех, кто попадал в отделение ненадолго. В двери было сделано маленькое оконце из плексигласа, чтобы можно было наблюдать, что там творится. Пока что там сидели какие-то подростки, которые кричали, что они пришли как свидетели и не хотят сидеть в камере, и стучали кулаками в дверь. Дежурный лениво переругивался с ними, но вскоре их выпустили и повели куда-то. Как только они ушли, дежурный, старший лейтенант, предложил мне сдать часы, деньги, документы, ремень от брюк, шнурки от ботинок и очки, и я понял, что меня хотят поместить в эту камеру. Очки сдавать я не захотел, старший лейтенант не стал спорить, сказал только, что если какой-нибудь пьяница в камере разобьет мне очки, я сам буду виноват.

Камера была метров шестнадцати, с маленьким зарешеченным окошком под потолком напротив двери; большую часть ее занимали сплошные нары, вроде подиума, так что оставался только узкий проход между подиумом и стеной, где была дверь. На нары эти я бы, впрочем, не лег: прямо по ним ходили, и они все были в грязи; кроме того, из камеры не очень охотно выпускали в уборную, и все мочились в угол на стены, а пьяницы прямо на нары, так что они были в разводах мочи и запах в камере стоял очень неприятный. Когда меня ввели, там на нарах спал, поджав под себя ноги, еще один человек, лохматый, с лицом в кровоподтеках и царапинах, в перепачканной рабочей одежде. Я стал ходить из угла в угол в узком пространстве, оставленном нарами, и почему-то с внезапной отчетливостью вспомнил, как весной прошлого года ездил в деревню под Смоленском, начался разлив рек, и несколько километров я шел босиком по залитым водой лугам, и, вспомнив это, очень остро, как никогда потом, ощутил свою несвободу.

Теперь я мог видеть, что разговоры об инвалидности, так же как и о втором предупреждении, оказались всего лишь уловкой,

чтобы я все-таки не поступил на работу и не затруднил тем самым свое выселение из Москвы. Может быть, хотя я в это мало верю, у кого-то действительно был проект дать мне инвалидность и тем самым покончить с моим делом, но у более высокого начальства проект этот одобрения не получил. Но я не считал еще дело проигранным: впереди был суд, и я надеялся на суде опровергнуть все аргументы милиции, наивно не отдавая себе отчета в том, что суд такая же пустая формальность, как рапорт участкового или опрос моего отца, и что исход дела был предрешен уже тогда, когда его начали. И все же, лихорадочно расхаживая по камере и обдумывая средства защиты, я поступал самым правильным образом, так как это помогало мне перенести одиночество и бездеятельность тюремного существования и не пасть духом.

Пока я так ходил, проснулся мой товарищ по камере и, осмотревшись пьяными глазами, сказал: «Нет, это не дипкорпус». Я очень удивился, ничто не указывало на его причастность к дипломатическим кругам и на подсаженного ко мне с целью разузнать о моих иностранных знакомых осведомителя он тоже не был похож, а он заплетающимся языком продолжал бормотать что-то совсем уж невнятное про американское посольство, пока опять не заснул. Объяснилось все, впрочем, очень просто: оказывается, он работает слесарем в Управлении по обслуживанию дипкорпуса, напился «с получки» и недипломатично был доставлен в милицию. Вскоре привели еще одного пьяного, на вид безобидного старичка в потертой шляпе и с огромной красной шишкой под глазом. Он все время всхлипывал и с горечью повторял: «Меня, патриота моей родины, и вдруг посадить в каталажку» — потом деликатно стучал в дверь и просил «папиросочку». Старшина дал патриоту папиросу, и он замолчал, продолжая время от времени всхлипывать. Вслед за ним привезли еще несколько человек, но тут в камеру вошел молодой милиционер и сказал, чтобы я шел за ним.

Меня требовал к себе судья, и не простой, а, как с уважением сказал милиционер, главный. Суд находился недалеко от милиции, и мы пошли пешком: впереди я, поддерживая спадающие брюки, а за мной с выражением служебного рвения на лице молодой милиционер; он был очень горд за меня, что меня будет судить не какой-нибудь судья, а главный. У входа в суд нас под-

жидал капитан Киселев с папкой в руках. Я упрекнул его в том, что он обманул меня у прокурора, но он ничего не ответил, а когда я сказал, что вот как быстро все делается — не успели меня арестовать, как уже судят, Киселев удивленно возразил, что судья просто хочет поговорить со мной.

Вместе с Киселевым поднявшись на второй этаж и пройдя через маленький судебный зал, мы вошли в кабинет главного судьи Фрунзенского района Яковлева. Судья, с плешью, тянувшейся от лба почти до затылка и как бы разделявшей голову на две части, где росли вьющиеся волосы, с курносым сальным носом и с выражением лица человека из низов, пробившегося в начальники, мне сразу крайне не понравился, и я подумал, что если меня будет судить он, то ничего хорошего ждать не приходится. У него в кабинете на диване сидел молодой человек небольшого роста, наголо остриженный, с глазами очень черными. Судья, когда мы вошли, еще продолжал разговор с ним и сказал ему, чтобы он сходил куда-то узнать насчет работы и чтобы купил себе в любой аптеке антабус, так что можно было подумать, что этот человек страдает алкоголизмом.

Когда он вышел, судья, обернувшись к Киселеву, спросил: «Знаете, кто это такой?» Киселев не знал. «Это Пушкин — продолжал судья, — своего рода артист среди московских карманников». Я подумал, что кличку «Пушкин» ему дали за некоторое сходство с поэтом, а судья продолжал, обращаясь к Киселеву, но бросая косые взгляды на меня, так что я понял, что эта история предназначена для меня: «Он прислал мне письмо из лагеря, что обманул меня на суде, сказав, что кончил семь классов, но что в лагере семилетку кончит, и действительно закончил. Мы с ним переписывались, и я подал в Верховный совет РСФСР прошение о досрочном его освобождении. А это сложное дело», — добавил судья. Верховный совет освободил его досрочно, или же отменил приговор, или же помиловал, точно не помню, во всяком случае карманник, или по-блатному, щипач, Пушкин вернулся в Москву, и теперь судья Яковлев устраивал его на работу и лечил от алкоголизма. Рассказав все это, судья победно посмотрел на меня, как бы говоря: «Что вы теперь скажете?!» — и уже после этого взял у Киселева папку с моим делом.

Как я и ждал, первое, что он спросил: почему я не работаю?

Я вкратце повторил все то, что уже говорил в милиции. Судья, который рассматривал мою трудовую книжку, стал расспрашивать меня, что я умею делать, и выяснилось, что я умею делать весьма немногое. Затем судья спросил о здоровье и, узнав, что у меня больное сердце, посмотрел в военный билет. Там было сказано, что медицинской комиссией я «признан негодным в мирное время, в военное время годен к нестроевой службе».

— Ну да, такие люди во время войны назывались обозниками, — сказал Яковлев, поджимая губы и всякими иными способами изображая презрение к моей строевой непригодности.

— Без обозников тоже нельзя, — вступился за меня Киселев.

Яковлев нехотя согласился и перешел к другой теме.

— А что за иностранцы у вас бывали? — спросил он.

Я сказал, что собираю картины молодых художников, и ко мне заходили иностранцы посмотреть живопись. За границей, продолжал я, сейчас большой интерес к современной русской живописи, и как я слышал, одному русскому художнику, Звереву, иностранные коллекционеры устроили выставку в Париже. Сказав это, скорее из озорства, чем из каких-либо других соображений, я понял, что сделал глупость.

— А что же теперь стало со Зверевым? — спросил судья.

— Насколько я знаю, ничего, — ответил я.

— Интересно бы посмотреть, что это за картины, — продолжал Яковлев и спросил у Киселева, делали ли у меня обыск. Иной возможности посмотреть картины он, видимо, себе не представлял. Киселев ответил, что не делали.

— Вот вы знаете хоть одного художника, который получил бы признание не у себя на родине, а за границей? — спросил меня Яковлев проникновенным тоном.

— Да, — сказал я, — например, американский художник Раушенберг получил сначала признание во Франции.

— Я спрашиваю не об американцах, — раздраженно возразил судья. — Кого из русских художников вы знаете, пусть даже модернистов?

— Сколько угодно, — сказал я, — Кандинский, Шагал, Сутин, Архипенко, Малевич, да чуть ли не все вообще значительные русские художники XX века.

— Для кого же, по-вашему, писали эти художники? Для кого вообще нужна живопись?

— Это сложный вопрос, — сказал я.

— А в Третьяковской галерее вы когда-нибудь бывали? — спросил Яковлев.

— Бывал, — скромно ответил я.

— Вы знаете, кто написал картину «Всюду жизнь»?

— Ярошенко, — сказал я. — На этой картине, написанной в прошлом веке, сквозь зарешеченное окно зеленого железнодорожного вагона заключенные смотрят на голубей.

— Этот художник писал для народа, — сказал Яковлев. — Любой русский мужик-лапотник считал эту картину своей. Художники должны писать не для каких-то там любителей, иностранных или даже отечественных, а для народа, только тогда это будут настоящие художники.

Я не очень хотел вступать с судьей в разговоры об искусстве, но все-таки решил ответить ему, встав на его же точку зрения, что художник «должен писать» для кого-то.

— По-видимому, для той части народа, — сказал я, — которой интересна живопись, ведь народ не какая-то однородная масса с одинаковыми интересами. Одним интересна музыка, другим живопись, третьим спорт, четвертым техника, а кому-то вообще ничего не интересно.

А кроме того, мог возразить я ему, если «художник должен писать для народа», то между ним и народом не должно стоять средостения в виде малограмотных начальников, определяющих, что годится народу, а что нет.

Яковлев только сокрушенно качал головой, слушая меня. На этом разговоры об искусстве кончились.

Я сказал Яковлеву, что по Москве ходят слухи о скорой отмене указа о «тунеядцах» и спросил, правда ли это. Слухи эти ходили уже несколько месяцев, и я еще раньше говорил о них Киселеву. «Правильно сделают, если отменят, — сказал мне в свое время Киселев, — никакого толка от указа нет, высылаем одних пьяниц».

— Нет, это неправда, — ответил Яковлев, — но действительно, группа литераторов в Москве хлопочет об отмене указа, в том числе и некоторые народные заседатели.

— Ну, а вы как относитесь к указу? — спросил я.

— Правильный указ, — сказал судья, — туда вашему брату и дорога. — И назидательно объяснил. — Родившись в советской стране, вы сразу, от рождения, получили очень много прав, но и несколько обязанностей, в том числе обязанность работать. Не хотите работать в Москве — поезжайте в Красноярский край ухаживать за чернобурыми лисицами. Они, правда, плохо пахнут, — добавил он с садистским выражением лица, — но их мех нужен стране.

Далее Яковлев разъяснил мне мои многочисленные права и малочисленные обязанности перед предстоящим судом. Суд должен состояться в течение пяти дней с момента задержания, я могу потребовать себе платного адвоката, попросить вызвать свидетелей и ознакомиться с материалами дела.

— Вы прочтите дело, раз еще не читали, — сказал мне Яковлев, словно кто-то предлагал мне познакомиться с делом и раньше, — а потом, если захотите, сразу же напишите мне заявление об адвокате и свидетелях.

Мы с Киселевым вышли в пустой судебный зал, и он протянул мне папку с документами. «Дело», как я помню, состояло из рапорта участкового, то-есть того же Киселева, выписки из моей трудовой книжки, показаний двух дружинников, бывших у меня в феврале, характеристики с последнего места работы, а также собранных Васильевым моих показаний, показаний отца и показаний соседей; там же, по-моему, был ордер на задержание, подписанный прокурором.

Показания одного дружинника были кратки, другого пространны. Оба они, как выяснилось, были членами какого-то «штаба народных дружин» и оба явились ко мне на квартиру 26 февраля вместе с участковым уполномоченным 5-го отделения милиции и, как писал один из них, «с еще одним сотрудником»; другой этого «сотрудника» вообще не упоминал. У меня они застали «двух иностранных граждан и человека, называющего себя Плавинским». Далее они писали о развешанных по стенам картинах, специально предназначенных, как они поняли, для продажи иностранцам, потому что картины эти были написаны в мрачных тонах и «давали искаженное представление о советской действительности». Особенно возмутила дружинников картина, где был «изображен советский рубль, падающий в море рядом с полуразвалившимися домишками». Как я понял,

речь шла о картине Оскара Рабина «Один рубль». Художник, испытавший косвенное влияние американского поп-арта, на фоне характерного для него пейзажа московской окраины изобразил тщательно написанный огромный металлический рубль; никакого моря там, впрочем, не было. Оба дружинника заключали, что я потенциальный изменник родины и что меня нужно скорее сослать, хотя бы как «тунеядца».

В характеристике, запрошенной милицией из издательства газеты «Водный транспорт», где я работал год назад, было сказано, что работал я плохо, прогуливал и даже вышел из профсоюза. К характеристике этой я еще вернусь.

Основные «доказательства» моей вины содержались в показаниях соседей: живущего в моей квартире председателя домкома, паспортистки милиции и ее мужа, моего молодого соседа, его жены и бабки. Если учесть, что по крайней мере двое из моих соседей уже более года занимались по указанию милиции и госбезопасности слежкой за мной, можно понять, чего стоили эти показания.

Председатель домкома кратко написал, что я «в расцвете лет занимаюсь тунеядством», тогда как было бы лучше, если бы я работал. Соседка-осведомительница показала, что я нигде не работаю, часто уезжаю на долгие сроки, бросил отца на произвол судьбы и за ним ухаживают соседи или же он сам. Сосед-осведомитель и его жена также показали, что я нигде не работаю и не ухаживаю за отцом. Правда, были некоторые противоречия: одни писали, что я не работаю, так как весь день сижу дома, а другие, что я не ухаживаю за отцом, так как меня нет дома с утра до вечера. Самыми интересными были показания бабки осведомителя, самой старой жилички нашей квартиры. Про нее было известно, что в конце тридцатых годов, разозленная изменами мужа, она написала на него донос, что он якобы занимается антисоветской пропагандой, и тот был расстрелян. Теперь же перед ней открылось новое поле деятельности. Я прочел ее показания, добросовестно записанные Васильевым, как детективный роман. Там были условные пароли, тайник, подозрительные личности, иностранцы со шпионской аппаратурой, таинственная незнакомка с распущенными волосами и бегство через запасной ход. Доказывалось это примерно таким образом: отец варил на кухне клейстер и на вопрос, зачем он

это делает, ответил: «Не ваше дело», — значит он хотел обоями заклеивать тайник в стене; я, встречая гостей, сказал: «Мой отец тяжело болен», — следовательно, это был условный пароль, и так далее. То, что я не работаю и не ухаживаю за отцом, выглядело здесь уже совершенно невинным дополнением. Соседи показали также, что ко мне часто приходят «иностранцы, которые приносят и уносят абстрактные картины». Меня рассмешило немножко, как могли узнать они — «абстрактные» картины или нет; когда я или мои друзья приносили и уносили картины, их всегда тщательно заворачивали.

Самым неприятным и лживым в показаниях соседей было все, что касалось отца. Во-первых, никто ему, за исключением одной соседки, не давшей, кстати, никаких показаний, не помогал. Наоборот, соседи преследовали его, особенно осведомительница И. Каган, которую раздражало, что отец ходит по коридору, шаркая ногой, так что он даже боялся выходить из комнаты. Когда же я пытался вступиться за отца, мне и отцу угрожали доносами в милицию. Во-вторых, что отец якобы сам мог ухаживать за собой, тоже была ложь. Его очень тяготило, что он лишен возможности работать, читать интересные ему книги и разговаривать, поэтому врачи предписали ему, чтобы чем-то занять себя, выполнять всю домашнюю работу, которую он может делать сам. Отец иногда сам грел себе обед, даже мел пол в комнате. Однако без посторонней помощи, как было ясно соседям, он не мог бы прожить и двух дней. В-третьих, что до «долгих сроков», на которые я бросаю отца, то за все время нашей жизни вдвоем я уезжал всего два раза: первый раз после налета опергруппы, когда к нему ежедневно заходила моя приятельница, и второй — после смерти тети, когда я на три дня уехал в Прибалтику, наняв ему на эти дни домработницу.

Для того, чтобы опровергнуть эти лживые показания, я написал суду заявление с просьбой вызвать свидетельницу, которая часто у нас бывала и знала действительное положение вещей. Правда, я не слишком надеялся, что ее показания что-либо изменят, главным образом я хотел дать таким путем своим друзьям знать о себе, поскольку иначе они и не узнали бы о суде надо мной. Также я просил суд назначить мне адвоката. Яковлев забрал мои заявления и сказал, что суд, вероятно, со-

стоится в понедельник или во вторник, а адвокат зайдет ко мне в субботу или понедельник. Сегодня была пятница.

Киселев, которого давно поджидал какой-то его приятель и которому пришлось выслушивать долгие разглагольствования судьи и ждать, пока я ознакомлюсь с делом, наконец получил возможность отвести меня назад в милицию. По дороге, может быть, желая обелить себя, он сказал, что если бы меня не обвинили в «тунеядстве», то завели бы уголовное дело. Он первый и последний раз сказал так откровенно, потому что до и после всегда говорил мне, что, мол, я сам себе враг: устроился бы для вида на какую-нибудь работу — и ничего не было бы.

Глава пятая
В МОГИЛЬЦЕВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ

Меня поместили в ту же камеру, где было уже довольно много пьяных; некоторые спали на нарах и прямо на полу, другие ходили по ним, пьяно размахивая руками и бесцельно ругаясь. Было уже больше десяти часов вечера, а я с утра ничего не ел, поэтому я постучал в оконце и спросил у открывшего дверь старшины, накормят ли меня.

— Что же вы раньше не сказали мне? — ответил старшина. — Деньги у вас есть, я и сбегал бы чего-нибудь купить. Сейчас уже магазин закрыт, а с завтрашнего дня вы поставлены на довольствие.

Ничего не оставалось, как терпеть до завтра, меня беспокоило только, как я буду спать. Однако в двенадцатом часу дверь открылась и мне сказали, чтобы я выходил.

Меня вывели во двор, и я услышал, что меня повезут в Могильцевский переулок, но что там такое, я не знал. Двое милиционеров предложили мне садиться в коляску мотоцикла, один сел за руль, второй сзади — и мы поехали. Оказалось, что меня просто перевозят из одного отделения милиции в другое: из 5-го в 60-е, расположенное в одном из тихих арбатских переулков. Дежурный офицер отомкнул дверь в глубине дежурной части, и я оказался как бы в маленькой тюрьме. Она состояла

из коридора, в который выходили двери трех камер. Дверь направо вела в уборную. В противоположном конце тускло горела лампочка, стоял шкафчик, стол, стул и бак с горячей водой. В коридоре постоянно дежурил милиционер, и войти туда и выйти можно было, только отомкнув дверь со стороны дежурной части; изнутри она не открывалась.

В коридоре меня встретил пожилой добродушный старшина, который еще раз обыскал меня, как он сказал, «для хвормальности», отобрал очки и ввел в первую камеру. Камера показалась мне очень мрачной, хотя и чистой. Была она совершенно пуста, с высоким потолком, и от этого выглядела большой. Когда я промерил ее потом, оказалось шагов восемь в длину и четыре в ширину. Прямо против двери было большое окно, чуть ли не до потолка, с обеих сторон зарешеченное; выходило оно на забор. На подоконнике я потом обедал. В двери был прорезан маленький «глазок», снаружи закрывавшийся металлической заслонкой, а сверху была ниша с лампочкой, которая, по тюремным правилам, горела всю ночь. Справа были большие нары для спанья, как и в прежней камере, так что оставался неширокий проход между дверью и окном и совсем узенькие с боков. Все было выкрашено в темнокрасную краску, местами облупившуюся.

Я походил немного, потом снял ботинки, расстелил плащ, лег на нары и хотел уснуть, подложив под голову свитер. Но в одной рубашке было очень холодно, сначала я надел свитер, а потом и плащ. Подложив под голову руку, я постепенно задремал. Проснулся я от страшного холода. Пришлось делать зарядку, чтобы согреться, надеть ботинки и свернуться наподобие собаки или кошки, чтобы как-то уснуть. Оказывается, в эту ночь, с 14 на 15 мая, ударили холода, температура упала чуть ли не до 0° С и держалась ночами целую неделю, а в камерах не топили, так что пришлось мне плохо, я начал кашлять, ныла спина, а через несколько дней стала бить легкая дрожь. Утром часов в 6, я почувствовал, как кто-то моет пол и нары, задевая меня мокрой тряпкой, но мне как можно дольше не хотелось вставать, чтобы сократить время тюремной жизни хотя бы за счет сна. Поэтому я проспал утренний чай, и дежуривший в коридоре старшина, уже новый, на мой вопрос о завтраке предложил ждать до обеда. Есть я, впрочем, не очень хотел. Я попросил

выпустить меня в уборную. Уборная оказалась просторной, там же был умывальник, висело грязное полотенце и лежала мыльница, но без мыла. Когда дня через три делал обход санитарный врач, положили мыло и повесили новое полотенце, но после его ухода опять все убрали, видимо, до следующей проверки. Не было не только туалетной бумаги, но даже каких-нибудь газетных обрывков. Я сказал об этом старшине, высунув голову в коридор, и тот, ворча, что ему на «тунеядцев» бумаги не напастись, дал мне все же обрывок газеты. И в дальнейшем старшины всегда мне давали клочки бумаги, правда, ворча при этом, но скорее из чувства служебного долга, чем из-за действительного раздражения от моих непомерных претензий. С дежурными по КПЗ у меня вообще сложились хорошие отношения; дежурили преимущественно пожилые старшины, которые почему-то называли меня «идейным тунеядцем» и видя, что в подобном месте я впервые, но веду себя спокойно, старались облегчить немного мое положение: приносили мне почитать газеты, давали сахару больше, чем положено по норме, и ругали моих соседей, которые, как я сказал, донесли на меня.

Вернувшись в камеру, я стал читать надписи, нацарапанные на нарах, на стенах и на подоконнике. По большей части это были обращения к матери, жене или детям; обычно они кончались словами: прощайте, родные, на три года или на пять лет и т. п. Или же восклицания вроде: опять 206-я статья! Прощайте, родные и т. д. Какая-то девушка обращалась со словами любви к Ахмеду, говоря: когда ты вернешься из Каира, меня уже не будет в Москве и мы никогда больше не увидимся. Эта надпись была сделана карандашом на стене у двери рядом с обещанием какого-то «лорда» скоро вернуться и заняться прежним делом.

Часов около двенадцати дверь камеры неожиданно распахнулась, вошел молоденький милиционер и торжественно провозгласил: «Прокурор!» — наподобие дворецкого, объявляющего приход важного гостя. Быстрыми шагами, глядя в землю, вошел прокурор, мало похожий на того, с кем я разговаривал вчера. С пепельными растрепанными волосами и в поношенной одежде, он скорее напоминал старого опустившегося интеллигента.

— В чем обвиняетесь? — спросил он меня.

— Тунеядец.

— Суд разберет, — сказал прокурор, все так же глядя в землю, и спросил. — Жалоб нет?

— Нет, — ответил я, и прокурор так же быстро вышел, как и появился. Потом я слышал, как в коридоре несколько раз склонялась моя фамилия, и за прокурором захлопнулась наружная дверь.

Часа через полтора, наконец, привезли обед. Обед привозили из ближайшей столовой. Состоял он из полной миски супа на первое и довольно тощей котлетки с картошкой на второе. Картошки и черного хлеба давали, впрочем, вдоволь. Суп был каждый день разный, хотя и сохранял нечто общее, присущее всем супам в дешевых столовых, картошка иногда заменялась вареной крупой, но котлетка оставалась неизменной. На ужин давали чай и два куска сахару. Чай кипятили в баке тут же часам к семи вечера, и с этих пор его можно было просить сколько угодно до 10-ти, пока он не остывал. Утром тоже давали чай с хлебом, но без сахара. Как я уже говорил, мне иногда давали сахару больше нормы, а один день мне даже досталось целых шесть кусков. Кормили здесь из расчета 39 копеек в день на человека, что было самой высокой тюремной нормой из всех, что мне пришлось потом узнать. Голода я не чувствовал, но когда однажды старшина пригласил меня, вопреки правилам, в соседнюю камеру, где двое подследственных, по виду похожих на прорабов, угостили меня сахаром, колбасой и белым хлебом, я с жадностью набросился на белый хлеб и съел сразу почти половину батона. Прорабы покачали головами и сказали, что они кормили бы меня вволю, но уж и поработать бы мне у них пришлось. Видимо, жалостливый старшина описал им меня, как «идейного тунеядца», который нигде не работает, но уж зато и есть не привык. Я и правда первый день почти не мог есть, похлебал только немного супу и с трудом съел котлетку, оставив всю картошку, чем удивил старшину, зато в остальные дни уже ждал обеда с нетерпением.

Прошло немного времени после обеда, и дверь камеры вновь отворилась. Я увидел своего старого приятеля Киселева и дежурного милицейского офицера, который предложил мне выходить. В дежурной части нас ждали еще двое: один в штатском и второй, толстяк в милицейской форме. Киселев взял у дежурного по отделению мои ключи, и я понял, что предстоит обыск.

Когда мы садились в фургон, я спросил у Киселева, из КГБ ли штатский. «Нет, это наш старый сотрудник», — недовольно ответил Киселев. Действительно, как я узнал потом, это был старший оперуполномоченный угрозыска капитан милиции Бушмакин.

Когда мы приехали ко мне на Суворовский бульвар, Киселев спросил, согласен ли я пригласить понятыми соседей. Я категорически отказался. Тогда Киселев сказал, что сбегает за дворником, и быстро привел двух каких-то женщин, одна из них оказалась техником-смотрителем, другая тоже выполняла какие-то мелкие служебные функции. Обе почтительно поздоровались со мной, сказав: «Здравствуйте, товарищ Альма́рик». Одна тут же напомнила, что несколько лет назад я постоянно задерживал квартирную плату, а другая, увидев, что у одной из стен снят плинтус, вскричала: «Смотрите, раньше этого не было!»

— А вы здесь разве раньше были? — спросил Бушмакин.

— А как же, мы сюда часто заходили, — ответили обе.

Я их, правда, не очень помнил, но, вероятно, они действительно заходили напоминать о квартирной плате или еще с каким-нибудь подобным делом. «Мы вас всегда вежливо просили, чтобы вы не задерживали квартплату», — повторяли они потом еще несколько раз, ставя, как я понял, вежливый тон себе в большую заслугу. Что же касается плинтусов, то Бушмакин, которому мерещился уже тайник, пообещал снять пол.

Прежде всего Бушмакин достал из портфеля и предъявил мне ордер на обыск, заверенный прокурором. Насколько я помню, там было сказано, что капитан Козлов находит нужным, чтобы капитан Бушмакин произвел обыск (выемку) у гражданина Амальрика на предмет «обнаружения и изъятия вещей, приобретенных на нетрудовые доходы». Как разъяснили Бушмакин и Киселев, им велено обнаруживать и изымать «абстрактные картины». Слово «абстрактный», или, как они произносили и писали, «обстрактный», очень им нравилось своей малопонятностью и многозначительностью и, как малопонятное слово, приобретало в их устах зловещий смысл. Однако Бушмакин начал с того, что спросил, есть ли у меня валюта, и на мой отрицательный ответ сказал: «Если все же есть, отдайте сразу, а не то будет хуже». После этого он приступил к обыску.

Начали с моего письменного стола. Тут Бушмакин был очень поражен моей, как он выразился, ученостью. Обнаружились мои старые записи лекций по теории алгоритмов, которые я когда-то слушал, латинские и древнегреческие упражнения, конспекты книг по истории, языкознанию, философии, этнографии, переводы с немецкого. Разбирая эту груду тетрадей и бумажек, говорящую скорее о моих благих начинаниях, чем о действительных знаниях, Бушмакин все время грустно и недоуменно спрашивал меня, как же я попал теперь в такое положение: «ведь вы могли бы учить наших детей» — все время повторял он. Вообще его отношение ко мне несколько изменилось, и видно было, что он чувствует даже некоторую неловкость, копаясь в вещах, с точки зрения милицейского работника совсем не криминальных. Когда он нашел там же в столе мои пьесы, он опять заговорил, почему же я не «кричал» об этом, ведь писать пьесы — это тоже работа, какой же я тунеядец, не сразу же делаются признанными писателями. Тут же, или уже при составлении протокола, потому что он несколько раз к этому возвращался, он рассказал, как еще в сороковых годах, когда он работал на Петровке, он забрал какую-то старуху-«чердачницу» (что такое «чердачники», я еще скажу), а с ней груду исписанной бумаги. Начальник угрозыска очень кричал на него, зачем он навез столько хламу, в котором все равно некогда разбираться, и велел отослать всю старухину писанину в Союз писателей, якобы на экспертизу. Каково же было его удивление, когда там все это разобрали со старухой и даже издали книжку, так что «чердачница», вместо того, чтобы попасть за решетку, чуть ли не была принята в Союз. Я, правда, мало надеялся, что и со мной может произойти такая история, и, как увидим, имел все основания не «кричать» о моих пьесах, а наоборот, умалчивать о них. Уйдя в конце февраля из дома, я захватил окончательные варианты пьес с собой, но потом привез их назад, потому что постоянно работал над ними. Я не могу с уверенностью сказать, имел ли Бушмакин заранее указание изымать мои пьесы, во всяком случае он отобрал по нескольку экземпляров четырех пьес и сборника моих стихов «Шествие времен года». Он нашел еще пачку стихов, но я сказал, что это мои детские и юношеские — так оно и было — и он их не тронул. Также не тронул он и мою большую историческую работу «Норманны и Киевская Русь», но забрал

тетрадь с автобиографией Зверева и ее машинописный текст. Курьезно, но один из ящиков стола, не в тумбе, а прямо под верхней доской, он вовсе не заметил и не обыскал; там ничего, впрочем, криминального не было: были материалы для статьи о русской живописи, которую я хотел писать, и разные письма. Вообще обыск велся очень небрежно, ибо то, что хотели найти, а именно картины, было на виду; кроме того, Бушмакин был действительно милицейским работником, привыкшим делать обыски у воров, и такое обилие рукописей и книг его слегка утомило. Книги он вообще едва только просмотрел по корешкам, а в комнате отца вовсе не смотрел, но никаких книг, изданных за рубежом, у меня и не было, за исключением книг по искусству. Во время обыска стола я случайно нашел характеристику, выданную мне с последнего места работы, прямо противоположную той, что была дана там же по требованию милиции; насколько по той характеристике я был плох, настолько по этой, подписанной тем же директором издательства Смирновым всего на полгода раньше, я был хорош. Я захватил ее с собой и сдал на хранение дежурному к прочим своим вещам, чтобы впоследствии приобщить ее к делу.

Пока обыскивали письменный стол, Киселев в дело не вмешивался и стоял в стороне вместе с понятыми; когда же перешли к картинам, то и он начал шарить понемногу, но когда он предложил Бушмакину, что пока для скорости будет обыскивать другую комнату, тот его остановил: «Нет, только на глазах у обвиняемого». Третий же вообще ничего не трогал, только раз открыл монографию о Матиссе и, увидев матиссовскую обнаженную, сказал: «Вот это да! Вот бы мне такую бабу!» — и спросил у меня, как «ученого» человека, почему это его возбуждают только толстые женщины, а с худыми он сделать ничего не может, объяснимо ли это с научной точки зрения? Я ему ничего не объяснил.

Бушмакин начал снимать картины со стен, которые висели в комнате у меня и у отца. Я сказал, что некоторые картины принадлежат отцу, но на это никакого внимания не обратили. Тут выяснилось, что дали указание изымать у меня вовсе не «абстрактные картины», как было сказано в постановлении, а работы Зверева, потому что несколько действительно беспредметных работ, которые у меня были, Бушмакин с Киселевым

даже не тронули, зато сняли все работы Зверева, в том числе очень реалистические портреты. Затем начали просматривать папки с акварелями и рисунками, которые лежали у меня в шкафу. Тут опять стали изымать работы Зверева, главным образом его иллюстрации к моим пьесам, по ошибке забрали несколько листов других художников. Киселев хотел взять еще несколько рисунков с натуры, — как он сказал, порнографических, — но Бушмакин ответил, что это не надо. Взяли еще три иконы, которым очень обрадовались, вспоминая многочисленные газетные фельетоны о том, как стиляги выменивают у иностранцев иконы на тряпки. Взяли так называемый чинок XVII века северных школ, доску московской школы — Богоматерь с Младенцем — и Св. Федора Стратилата северного письма, обе тоже XVII века.

Пока Бушмакин в комнате отца вместе с понятыми пересчитывал рисунки, Киселев у меня начал просматривать папку с моими любимыми акварелями Зверева и хотел их тоже забрать. «Что ты так стараешься, — с укором сказал я ему, — неужели тебе больше всех надо?» «Да нет, я что, — смутился Киселев, — мое тут дело сторона» — и оставил папку, громко сказав: «Ну, тут все портреты, абстракций нет». Пользуясь беспорядком в комнате, мне удалось еще одну папку, на этот раз с рисунками, незаметно сунуть к уже просмотренным и оставленным мне работам. Если в начале обыска я был более или менее безразличен, то когда стали забирать картины, очень расстроился и страшно загоревал; даже те рисунки, которые я накануне ругал Звереву, я нашел теперь восхитительными и неповторимыми. Индифферентный толстяк немного удивлялся и говорил: «Что ты так переживаешь за бумажки, ты, видать, человек скупой». Бушмакин же и Киселев чувствовали все время некоторую неловкость, что им приходится копаться в каких-то картинках, то-есть в вещах, с их точки зрения, безобидных. Но служба есть служба.

Потом прощупали матрацы, удивляясь, на каком жестком ложе я сплю; обыскали буфет и сундук в кладовке, и наконец Бушмакин сел писать протокол обыска, где упоминал, что он «предъявил требование о выдаче вещей, добытых преступным путем». Почему считается, что я добыл картины Зверева преступным путем, мне неясно. Часть работ я у него купил, часть он

мне подарил, а некоторые принадлежали ему и просто у меня хранились. Всего у меня было изъято 8 холстов, в том числе картина Рабина, упомянутая дружинниками, 18 листов темперы, 9 акварелей, 133 рисунка, 3 иконы, тетрадь с биографией Зверева, две вырезки из французских газет с отзывами о выставке и несколько экземпляров моих пьес и стихов, всего на 553 машинописных листах. Все эти вещи я сам тщательно упаковал, так как уже смог убедиться в крайне небрежном обращении Киселева и Бушмакина с картинами. Они надо мной посмеивались вместе с понятыми, говоря: зачем, мол стараешься, в милиции и суде все равно их никто беречь не будет. Когда мы уже выходили, Бушмакин, спохватившись, спросил, нет ли у меня оружия.

Бушмакин погрузил всё в милицейский фургон и уехал в нем. А мы с Киселевым сели в «Волгу» с молоденьким милиционером за рулем. Он, по-видимому, недавно начал работать в милиции и водить машину, никак не мог доехать до 60-го отделения, хотя оно было недалеко от моего дома. Мы кружили довольно долго по переулкам, чему я был рад, потому что возвращаться в камеру мне совсем не хотелось.

Воскресенье прошло очень тоскливо и одиноко, я почти все время ходил по камере, скорее ожидая понедельника, когда, как я думал, ко мне зайдет адвокат, а быть может, состоится уже суд. Я пытался утешить себя мыслью, что быть сосланным не так уж страшно, я побываю в Сибири, в каких-нибудь диких краях, которые никогда иначе не увидел бы; я почему-то воображал, в духе прочитанных мною в детстве книжек, как я буду ходить с каким-нибудь крепким стариком на охоту в тайгу. Забегая вперед, скажу, что на охоту я ни разу потом не ходил, хотя, действительно, у меня была однажды встреча в тайге с охотником, которая чуть не стоила мне жизни. Но об этом после.

Гулять меня не выпускали, поэтому я, при всей своей антипатии к зарядке, делал что-то вроде физических упражнений, а потом старался дышать как можно глубже, чтобы воздух доходил до самой глубины легких. Эти упражнения я делал постоянно за все время своего пребывания в тюрьме. Это тоже как-то помогало провести время. Еще я, расхаживая по камере, много обдумывал план защиты на предстоящем суде, план, как я понял,

довольно наивный, поскольку приговор суда был уже предрешен.

Утром в понедельник в мою камеру ввели еще одного человека, моего примерно возраста, с волнистыми волосами и матросской пряжкой на ремне. Он представился, как «молодой тунеядец». Его история была незамысловата. Он жил один, каждый день к нему заходили друзья, молодые люди и девицы, начиналась пьянка и зачастую кто-нибудь оставался ночевать, иными словами, у него была «хата». Он фотограф, но по специальности давно бросил работать, и только когда над ним нависала угроза высылки, устраивался куда-нибудь, последний раз рабочим сцены в театре. Окончательно же, по его словам, его погубила порнография. Он переснимал фотографии из французских порнографических журналов и дарил их своему участковому милиционеру, любителю подобных картинок, чтобы тот его не трогал. Когда же он устроился на работу в театр, а участковый пришел за очередной партией, то фотограф, почувствовав свою независимость, участковому вежливо отказал, намекнув, что я, мол, теперь работаю и не нуждаюсь в том, чтобы тебя задабривать. Участковый смолчал, но затаил злобу, и как только фотографа за пьянку выгнали из театра, сразу же «оформил дело». Теперь суд ожидается через два дня. Рассказав все это, он спросил, за что забрали меня. Довольно невнятно я ответил, что мой арест связан с тем, что я коллекционировал картины молодых художников. Обрадованный фотограф рассказал, что его сосед по квартире тоже был коллекционером, месяца за три перед тем он был арестован госбезопасностью. Речь шла об известном музыканте и коллекционере Королькове; после его ареста в «Вечерней Москве» появилась серия фельетонов о нем, которая вдруг внезапно оборвалась. Ходили слухи, что он повесился в тюремной камере.

В таких приятных разговорах мы провели полдня. Фотографу камера понравилась, он сказал, что когда отбывал пятнадцать суток в Малоярославце, под Москвой, то там на таких же нарах спало человек двадцать, с боку на бок все могли поворачиваться только одновременно, по сигналу старшего. Кормили только на 23 копейки в день, вдобавок в уборную не выпускали, а параша стояла тут же в камере, так что все пре-

имущества были за Москвой. Я же, сидя в КПЗ первый раз, никаких этих преимуществ оценить еще не умел.

После обеда меня перевели в соседнюю освободившуюся камеру, такую же точно, как и прежняя, но, как всякое новое место, показавшуюся мне гораздо более мрачной. До меня здесь сидела женщина с необычайно крикливым голосом. Когда ее только посадили, она рвалась из камеры и со слезами истерически кричала, что она не виновата, ее оклеветали, что она будет жаловаться и до Хрущева дойдет. Старшина ее урезонивал, говоря: «Какой тебе Хрущев, ему уже давно по шапке дали». Впоследствии она успокоилась и помогала даже разносить обед остальным заключенным, с любопытством заглядывая в глазок. Женщины вообще доставляли старшинам больше беспокойства, чем мужчины. Так, проститутка в крайней камере схватила пожилого старшину, когда он открыл дверь, повалила на себя и зашептала что-то вроде: давай, действуй, пока не поздно. На смерть перепуганный, тот насилу вырвался и зашел ко мне рассказать эту удивительную историю.

Ни в понедельник, ни во вторник адвокат ко мне не заходил и на суд меня не вызывали, между тем во вторник кончался установленный законом пятидневный срок, так что я уже начал беспокоиться. Чувствовал я себя в одиночестве очень тоскливо, особенно потому, что нечего было читать и нечем было заняться. Вечером во вторник, часов уже около одиннадцати, в камеру ввели молодого человека, довольно наглого на вид, в плаще «болонья», которые тогда начали входить у нас в моду. Повел он себя сразу по отношению ко мне не то, чтоб враждебно, но вызывающе, особенно ему не нравился мой рваный свитер, который, правда, сильно дисгармонировал с его шикарным костюмом. Узнав же, что я «тунеядец», он отнесся ко мне совсем пренебрежительно, давая понять, что он фигура поважней. Сразу было видно, что он блатной, а блатных, особенно молодых, изнутри как бы сжигает какое-то нервное чувство и желание «показать себя». Как-то мы с ним все же разговорились, он стал спрашивать, где я живу, почему-то дело коснулось школы, в которой я учился, и оказалось, что и он учился там же. Стали припоминать учителей, и выходило, что учились мы примерно в одно время. Тут он присмотрелся ко

мне внимательнее и назвал мое имя. Я его тоже вспомнил немного погодя и даже назвал его фамилию: Иванов. Мы сначала учились в одном классе в начальной школе, а потом в другой школе в параллельных классах, пока его не исключили из шестого, кажется, класса. Мы очень удивились этой странной встрече и долго вспоминали школьные годы. Иванов сказал мне — опять же с блатным пафосом и актерством — что стал вором, сначала был карманником, а потом стал специализироваться по магазинам и сберкассам. Я спросил его, вспомнив рассказ судьи, не знает ли он Пушкина. Он, правда, слышал о нем, но отозвался очень пренебрежительно, сказав: «Это щипач, такой человек, который из-за носового платка может сесть». Сам он, по его словам, попал сейчас из-за пустяка: подрался с кем-то в поезде, и самое большее ждал пятнадцати суток, документы у него в порядке, есть даже диплом инженера, купленный за хорошую сумму в Грузии, деньги от последнего «дела» лежат в Москве у проститутки, так что все обстоит хорошо.

Он с интересом расспрашивал меня о картинах и художниках, едва ли в целом правильно представляя себе, о чем идет речь. Заинтересовали его очень цены, которые художники получают за картины. Когда он узнал, что у меня был обыск, стал спрашивать, что взяли и не взяли чего-либо такого, что могло бы мне сильно повредить. Я ответил, что ничего такого и не было, а что немного денег, какие у меня были, и записную книжку с адресами и телефонами припрятал у своих друзей. Тут он стал говорить, что это дело неверное, что и друзья могут продать и что лучше книжку совсем уничтожить, и стал предлагать мне, как только он выйдет на волю, съездить к моим друзьям и ее уничтожить. Предлагал он это очень настойчиво и несколько раз к этому возвращался, даже тогда, когда мы уже легли спать, так что я начал подозревать, не подсажен ли он ко мне специально. Я постарался своих подозрений ничем не выдать, но адрес ему дал совершенно вымышленный и стал больше его расспрашивать, чем говорить о себе.

Говорил он очень хвастливо, особенно напирал на то, что ему приходилось иметь большие деньги, — двадцать тысяч, как он говорил. Он едва в камеру вошел, как сразу сказал, что я небось больше сторублевки в глаза не видел, и сейчас он все время по-

вторял: «Сто рублей это не деньги». Мне он, покровительствуя школьному товарищу, обещал прислать деньги на место ссылки, те же сто рублей, то-есть, выходит, все же «не деньги». «Ты напиши только, — говорил он, — я сразу же вышлю», — и дал свой адрес. Рассказывал много, как сидел в Таганке и в лагерях, как их под конвоем водили, как он симулировал больное сердце, и у него так выходило, что он безвинный страдалец и мучился всю жизнь по чужой злой воле, хотя сам же рассказывал, как воровал, так что знал, на что шел. Считать себя жертвой несправедливого правопорядка — черта, как я потом понял, для блатных вообще характерная. Рассказывал он еще о разных ворах, в частности, про один блатной «авторитет» — старика со странной кличкой Володька Ленин, который имел общим счетом судимостей на девяносто лет. Сам мой товарищ был типичным примером молодого полуинтеллигентного вора, каких мне пришлось еще потом видеть. Однако блатной мир, по существу, очень эзотеричен, и всякий посторонний и малоискушенный наблюдатель вроде меня может легко ошибиться в своих оценках. Ночь мы проспали вместе, зябко сжавшись под одним пиджаком, рано утром его вывели, и я его больше не видел.

Глава шестая
СЛЕДСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ. «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»

В среду утром я с нетерпением ждал адвоката или просто вызова в суд, но никто не приходил. Было очень холодно. На шестой день пребывания в КПЗ я уже совершенно простудился и почти все время дрожал мелкой дрожью. После обеда я прилег на нары в ботинках, — ботинки нельзя было снять, так как иначе мерзли ноги, — и постепенно задремал. Я проснулся от стука открываемой двери.

Вошел молодой человек чиновного вида, в очках, с университетским значком, в форме лейтенанта милиции, с ним дежурный по отделению милицейский офицер и старшина. Молодой человек, любезно осведомившись, я ли Амальрик Андрей Алексеевич, предложил мне следовать за ним. Мы поднялись на

второй этаж, прошли по коридору и вошли в комнату, где сидело еще двое или твое человек, на нас ни малейшего внимания не обративших. Лейтенант предложил мне садиться. Я огляделся: комната эта была мне немного знакома, я был здесь уже второй раз.

В 1961 году я хотел послать свою историческую работу «Норманны и Киевская Русь» датскому слависту профессору Стендер-Петерсену, с которым я переписывался. Посылать ее по почте мне казалось делом бессмысленным, и я решил попросить об этой услуге датское посольство в Москве. Письмо со своей просьбой я отнес в посольство сам, чтобы опять-таки не впутывать в это почту. После препирательств с дежурившим у посольства милиционером мне все-таки удалось бросить письмо в щель для почты на двери. Я был тотчас задержан и доставлен сюда, в 60-е отделение милиции, где в этой же самой комнате какой-то толстый майор из охраны дипкорпуса долго пытался у меня узнать, что я там писал. Я сказал, что просто поблагодарил посольство за ранее данный мне адрес профессора, и меня отпустили. Посольство сначала согласилось переслать мою рукопись, ко мне заехал оттуда чиновник, взял мою работу и письмо к Стендер-Петерсену. Однако затем, может быть, подозревая провокацию с моей стороны, или просто не желая связываться с пересылкой каких бы то ни было рукописей, или, поняв из сопроводительного письма профессору, что за эту работу я был исключен из университета, посольство, ничего не сообщив мне об этом, передало мою рукопись в Министерство иностранных дел СССР, которое немедленно переслало ее КГБ. Так что вместо датского профессора мне пришлось объясняться с советским следователем. Через неделю посольство передало в МИД и мое письмо професссору, о котором я при первом разговоре в КГБ умолчал. Так что мне пришлось довольно туго. До сих пор я не знаю, почему посольство, взявшись сначала переслать рукопись, стало действовать таким странным образом и выдало меня КГБ, вместо того, чтобы просто вернуть мне рукопись назад, если она его почему-либо не устраивала. КГБ переслал рукопись на рецензию; убедившись, что ничего антисоветского там нет, а есть лишь разбор славяно-скандинавских отношений в IX веке, через несколько месяцев рукопись мне вернули, порекомендовав не делать больше попыток переслать

ее за границу. Все это я мог вспомнить, сидя за столом напротив молодого чиновника.

Тот, видя, что я дрожу, любезно спросил, не болен ли я, и тут же сказал, что он крайне против моего содержания в заключении. Далее он перешел к обычным вопросам, когда я родился и где работал, но я увидел на столе папку с изъятыми у меня пьесами и понял, что дело приобретает новый оборот. Достав их из папки, следователь спросил, мои ли это пьесы. Я ответил, что мои. «Ну, чтобы у нас в будущем не было недоразумений, — сказал следователь, — напишите вверху на первой странице каждой пьесы, что она ваша». И под диктовку следователя на каждой пьесе я написал: «Пьеса принадлежит мне. Была изъята при обыске 15 мая 1965 года». Затем следователь спросил, в какой аудитории читал я свои пьесы — студенческой, писательской или еще какой-либо — и кому давал их читать. После нескольких уклончивых ответов, так как я не мог еще понять, куда клонится дело, я твердо ответил, что ни в какой аудитории я сам своих пьес не читал и никому читать не давал, за исключением художника Зверева, который проиллюстрировал несколько моих пьес. Тогда следователь перешел к рисункам Зверева, сказав, что о пьесах разговор еще будет, и спросил, кому я показывал и продавал иллюстрации Зверева к моим пьесам. Я ответил, что никому не показывал и не продавал.

— Но нам известно, — возразил следователь, — что рисунки Зверева имеются не только у разных лиц в Москве, но и за рубежом.

— Возможно, — сказал я, — но я не имею к этому никакого отношения.

Следователь не стал спорить и заметил, что, по его мнению, иллюстрации Зверева к моим пьесам носят характер довольно эротический. Я ответил, что, по-видимому, это объясняется особенностями творчества Зверева, а не содержанием моих пьес. Я имел тут в виду душевную болезнь Зверева, о которой, я понял, следователь, как ни странно, не знал. Он спросил еще раз, кому я давал или показывал рисунки Зверева, и на мой отрицательный ответ заметил: «Вы усложняете мою задачу. Мне придется вызывать всех ваших знакомых и опрашивать их».

Как и во время разговора с Васильевым, я ждал расспросов об иностранцах, которые у меня бывали, и следователь дей-

ствительно спросил, но как-то бегло, мимолетом, вполне удовлетворившись тем, что я назвал ему Маркевича и тех, кого у меня в феврале застала опергруппа. Тут он спросил, не давал ли я корреспонденту свои пьесы. Я ответил, что не давал. Далее следователь сделал маленькую паузу и торжественно сказал, что против меня возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса РСФСР, то есть по обвинению в изготовлении, хранении и распространении порнографических произведений. Так за время пребывания в КПЗ я второй раз услышал о порнографии. Я очень удивился и сказал, что ни свои пьесы, ни рисунки Зверева я порнографическими не считаю. Следователь развел руками, как бы давая понять, что то, что я считаю или не считаю, теперь уже никакой роли не играет, и предложил мне подписать протокол. Я подписал протокол, не читая, пожаловавшись, что плохо вижу без очков, и попросил, чтобы при следующем допросе дежурные выдали мне мои очки. «Я должен вас огорчить, — сказал следователь, — но этого не понадобится, так как вы переводитесь отсюда в тюрьму. Я против этого, — быстро добавил он, — но таково решение суда». Сообщил он все это тоном сочувствия и вообще все время допроса держался так, что он, мол, понимает выпавшие на мою долю несчастья и не только против моего заключения в тюрьму, но и против возбуждения уголовного дела вообще.

Внизу, прежде чем ввести меня в камеру, дежурный по отделению, милицейский капитан, дал мне прочитать постановление о возбуждении уголовного дела и снял отпечатки пальцев. В постановлении было сказано, что Народный суд Фрунзенского района г. Москвы в составе судьи Яковлева и двух заседателей, чьих фамилий я не запомнил, рассмотрев изъятые у гражданина Амальрика вещи, нашел, что «его пьесы, помимо явно антисоветского, носят также порнографический характер, а иллюстрации к ним Зверева носят явно порнографический характер», и посему решил возбудить против обоих уголовное дело по статье 228 УК РСФСР и «мерой пресечения избрать заключение под стражу». Таким образом я превратился в уголовного преступника, и вместо ссылки меня ожидало несколько лет лагерей.

Поздно вечером того же дня меня вывели в дежурную часть, вернули мне очки, деньги и остальные вещи, забыли только

почему-то отдать шнурки. Вскоре подошла машина для перевозки заключенных, так называемый «черный ворон», с закрытым кузовом, обитым железом. Сзади была дверь с маленьким зарешеченным оконцем, потом маленькая площадка с сиденьями слева и справа для охранников, узенький коридорчик между двумя боксами, на одного человека каждый, а в конце его — решетчатая дверь в каморку с сиденьями напротив двери и по бокам, где более или менее свободно могло рассесться человек шесть. При посадке я впервые узнал, что заключенные обязаны держать руки за спиной.

Сначала нас в машине было только двое или трое, но мы долго ездили от отделения милиции к отделению, и постепенно набралось человек десять. Было известно, что нас везут в Бутырскую тюрьму. Народ в машине собрался по возрасту самый разный, от мальчика девятнадцати лет до старика лет шестидесяти, в один из боксов посадили, как мне показалось, старую бабку, в действительности это была женщина тридцати с немногим лет, состарившаяся и согнувшаяся от водки. Как оказалось, только один я попадал в тюрьму первый раз, остальные шли по второму-третьему разу, а некоторые и по пятому. Тут я впервые увидел людей, для которых, можно сказать, вся жизнь проходила в тюрьме, а те несколько дней или несколько месяцев, что они были на воле, проходили как во сне, прекрасном, но недолговечном. Но таких было все же меньшинство, для большинства между выходом на волю и арестом прошло несколько лет. Почти все они шли по 206 статье, то есть за хулиганство. Статья эта вообще по России дает самый большой процент заключенных, а из них, в свою очередь, чуть ли не половину сажают жены: избиение жен, как известно, имеет старую традицию на Руси. Таким среди нас был сапожник, лет тридцати пяти, с виду очень добродушный, который шел уже по четвертому разу, и всё, как он говорил, «из-за бабы». Правильнее было бы сказать, что из-за водки. Который раз он давал зарок не пить, однако пил, пьяный избивал жену, жена жаловалась, его сажали, он выходил, возвращался к жене и все начиналось сначала. На этот раз дело было серьезно: как он говорил, он угрожал ей ножом, а за нож судят очень строго. Хотя он и ругал жену последними словами, видно было, что он ее все же любит и опять вернется к ней, если только ему вообще удастся вернуться в Москву. Мно-

гие на возвращение в Москву не надеялись, говоря: «Москвы нам теперь не видать». Это не значило, конечно, что их ожидало заключение до конца жизни, их опасения были связаны с возможностью прописки в Москве после отбытия своего срока. Прописка — страшное слово, которое мне потом пришлось часто слышать и произносить, поэтому я сейчас скажу, что это такое, для тех, кто этого не знает.

По существующему советскому законодательству, каждый человек, постоянно или временно желающий где-либо поселиться, в трехдневный срок обязан подать об этом заявление в местные органы милиции, после чего у него в паспорте делается отметка, что он постоянно или временно прописан по такому-то адресу. Соответственно он предварительно обязан выписаться с прежнего места. Эта бюрократическая мера на практике оборачивается трагедией для сотен тысяч людей. Дать или не дать разрешение на прописку целиком зависит от милиции, точнее, от тех многочисленных циркуляров, которыми она обязана руководствоваться. Во-первых, причиной отказа может послужить, что город, где кто-то хочет поселиться, уже и без того достаточно населен. Это прежде всего относится к большим городам. Во-вторых, это может быть район каких-либо засекреченных строек или район, прилегающий к границе. В-третьих, в квартире, где кто-то захочет поселиться, по санитарной норме, не хватает лишней жилплощади. В-четвертых, в прописке может быть отказано, если человек более полугода не жил на том месте, где был ранее прописан. В-пятых, могут быть еще тысячи причин, изобретенных бюрократами. Это всё ограничения для свободных людей. Человека же, отбывшего срок заключения, отказываются прописывать на старом месте просто потому, что он имел судимость. После долгих мытарств можно всё же вернуться на старое место, особенно если там осталась семья, получив сначала хотя бы временную прописку, но в случае нескольких судимостей это уже почти невозможно. Таким образом, это оказывается гораздо более страшной мерой, чем даже заключение в лагерь, которое имеет все же конец. Мужей разлучают с женами, сыновей с матерями, люди, привыкшие жить на юге, должны искать себе работу на севере, а жители севера ехать на юг. Что же будет с человеком, который, не получив разрешения на прописку, все же захочет вернуться домой и

жить со своими родными? Сначала он получит два или три предупреждения, а потом будет вновь судим, по статье 198 УК РСФСР, и заключен в лагерь, по выходе откуда он тем менее будет иметь надежду на прописку. Есть, впрочем, люди, хронически живущие без прописки и хронически попадающие только за это в тюрьму, так называемые «чердачники», как бы имеется в виду, что они живут бездомно, на чердаках. Поэтому инкриминировать 198 статью называется «пришить чердак». Об одной такой чердачнице я уже говорил, когда описывал обыск у меня в комнате.

С помеченной в паспорте судимостью трудно не только прописаться, но и найти работу. Взятый в одном отделении молодой человек уже из машины крикнул матери, которая его провожала: «Мой паспорт в шкафу, занесешь его сама завтра в милицию». Все на него напали: «Ты что, дурак? Не нашли лягавые паспорт — и слава Богу!» «Это я для отвода глаз кричал, — объяснил тот, — мать сама знает, что паспорт нести не надо, я его хорошо припрятал». Иной раз со старым паспортом удается устроиться куда-нибудь в другом городе. Так, насильственными мерами по отношению к людям, уже понесшим наказание за свою вину, власти сами толкают их на новые преступления.

Старик, с которым мы ехали, вдруг оказался знакомым молчаливого человека из моего отделения: они вместе сидели в лагере под Москвой в конце пятидесятых годов. Оказалось, что старику удалось прожить в Москве без прописки пять лет, остальные смотрели на него как на восьмое чудо света. Он говорил, что прожил бы и больше, он жил у своей подруги в отдельной квартире, но, пьяный, потерял ключ, заснул на площадке у двери и был замечен дворником. Его знакомый — с ним вместе нас увозили из 60-го отделения — сразу внушил мне симпатию. Был он очень грустен и молчалив. Он сел за хулиганство, уже второй раз. Как он говорит, они играли во дворе в карты. Его партнеры, их было трое, начали передергивать. Он взял свои деньги с кона и пошел. Они вырвали деньги. Тогда он вынул перочинный нож и ударил одного в спину. Я удивлялся его вспыльчивости, видя, как он меланхолично это рассказывает. «Вот посидишь один раз, нервы расшатаются, тогда и поймешь», — отвечал он мне. «Сейчас я хоть знаю, за что меня

будут судить, — говорил он еще, — а первый раз я попал совершенно зря».

Еще помню один любопытный разговор в машине: какие лагеря лучше — дальние или ближние? Тут все разделились на две партии: одни говорили, что лучше отбывать срок под Москвой, потому что родные близко; другие возражали — нет, под Москвой начальство близко, строже режим, лучше дальние лагеря. В таких разговорах коротали время в дороге. Сквозь зарешеченное оконце в двери я видел знакомые московские вечерние улицы и думал, что не скоро смогу их увидеть вновь. Наконец показалась крепостная стена, машина свернула в ворота, и я понял, что мы въехали в Бутырскую тюрьму.

Глава седьмая
БУТЫРСКАЯ ТЮРЬМА

В конце XVIII века в Москве, близ Бутырской заставы, был по проекту знаменитого архитектора Матвея Казакова, построен Московский тюремный замок. При императоре Александре I замок этот считался образцовой тюрьмой, в противоположность провинциальным острогам. В 1879 году он был перестроен и расширен, здесь в то время была крупнейшая московская пересыльная и следственная тюрьма. Через нее прошли многие известные народовольцы и тысячи никому не известных уголовников. Незадолго до революции здесь сидел Феликс Дзержинский, в будущем первый глава советских органов госбезопасности. С 1879 года тюрьма не перестраивалась, если не считать, что в конце пятидесятых годов нашего века была снесена часть крепостных стен и на их месте построены жилые дома, закрывшие тюрьму с улицы.

Теперь там «следственный изолятор № 3» Министерства охраны общественного порядка, бывшего Министерства внутренних дел. Во всех камерах висят «Правила содержания заключенных в следственных изоляторах МООП», если перевернуть которые на обратную сторону, можно прочесть «Правила содержания заключенных в тюрьмах МВД». Это превращение

«тюрьмы» в «изолятор» и «внутренних дел» в «охрану общественного порядка» произошло совсем недавно. Впрочем, как кажется, следственный изолятор занимает только часть тюрьмы, а другая половина служит уже местом заключения для людей, осужденных судом на определенные сроки. Часть из них работает в тюремных мастерских, часть в обслуге. Как известно, содержание в тюрьме считается более суровой мерой, чем в лагере. В следственной части тюрьмы находятся те, по чьему делу ведется следствие и кому суд еще не определил меру наказания, однако следственные или судебные органы находят необходимым содержание их под стражей. От всякой работы они освобождены, но время, проведенное в следственной тюрьме, засчитывается в срок окончательного приговора. Если же суд найдет подследственного невиновным, то сколько бы он до этого в тюрьме ни просидел, никакой компенсации он не получает. Тюрьмы находятся в ведении Главного управления тюрем и лагерей, и охрану здесь несет уже не милиция, а внутренние войска, в основном сверхсрочники.

Минут через пятнадцать по прибытии нам велели выходить из машины и цепочкой повели в большую приемную, со сводчатым потолком. Над входной дверью висел плакат, который тогда показался мне очень комичным: «На свободу — с чистой совестью!» Как ни парадоксально, первой тюремной процедурой оказалась опять же прописка. Мы заполнили специальные листочки с просьбой (!) прописать нас в тюрьме. Затем каждому дали почтовую открытку и велели написать адрес ближайших родственников; когда после суда заключенного из следственной тюрьмы переводят в лагерь, эту открытку с адресом лагеря отсылают родным. Вместе с открыткой предложили сдать документы, деньги, часы и ключи; очки и другие вещи, необходимые заключенному, в тюрьме не отбирали. В соседней комнате мы прошли медосмотр. Весь осмотр заключался в том, что мы поодиночке подходили к медицинской сестре, низкорослой татарке неопределенного возраста, и спускали штаны до колен. Мой юный вид внушил ей некоторые подозрения, и мне она заглянула еще в задний проход. Осмотр прошел в общем благополучно, если не считать, что у одного из нас, поездного вора, могучего курчавого мужчины с негритянскими губами, обнаружился застарелый триппер. Это вызвало не столько сочув-

ствие, сколько веселое оживление у остальных. Триппер любовно называли «трепак». Медсестра хотела его изолировать, но надзиратель, нас опекавший, по-тюремному «вертухай», с ней заспорил, говоря, что пока он и в общей камере может побыть. Как они договорились, не знаю. У этого же вора были вделаны в член пластины, о чем я раньше только читал в книгах по этнографии.

После медосмотра нас по-двое, по-трое уводили на стрижку; стриг наголо пожилой заключенный из тюремной обслуги, а оттуда вызывали к фотографу. Дело шло медленно, и в перерыве между процедурами нас по нескольку человек запирали в боксы, маленькие камеры, где двое могли сидеть и еще двое с трудом стоять. Здесь, чтобы провести время, мои тюремные товарищи опять вспоминали разные истории из своей жизни на воле, вроде того, что один рассказывал, например, как он недавно по дороге в Москву сошелся с какой-то женщиной в поездной уборной, другой — как он во время допроса, когда следователь на минуту отвернулся, схватил свой паспорт и выскочил в окно на соседнюю крышу, однако бежать далеко ему не удалось.

Фотографом была женщина, уже немолодая, в синем халате, она же снимала отпечатки пальцев. Фотографировали в фас и в профиль, на белом фоне, предварительно закрепив на специальной реечке фамилию, составленную из отдельных печатных букв наподобие детской разрезной азбуки, так чтобы фамилия получилась на фотографии. Отпечатки пальцев брали так: накатывали валиком на пальцы черную краску, затем на белом листе бумаги отпечатывали отдельно каждый палец, прижимая его к листу и тщательно поворачивая справа налево, так чтобы отпечаталась вся подушечка, а потом уже внизу отпечатывали всю пятерню разом. У меня никак не получались отпечатки из-за очень тонких узоров, через несколько дней меня опять вызывали для этого.

Потом нас ввели в большую комнату, разделенную надвое длинным пустым столом. По одну сторону стола стояло двое военных, тоже в синих халатах поверх формы, нас поставили по другую сторону и велели раздеваться догола. Начался обыск, по-блатному, «шмон». Прошмонали, разложив их на столе, все вещи, от плаща до носков, очень тщательно, а ботинки просве-

тили рентгеном. В моих ботинках нашли железные скобы, поэтому мне не отдали их сразу, а только дня через два, после того как скобы вынули. Такие обыски проводятся не только при поступлении в тюрьму, но также и в тюрьме время от времени и при выходе; кроме того, периодически делаются обыски в камерах. Просмотренные вещи тут же вернули, в следственных изоляторах заключенные остаются в своей одежде. Однако тут же составили точный список оставшегося у каждого вещей, с описанием их примет; как мне объяснили, чтобы мы в камерах не проиграли их в карты.

Нас выстроили попарно, набралось тут из разных машин человек двадцать, и строем повели в баню. Мы шли через двор, уже светлело. Все время, начиная с того, как меня посадили в машину, меня не покидало острое чувство любопытства: что будет дальше? Остальные заключенные спрашивали меня, новичка: ну как, мол, тюрьма? — и я искренне отвечал: очень интересно. Их же сильно брала тоска, так как они все знали наперед. Во мне как бы жило два человека: один попал в довольно таки неприятную историю, а другой смотрел со стороны, как зритель на актера или как читатель занимательной книги, и думал: поглядим, что-то еще будет?

Баня мне очень понравилась. В предбаннике мы сдали одежду на прожарку, видимо, для уничтожения насекомых, и каждый получил по маленькому кусочку хозяйственного мыла. Мылись мы в большой комнате под душем, всего было пятнадцать или двадцать рожков. Вода текла сначала холодная, потом слишком горячая, но все равно я был очень рад, что смог помыться после милиции. Вообще банные дни в тюрьме бывают для каждой камеры раз в десять дней. Из бани мы вышли в другую дверь, нам вернули горячую прожаренную одежду, а кроме того, каждому выдали трусы, майку, матрас, чехол для матраса, подушку, одеяло, полотенце, алюминиевую ложку и кружку. На этом санобработка закончилась. Нас вновь построили попарно и начался развод по камерам.

Раньше подследственных рассаживали без всякого разбора, но несколько лет назад было введено правило, по которому распределение по камерам зависело от статьи и прежних судимостей, так что в одной камере сидели люди, судимые по сходным статьям. Нас опять провели в главный корпус. Остановившись

перед дверью какой-либо камеры, пожилой сержант, который нас вел, выкликал фамилии, глядя в список. Например:

— Иванов!

— Иван Иванович! — должен был отвечать Иванов.

— Год рождения?

— 1927.

— Статья?

— 206.

— Судимости имел?

— Две.

— Проходи, — отмыкалась дверь, и Иванов проходил в камеру.

Так поднялись мы с первого этажа на третий, все более уменьшаясь в числе. Наконец, когда мы дошли до конца коридора, я остался один.

— Амальрик... — с трудом выговорил сержант у двери последней, 135-й камеры.

— Андрей Алексеевич.

— Год рождения?

— 1938.

— Статья?

К своему стыду, я забыл статью и пространно ответил, что обвиняюсь в порнографии. Удивленный сержант ничего не стал больше спрашивать и с грустной улыбкой отворил мне дверь камеры.

Было ровно шесть часов утра — час подъема. В камере, большой и полутемной, мне показалось народу много, человек двадцать. Еще никто не вставал, но все проснулись, некоторые разговаривали, другие дружелюбно кидались друг в друга подушками. Я нерешительно остановился у порога, как школьник, который впервые входит в незнакомый класс и видит, что его будущие товарищи порядочные озорники. Но меня приветствовали довольно любезно. Я прошел вперед, сложил свои вещи и спросил, кто старший. Из художественной литературы я знал, что в камерах бывает староста, и думал, что он укажет мне мое место. Мне показали на человека с восточным типом лица и го-

рящими глазами, иранца, как я потом узнал. Приподнявшись на постели, тот неожиданно с сильным акцентом спросил: «Скажи-ка, парень, как тебя в милиции вы..., по-хорошему или на соломе?» Раздался веселый смех, но иранца тут же разоблачили, сказав, что старосты в камере нет, занимать можно любое свободное место. Пока что наиболее любопытные окружили меня и стали спрашивать, за что я сел. Я заметил, что они мало похожи на блатных, больше на хозяйственников.

Тут дверь приоткрылась, просунулся старшина и сказал: «Дежурные, за молоком!» «Что, молодой человек, в КПЗ вас небось молочком не поили», — сказал один из заключенных. Как хорошо в тюрьме, подумал я, в КПЗ меня, конечно, молоком не поили. Однако, к моему разочарованию, двое дежурных внесли бак с кипяченой водой. Оказалось, что молоко — всего лишь один из тюремных эвфемизмов, вроде того, что половую щетку называют пылесосом. С тех пор почему-то у меня появилось сильное желание выпить молока, которое не покидало меня за все время пребывания в тюрьме.

Камера, в которой мне предстояло жить, была немного вытянута в длину, с двумя окнами против двери, на них было что-то вроде жалюзи, так что ничего не было видно, но свет в камеру проникал; к вечеру зажигалась лампочка под потолком, которая горела до утра. Ее свет очень мешает: чтобы заснуть, приходилось закрывать глаза полотенцем. Слева и справа от окон к двери тянулись металлические койки, приваренные к железным трубам, которые в нескольких местах были прикреплены к полу. На каждой койке у стены было сделано изголовье, так чтобы лежать головой к стене и ногами к середине камеры; приварены койки были очень неравномерно, одни почти впритык друг к другу, другие на некотором расстоянии. С каждой стороны было по одиннадцать коек. Эта реформа была проведена два года назад: раньше были сплошные двухярусные нары. Тогда же в каждой камере был установлен унитаз, у нас он вместе с раковиной находился справа от двери, отделенный от последней койки невысокой стеночкой, облицованной кафелем. Неискушенному человеку унитаз в камере покажется негигиеничным, но в действительности он представляет большое благо. Что же касается до санитарной стороны дела, то есть два неписаных правила: во-первых, никому не ходить во время еды, во-вторых,

открывать кран сразу же, чтобы водный поток очищал чашу непрерывно. Над раковиной была прибита полочка для зубного порошка и мыла, с ячейками для каждого заключенного, там же лежало нечто вроде туалетной бумаги, выдаваемое тюремной администрацией. В простенке между окнами стоял шкафчик, тоже с ячейками, но побольше, для продуктов. Посередине камеры, между рядами коек, стоял стол, с одной стороны была длинная скамья, а с другой нужно было сидеть на койках, под крышкой стола тоже были ячейки для продуктов, там обычно хранили хлеб. Слева от двери висела вешалка, стоял бак с кипяченой водой и маленькая скамейка с тазиком для стирки.

Я занял свободную койку подальше от унитаза и начал довольно неумело застилать постель. Ко мне подошел пожилой грузин и ловко показал мне, как это делается. Его звали Яша. Он впоследствии много расспрашивал меня, какая разница между общественной собственностью и личной. Я толком не знал, но мне было любопытно, на какую же форму собственности он сам посягнул. Он ответил, что он сел за то, что колют. Я было подумал, что он, плохо зная русский язык, хочет сказать, что заколол кого-то, но оказалось, что он сидит за торговлю наркотиками. За наркотики сидел и мнимый староста-иранец. Яша был человек очень добродушный, общежитейский и все время попадал в какие-нибудь комичные истории: то он наступит на щетку, и его стукнет ручкой по голове, то свалится с унитаза, то в супе ему попадется огромная, но совершенно обглоданная кость. Каждый такой случай при ничтожности тюремных происшествий давал пищу для разговоров и смеха на целый день. Постепенно я познакомился и с остальными заключенными. Я правильно угадал, что большинство из них было хозяйственниками: директорами, бухгалтерами и инженерами. Среди них был главный инженер Московского Художественного театра, он сел за злоупотребления, связанные со строительством нового здания МХАТ'а. Хотя несколько человек по этому делу уже сидит, само строительство не начато до сих пор. Остальные хозяйственники тоже сели преимущественно за растраты и злоупотребления по службе. Кое-какие остатки присущей им былой важности они сохранили и в тюрьме. Хотя я поставил себе за правило ни у кого не спрашивать, в чем они обвиняются, все же мне было интересно, велики ли растраты. Оказалось, что у од-

ного, бывшего директора обойного магазина, растрата в 400 рублей, за это его могло ожидать шесть лет лагерей. У судей есть негласная табличка, по которой они соотносят срок заключения с суммой хищений. Я не хочу оправдывать растраты, но меня удивил столь большой срок за такую, в сущности, ничтожную сумму. Когда я впоследствии сказал об этом одному следователю, тот возразил «Это его уличили в четырехстах рублях, а сколько он тяпнул помимо этого?». Судить человека не за то, что он сделал, а за то, в чем его подозревают, — к сожалению, как я мог понять на многих примерах, одна из характерных черт нашего правосудия.

Другую большую группу составляли шоферы, частью они сидели за дорожные аварии, частью тоже по обвинению в хищениях. Одного из них, высокого лысого мужчину с немного поросячьим лицом, я хорошо запомнил. Он работал шофером на овощной базе. Вместе с группой других шоферов и кладовщиков он обвинялся в хищении нескольких центнеров картошки и нескольких килограммов апельсинов; если разложить число инкриминированных апельсинов на число подсудимых, то пришлось бы едва ли по апельсину на брата. Дело вела прокуратура одного из подмосковных городов. В первом слушании суд отклонил дело за недоказанностью обвинения. То же произошло во втором слушании. Сейчас этому шоферу вручили новое обвинительное заключение перед третьим судом. Я помогал ему его переписывать, оттуда я и знаю об этом деле. С начала следствия он сидит два с половиной года, его вина, как я говорил, до сих пор не доказана. Он говорит, что в общей камере сидеть еще ничего, а в одиночке, он чуть с ума не сошел. При мне он жаловался инспектировавшему камеру майору внутренних войск на такую длительность предварительного заключения. Тот ему ответил: «Что вы хотите? Следственная тюрьма — это тайга. У нас тут по пять лет люди сидят». Установленный уголовно-процессуальным кодексом срок следствия — три месяца.

Еще в нашей камере была категория заключенных, наиболее презираемая в тюрьме: обвиняемые по 120-й статье, за развратные действия с несовершеннолетними. Один был интеллигентный азербайджанец, преподававший на воле английский язык в Московском университете; он сожительствовал, по его словам, с шестнадцатилетней девушкой. К нему относились более снос-

но, гораздо хуже было второму, человечку небольшого роста, с прилизанными волосами и служебной улыбкой. На воле он был парторгом какого-то номерного завода. Он обвинялся в сожительстве, способом довольно-таки противоестественным, с двенадцатилетней девочкой, вообще, как можно было заключить, он старый специалист по маленьким девочкам. Тюрьма по-своему перекраивает общественную иерархию: будучи на свободе довольно важной фигурой, он играл в камере самую жалкую роль, его постоянно осыпали насмешками, оскорблениями, он последним получал порцию супа, и ему даже не давали читать ежедневно доставляемую в камеру «Правду». Я думаю, ему как бывшему парторгу это было особенно обидно. Его еще подозревали в том, что он осведомляет тюремное начальство, на второй день меня подозвал один молчаливый шофер и предупредил, чтобы я не откровеничал с парторгом. Как кажется, за сексуальные преступления сидел еще один человек, над которым, правда, я не заметил каких-либо шуток. Это был верзила огромного роста с непропорционально маленькой головкой. Вел он себя, впрочем, довольно прилично. Меня он однажды угостил колбасой, хотя я не скрывал своего скорее антипатичного отношения к нему. Его любимой шуткой было во время еды рассказывать одному проворовавшемуся старому бухгалтеру, как он, еще восемнадцатилетним мальчишкой, сочетался с одной многоопытной женщиной через рот. У бухгалтера, примерного мужа и семьянина, пища вставала поперек горла. Всю эту компанию называли хорошим словом: жопошники.

Обособленно держался грустный молодой человек, внушивший мне наибольшее сочувствие. Он обвинялся по 198 статье, о которой я уже много говорил. Он геолог из Закарпатья, приехал в Москву как турист. Вскоре по приезде у него вытащили из кармана все его деньги. Он подал заявление в милицию и ночевал на вокзале, наивно надеясь, что его как потерпевшего наконец отправят домой на казенный счет. Иначе, впрочем, он и не смог бы уехать. Ему сделали несколько предупреждений как человеку, живущему в Москве без прописки и нарушающему паспортный режим. Он не внял им, так как у него в голове не укладывалось, что с точки зрения закона он уже не пострадавший, а преступник. После трех предупреждений он был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. Следствие по его делу

продолжалось более полугода, я никак не мог понять, что же именно расследовали. Он, правда, сказал, что дело немного задержалось из-за того, что он проходил экспертизу у психиатров, признавших, кстати, его совершенно нормальным: следователю казалось, что он ненормальный, раз во-время не смотался из Москвы. Но все равно, как можно продержать человека полгода в следственной тюрьме, когда нечего расследовать? Когда его, наконец, повезли на суд, он надеялся, что ему дадут те семь или восемь месяцев тюрьмы, которые он уже фактически отбыл, и, засчитав предварительное заключение, отпустят на волю. Сбылись ли его надежды, я не знаю: меня в день его суда, еще до его возвращения, забрали из камеры.

Меня, в свою очередь, многие расспрашивали, за что попал я в тюрьму. Сначала я пытался рассказывать о выставке Зверева в Париже и о том, что я собираю картины и рисунки современных художников, но эта тема была мало знакома моим слушателям и меня понимали превратно; впоследствии я просто отвечал, что сижу за порнографию. «Ну и дурак, — говорили некоторые, — надо было баб е..., а не картинки рассматривать» — а мой старый знакомый иранец несколько раз подходил ко мне, говоря: «Что так сидеть — нарисуй голый баба!» Инженер, столь неудачно для себя начавший строительство нового здания МХАТ'а, тоже считал себя пострадавшим на этой почве, потому что у него во время обыска кто-то из оперативников украл коллекцию порнографических открыток. В общем все думали, что мне повезло, если меня будут судить за порнографию, статья предусматривала срок до трех лет. Как «тунеядцу», говорили они, мне пришлось бы гораздо хуже. Указ о «тунеядцах» все вообще очень осуждали и приводили много примеров самого жестокого его применения.

Меня удивило, насколько люди и в тюрьме живут понятиями и привычками, сбереженными еще от свободного существования; я говорю о своих соседях-обывателях, а не о блатных, привычки которых формирует как раз тюрьма. Например, одни заключенные начинали упрекать других в том, что те не считаются с коллективом. «Ты живешь в коллективе, — говорил один другому, — покажи товарищам обвинительное заключение» и т. д. Понятие «коллектив» с профсоюзных собраний невредимо перепорхнуло и в тюремную камеру. В связи с этим интересно

сказать и о том, как люди в тюрьме относятся к той власти, которая их туда засадила. Еще во время санобработки я столкнулся с самыми крайними взглядами, вроде того, что некоторые говорили: «Скорее бы война, пришли американцы и нас освободили», — при этом на коммунистов обрушивались самые тяжелые проклятия, их сравнивали с фашистами и желали им той же судьбы. Но это было скорее исключение. В нашей камере довольно часто происходили споры на политические темы, причем обычно шоферы схватывались с бывшими начальниками, естественно, бывшими коммунистами, исключенными из партии за растраты и взяточничество, но сохранившими верность партийной идеологии. Они, как правило, ссылались на то, что шоферы, мол, незнакомы с диалектическим и историческим материализмом, а потому и не могут судить, хороша советская система или плоха. Шоферов, которые опирались на свои личные впечатления, такая высокомерная постановка вопроса ужасно злила. Так что политические симпатии у нас распределялись примерно таким образом: на крайнем антисоветском фланге были торговцы наркотиками, которые говорили, что не то плохо, что они в тюрьме, а что жизнь на воле мало отличается от тюремной — оба тем не менее очень хотели на волю; шоферы придерживались все же более умеренных взглядов, растлители несовершеннолетних представляли центр, а директора и бухгалтеры стояли уже совсем на советских позициях.

Жизнь в тюрьме очень уныла и однообразна. Подъем в шесть утра; мы просыпались под звуки гимна: в шесть включали радио, и оно шумело до десяти вечера с двумя небольшими перерывами. В течение получаса мы обязаны были встать и заправить койки; лежать на застеленных койках разрешалось, нужно было только снять ботинки. После подъема назначали двух дежурных, в их обязанности входило убирать камеру: мыть стол, скамьи, пол, раковину и унитаз. Дежурные обязаны были дать расписку, что они «обязуются поддерживать в камере чистоту и порядок». Вслед за подъемом была поверка. Сначала заглядывал в дверь вертухай и говорил, чтобы мы приготовились. Мы выстраивались в две шеренги около дверей, не как военные в строю, а какими-то тюремными нескладными раскоряками, в камеру входил старшина, ответственный по корпусу, и один из дежурных докладывал: «Гражданин корпусной, в камере № 135

столько-то человек. Дежурный такой-то». Для заключенных обязательно обращение «гражданин», а не «товарищ». Корпусной считал нас, сверяясь со списочком, и говорил: «Вольно» — и мы расходились. Такая поверка происходила трижды в день: утром, днем и вечером.

Около восьми был завтрак: сначала выдавали хлеб и сахар, дневная пайка хлеба — полбуханки черного (0,5 кг), а сахара — два кусочка (15 г). Первые два дня у меня оставалась пайка черного, а потом стало нехватать. По стуку мисок в коридоре можно было узнать о приближении баландёра — так называли раздатчика пищи, тюремной баланды. Мы выстраивались в очередь к окошечку в двери, и оттуда каждый получал миску с кашей. Если каша была пшенная, день считался хорошим, если перловая, то плохим. Каждому полагался небольшой черпак каши, так что она едва закрывала дно миски, была она, естественно, на воде и масла в ней не чувствовалось; тем не менее я пшенную кашу находил очень вкусной, как немногие блюда на воле, и ел ее медленно и сосредоточенно. Потом грязные миски мы сдавали назад: мыла их тюремная обслуга. На завтрак, как, впрочем, на обед и на ужин, давали еще коричневатую жидкость, условно называемую чаем. Давали чайник с заваркой, которую можно было неограниченно разбавлять горячей водой из бака, дежурные трижды в день наполняли его в коридоре из крана.

Часов в двенадцать была обязательная для всех прогулка. Нас выводили во двор — попарно, руки за спину, чего, впрочем, никто не делал. Во дворе было сооружение, состоящее как бы из отдельных ячеек, с бетонными стенами, с проволочной сеткой вместо крыши, с железными дверьми. Пол был залит асфальтом. Размером каждая такая ячейка была метров 20-30, с деревянной скамьей посредине: тут мы и гуляли. В соседних ячейках гуляли заключенные из других камер. Над нами шел деревянный мостик, по которому ходил часовой, по-тюремному «чижик». От прогулки такой, понятно, мало радости. Несколько раз во время прогулок мне приходилось выступать в роли судьи: заключенные играли в футбол мотком из старых тряпок, а я судил, на правах, очевидно, бывшего автомобильного хронометриста, то есть человека, причастного к судейно-спортивной практике. Прогулка продолжалась час. Вскоре по возвращении в камеру

был обед, состоящий из полной миски мясного или рыбного супа и опять «чая». Ни рыбы, ни мяса самих в этом супе не попадалось. На ужин, часов в восемь, был или опять суп, но еще жиже, или винегрет с селедкой, есть его я не мог. В десять был отбой.

Можно спросить, долго ли проживешь на такой пище? Ответить на этот вопрос не просто, потому что почти все заключенные получают пищевые посылки из дома или делают покупки в ларьке, так что иной раз могут даже отказаться от очередной тюремной порции. Но вот геолог из Ужгорода, о котором я писал выше, не имея ни денег, ни родных или друзей в Москве, прожил на этом пайке более полугода и не умер, хотя и имел вид очень истощенный. Посылки разрешены раз в два месяца, в строго ограниченном количестве, однако некоторые заключенные за много месяцев умудряются из них делать даже некоторые запасы. Я, конечно, ни на какие посылки не рассчитывал, так как никто даже не знал, где я нахожусь, а писать из тюрьмы письма запрещено. Но на те шесть рублей, что были со мной при аресте, я мог сделать покупки в тюремном ларьке. Покупки эти разрешены раз в две недели, и к счастью, такой ларечный день был в нашей камере вскоре после моего прибытия. В камеру принесли лист с перечислением товаров, имеющихся в ларьке, и с указанием предельной нормы забора. Были, насколько я помню, сахар (кажется, до 1 кг на человека), сливочное масло (до 0,5 кг), дешевая полукопченая колбаса, черный хлеб, сыр, дешевые конфеты, печенье, туалетное и хозяйственное мыло, зубная паста, папиросы и еще какие-то мелочи. Здесь же можно было купить бритвенные лезвия, которые потом хранились у администрации и выдавались строго по счету только на время бритья, потом их нужно было возвращать; так же на короткий срок давался утром нож, чтобы порезать хлеб. За бритвами следили строго: всего неделю назад пожилой заключенный из соседней камеры, сидящий за изнасилование, отрезал себе бритвой мошонку.

Каждый должен был написать на специальном бланке, что он хочет взять в ларьке, приложить квитанцию, которую он получил на сданные в тюрьме деньги, и передать эти бланки ларешнику. Часа через два все затребованное приносилось в камеру вместе с квитанциями, где была соответственно уменьшена сум-

ма находящихся на хранении у администрации денег. Я не знал, сколько я еще в тюрьме пробуду и хотел растянуть шесть рублей подольше, потому взял на две недели только полкило сахару и двести грамм масла, а также зубную пасту, щетку и мыло, т. е. примерно на два рубля. Не могу сказать, чтобы я голодал в тюрьме, хотя вообще вопрос пищевой там более выходит на передний план, чем на воле.

Нужно было как-то заполнять время между завтраком, обедом и ужином. После завтрака я обычно ложился опять поспать, так как чувствовал себя очень плохо: болело сердце и бил озноб, так что холодными ночами я залезал прямо в мешок для матраса. Но спать все время тоже нельзя. В тюрьме есть библиотека, но библиотечные дни бывают довольно редко, и мне приходилось пока довольствоваться теми книгами, что раньше взяли другие заключенные. Я перечитал «Двенадцать стульев» и «Золотого теленка» Ильфа и Петрова, романы, на долгие годы определившие и канонизировавшие советский юмор, а потом взялся за роман Драйзера «Дженни Герхард», который при всем унынии тюремной жизни у меня не хватило сил дочитать до конца, и я стал перечитывать этнографический роман Печерского «В лесах». Кроме книг, в камере были еще игры: шахматы, шашки и домино. В шахматы, как я заметил, почти никто не играл, больше всего играли в домино. Я несколько раз играл в шашки, особенно со мной хотел играть сексуальный парторг, которого, как я говорил, все игнорировали; обычно я в шашки выигрывал, раньше я часто играл со Зверевым, а он порядочный шашист, имеет даже какой-то спортивный разряд. Помимо игры в домино, многие увлекались еще своего рода «тюремным пасьянсом», который особым образом раскладывают из косточек домино. Если из трех раз число правильно легших косточек составит более двадцати одного, значит желание сбудется. Такого рода гадания вообще очень распространены в тюрьме. С домино есть еще один способ: косточки раскладываются определенным образом и постепенно попарно выбрасываются, пока не остается одна: бóльшая цифра на ней означает число лет, которое потребует на суде прокурор, а меньшая — которое даст судья. Самая страшная, таким образом, косточка — это 6:6, а хорошая — 2:1. Я, поддавшись тюремным суевериям, на пятый день пребывания в тюрьме загадал, что если на косточке, которую я

наугад выберу, будет цифра 5, то я скоро выйду на свободу. Я не глядя выбрал косточку, и вышло 5:5.

В тюрьме все почти мысли, выходящие за рамки обыденного тюремного существования, так или иначе связаны с жизнью на свободе, воспоминаниями о ней и надеждой вновь к ней вернуться. Сама возможность жить на свободе кажется здесь величайшим из дарованных человеку благ. Так, я вспоминаю один разговор заключенных, о самоубийцах. Все недоумевали: как так, живя на воле, можно прийти в такое отчаяние, чтобы захотеть покончить с собой?! Для меня в тюрьме, пожалуй, самым сильным чувством было даже не желание выйти на свободу, а острое сожаление о зря потраченном на воле времени. Я только и думал о том, как, в конце концов, выйдя из тюрьмы, яростно примусь наверстывать упущенное, буду читать, писать, изучать языки и так далее. К сожалению, хорошие намерения начинают быстро блекнуть на воле.

Хотя все, конечно, с нетерпением и тревогой ожидали приговора суда, среди заключенных упорно ходил слух, что все равно через два с половиной года, к пятидесятилетию советской власти, будет амнистия. «А если не к пятидесятилетию в 1967 году, — говорили наиболее отчаянные оптимисты, — тогда точно в 1970, к столетию со дня рождения Ленина».

Я думал, что меня чуть ли не на второй день по прибытии в тюрьму опять вызовет следователь, но остальные заключенные только посмеялись, говоря: не жди раньше чем через неделю, быстро дела не делаются, тебе же лучше, если не будут вызывать, значит никакого материала против тебя не набрали. Действительно, прошла неделя, а меня вызывали только раз к «куму» — это оказался майор внутренних войск с толстой и как бы пьяной ряшкой, его задача — следить за настроением и взаимоотношениями заключенных. Разговаривал он панибратски-любезно: кум. Сначала спросил, за что я сижу. Я сказал: ни за что. «Что ж, по-твоему, в органах дураки сидят? — обиделся майор. — Сейчас зря не сажают, раньше — другое дело». Поговорили с ним немного о порнографии, потом он спросил, что за народ в камере, не обижают ли меня. Я ответил: ребята хорошие, никто не обижает. В камере сразу же стали расспрашивать, о чем был разговор. Парторг, которого вызывали передо

мной, нажаловался на одного шофера и того перевели в другую камеру, но парторгу едва ли стало от этого лучше.

26 мая меня вновь вызвали из камеры, и вертухай повел вниз, на первый этаж, сквозь какие-то помещения, обставленные с роскошью агитпункта: места встреч заключенных с адвокатами и следователями. Я думал, что увижусь со своим следователем, но меня, после довольно долгого ожидания, ввели в комнату, где сидело трое в белых халатах: две женщины и один мужчина, на столе я увидел папку со своими пьесами и понял, что это психиатры. Разговор начался, как я помню, о литературе, говорили в основном женщины, пытаясь прощупать мои литературные вкусы. Разговор, в котором я, конечно, на голову был выше своих экзаменаторов, во-первых, потому что начитаннее их, а во-вторых, потому что сам пишу и мне понятен механизм творчества, который им как раз неизвестен. Моих лжепорнографических пьес, как я понял, они за недостатком времени не читали, но обещали к следующему разговору прочесть. Молчаливый мужчина настойчиво спрашивал меня, почему мне нравится Достоевский, может быть он хотел услышать, что мне нравится эротически-садистская сторона в его писаниях. Во всяком случае я обрадовался этому разговору, впервые за много дней я смог говорить о том, что мне было интересно. Речь шла потом, как я чувствую себя в тюрьме, буду ли я потом писать об этом? Я сказал, что тюрьма дала мне, конечно, много материала и впоследствии я так или иначе буду писать об этом, но пока что мне писать ничего не хочется. Говорили еще о моем характере, и меня определили, делая это в полувопросительной форме, как человека замкнутого, любящего пошутить и повеселиться, но только среди близких друзей, а также человека упрямого и хотящего всегда настоять на своем. Под конец, со всякими деликатными ужимками, спросили, не девственник ли я. Я сказал, что нет, и был еще небольшой разговор о моем опыте с женщинами. Затем мы простились, очень довольные друг другом. На обратном пути вертухай сказал: «Знаешь, кто это были? Это психиатры — большие люди. Они могут признать тебя неполноценным и выпустить из тюрьмы». Я сам очень надеялся, что меня признают ненормальным, как в свое время надеялся на больное сердце. Когда мы шли по коридору, я увидел в окно уже сильно зазеленевшие деревья и подумал, что нет ничего

прекрасней, как просто гулять сейчас среди таких деревьев под весенним солнцем.

Глава восьмая
СЕМНАДЦАТЬ ЧАСОВ СВОБОДЫ

На следующий день перед обедом мне сообщили, чтобы я быстро собирался из камеры с вещами. «С вещами» — значило или перевод в другую камеру, или в карцер, или же совсем из тюрьмы. Вертухай добавил: ждет машина, — а значит меня увезут отсюда: прощай, тюрьма. Я подумал, что, вероятно, психиатры нашли меня не совсем нормальным, и меня повезут в сумасшедший дом на длительное освидетельствование. Я торопливо запихал все вещи в матрасный мешок, завернул отдельно свой сахар, оставшийся от завтрака хлеб и луковицу, подаренную мне утром одним заключенным, и попрощался со всеми. В тюрьме есть обычай каждому уходящему давать на память сильный пинок в мешок, так что я прямо вылетел в коридор, провожаемый добрыми напутствиями. Относились к мне в камере в общем хорошо, хотя я и держался очень обособленно.

Я сдал все тюремные вещи, меня опять тщательно прошмонали и опять посадили в маленький бокс внизу. Оттуда дважды вызывали: первый раз — вернуть мои вещи, второй — опять снимать отпечатки пальцев. Молодой парнишка, который пришел за мной, узнав, что я сидел за порнографию, обрадованно сказал: «А я как раз давно ищу, кто бы мне достал порнографические открытки». Я ничем не мог ему помочь. В боксе я сидел вместе с монтером по лифтам, которого взяли зимой по обвинению, что он делал приписки в нарядах, и теперь отпускали за недостатком улик: он очень убивался, как теперь, в мае, поедет в метро в шубе и зимней шапке. Он оказался большим поклонником Тито и все время хвалил Югославию, говоря, насколько там лучше жить рабочим, чем у нас. Тем временем я проголодался и с удовольствием съел луковицу с хлебом. Луковица в тюрьме большое лакомство, так как витаминов очень мало. Пока я так ждал, я временами забывал о машине и думал:

а вдруг свобода, и меня отпустят из тюрьмы на все четыре стороны.

Наконец меня вызвали из бокса, и я очутился в большой приемной, прямо под плакатом: «На свободу — с чистой совестью!» Майор с белым листком в руках начал меня спрашивать:

— Амальрик?

— Андрей Алексеевич!

— Год рождения?

— 1938!

— Статья? — и так далее, на этот раз очень подробно, вплоть до того, что он спросил, в каком году умерла моя мать. Поодаль стояли двое молодых людей в штатском, которых я сначала даже не заметил, так как был взволнован выходом из тюрьмы, один из них сказал: «Да, это он самый, Амальрик Андрей Алексеевич». После опроса майор протянул мне белый листок, на котором было напечатано «Временный паспорт», и я успел только увидеть свою фотографию и прочесть, что мое дело прекращено следственным отделом МООП, как один из молодых людей быстро выхватил этот листок у меня из рук и спрятал, и тут я узнал в нем моего следователя. Он дружески сказал: «Пойдемте с нами, Андрей Алексеевич».

Во дворе действительно ждала легковая машина. «Много, Андрей Алексеевич, мне пришлось потрудиться, чтобы вас освободили, это случай вообще исключительный, чтобы у нас прекратили уголовное дело, — сказал мне следователь, когда мы выехали за ворота. — Интересное, должно быть, испытываешь чувство, когда выходишь из тюрьмы». Я подумал, что это сомнительная свобода, раз меня еще везут куда-то. Следователь сообщил, что возил рисунки Зверева на экспертизу в московское отделение Союза художников, и МОСХ заключил, что рисунки эти не порнографические, а просто рисунки сумасшедшего. Я сказал, что иного результата я не ждал, ведь Зверев шизофреник. Следователь пожаловался, что он никак не мог его найти, Зверев скрылся в неизвестном направлении. Как мне рассказывали потом, в гостях у коллекционера Костаки один художник при Звереве сказал, что несколько раз звонил мне и соседи как-то странно отвечали. Зверев, который обычно пере-

сиживал всех гостей, тут же поднялся и вышел, и с тех пор его долгое время никто не видел. С моими пьесами, по словам следователя, дело было сложней, так как Союз писателей отказался давать по ним свое заключение. Заключение дала Татьяна Сытина, заведующая литературной частью Театра имени Ленинского комсомола, но такое, что она не знает, порнографические пьесы или нет, ибо не может точно определить, что такое порнография. Она якобы нашла, что мои пьесы интересны и несколько напоминают Брехта. Следователь еще высокопарно добавил: вот, мол, как приходит признание, надо только выбросить оттуда всю антисоветчину и эротику, и можно будет поставить. Я хотел возразить: если это выбросить, то что же останется. Наш молчаливый спутник добавил: мы ваши пьесы читали, очень все интересно, у нас к вам только одна просьба, чтобы вы нас в следующих пьесах не описывали. Я ответил, что обещать этого не могу.

Заключения экспертов я потом видел, в своем месте о них скажу. Во всяком случае, по тем или иным причинам, после экспертиз дело о порнографии было прекращено.

— Ну, теперь, когда дело кончено, — интимно сказал следователь, — скажите откровенно, давали ли вы пьесы иностранцам?

Я повторил, как и на первом допросе, что никому не давал. Тем временем мы продолжали ехать, и я был в полной уверенности, что меня везут на Лубянку и что КГБ решил действовать уже не через милицию, а непосредственно сам. Я был даже доволен этим, так как наивно рассчитывал на либерализм КГБ, вспоминая о недавнем деле Гинзбурга. Об этом стоит сказать подробнее, как потому, что я еще несколько раз упомяну здесь Гинзбурга, так и потому, что либерализм КГБ в конце концов вышел Гинзбургу боком.

Александр Гинзбург человек любопытный, с большим интересом к театру, кино, живописи и литературе, преимущественно ко всем новейшим течениям в этих областях. В 1960 году он выпустил несколько номеров машинописного журнала «Синтаксис» со стихами молодых советских поэтов, еще неопубликованными в официальных изданиях. КГБ усмотрел в этом чуть ли не антисоветскую подпольную деятельность, Гинзбург был

арестован и несколько месяцев провел в тюрьме на Лубянке. Так как «антисоветское» дело было шито белыми нитками, его в конце концов прекратили, но против Гинзбурга был использован его неосторожный поступок: в том же году он сдавал экзамены вместо своего малоспособного товарища. За переклейку фотографии в экзаменационном листке он получил два года лагерей с учетом предварительного заключения на Лубянке. Весной 1963 года, вскоре после своего возвращения в Москву, он вновь оказался в трудном положении. У себя дома и у своих друзей он устроил несколько просмотров французских короткометражных фильмов о художниках: об импрессионистах, Утрилло, Пикассо и т. д. Фильмы эти, кстати сказать, шли потом на советских экранах. Но близорукое начальство опять усмотрело тут подрывную деятельность, киноленты были отобраны у Гинзбурга, и о нем появился в «Известиях» самый неприятный по тону и лживый фельетон «Дуньки просятся в Европу». К счастью, тут дело ограничилось только фельетоном. Но не успели утихнуть страсти вокруг фельетона, как Гинзбурга ожидала новая неприятность.

В конце 1963 или в начале 1964 года он познакомился с одним из гидов выставки американской графики в Москве и попросил у него несколько книг по американской культуре, на его выбор. Тот дал Гинзбургу несколько книг разного содержания, на русском и английском языках, в том числе книги политического характера, как, например, «Новый класс» Джиласа. Не знаю, разобрался ли сам Гинзбург в этих книгах, во всяком случае их видели у него некоторые его знакомые и даже просили почитать, пока один из них, один из тех людей, кто делает комсомольскую или иную официальную карьеру и в то же время трется из любопытства в квазихудожественных кругах, не донес на Гинзбурга в КГБ, что он якобы занимается распространением антисоветской литературы. 15 мая 1964 года у Гинзбурга был обыск, изъяли несколько книг, а его самого арестовали. На допросах с ним обращались, по его словам, сурово, говорили, что за распространение подобных книг он понесет суровое наказание, но на четвертый день пребывания на Лубянке он был внезапно вызван из камеры, без каких-либо объяснений выведен из тюрьмы и отпущен на все четыре стороны. Затем он уже привлекался только как свидетель по анонимному делу «о распро-

странении антисоветской литературы». Этот случай я и имел в виду, когда выше говорил о «либерализме КГБ».

Дело этим, однако, не ограничилось. Измученный постоянной неопределенностью своего положения, Гинзбург решил написать письмо в ЦК КПСС с просьбой, чтобы КГБ оставил его в покое и чтобы он получил возможность спокойно работать и учиться. Когда он показал мне это письмо, с довольно резкими нападками на разные промахи КГБ, то я ему такое письмо посылать отсоветовал, считая, что ЦК за него не заступится, а госбезопасность будет разозлена. «Если уж ты хочешь писать письмо в ЦК, — сказал я, — то напиши письмо, лойяльное по отношению к КГБ, и покажи его своим следователям, как бы желая посоветоваться, посылать это письмо или нет, так что, адресованное ЦК, это письмо в сущности будет направлено КГБ и будет говорить в твою пользу». Не знаю, послушался бы Гинзбург моего совета, но ему то же самое посоветовали его адвокат по старому делу и известная писательница и журналистка Фрида Вигдорова, которая незадолго перед тем пыталась спасти от высылки поэта Бродского, а теперь приняла участие в судьбе Гинзбурга. Я был несколько лет знаком с Вигдоровой, и потому мы с Гинзбургом вместе зашли к ней и разговаривали с ней в помещении, где она принимала посетителей, как депутат райсовета. Я упоминаю об этом потому, что, по странной иронии судьбы, несколько ранее в том же самом помещении, напротив здания МООП, был завербован для слежки за мной мой сосед по квартире Валерий Жаховский. Если эта комната для депутатского приема параллельно использовалась как место вербовки и встреч с осведомителями, то значит там наверняка был установлен микрофон и все разговоры записывались.

Таким образом Гинзбург начал писать новые варианты письма, которых я уже не читал. Однако и здесь ему изменило чувство меры, но, так сказать, в другую сторону, и в окончательном варианте письма он написал, что в случае чего он даже готов дать ответ своим «доброжелателям на Западе», полагая, что это останется всего лишь риторической фразой. Вообще, к сожалению, у нас иногда можно видеть, как люди, в той или иной мере находящиеся в оппозиции к официальным направлениям в искусстве и потому не пользующиеся признанием у нас, но вызывающие интерес за границей, вдруг в своих каких-либо

вынужденных или желаемых контактах с властями принимают демагогически-жалостливый тон, говоря: обратите, мол, только вы внимание на нас и наше искусство и мы про иностранцев сразу же забудем и на них наплюем. Естественно, что и начальство этот ход, шитый белыми нитками, нисколько не обманывает и по отношению к иностранцам оказывается крайне некрасивым, поскольку, хороши они или плохи, но их интерес для молодого русского искусства — большая поддержка. Вот Гинзбург и стал в известной степени жертвой этих настроений, а когда опомнился — было уже поздно. Сотрудники КГБ уцепились как раз за эту фразу и сказали: ну что ж, прекрасно, вот и ответьте через какую-нибудь советскую газету. Гинзбург, не отказываясь прямо, всячески это дело оттягивал, так продолжалось почти год. Я последние месяцы перед своим арестом Гинзбурга не видел и полагал, что он либо совсем письма в газету не напишет, либо напишет такое, какое ни в коем случае не удовлетворит КГБ; я ему на такой вариант в наших прежних беседах указывал.

Однако потом я узнал, что буквально через неделю после моего выхода из Бутырской тюрьмы в «Вечерней Москве» все же появилось письмо Гинзбурга в нужном КГБ духе (сам я его не читал и читать не стану), — появилось, как я надеюсь, не без прямых угроз и нажима на Гинзбурга. Многие друзья от Гинзбурга отвернулись, и он оказался в самом фальшивом положении. Осенью этого же года были арестованы Даниэль и Синявский, а в феврале 1966 года состоялся суд над ними. Считая приговор суда несправедливым и вообще весь процесс затеянным из соображений политической конъюнктуры, Гинзбург начал собирать материалы об этом процессе, чтобы в целом познакомить с ними советскую общественность и оказать тем самым поддержку Даниэлю и Синявскому. Делал он это, как я думаю, в значительной степени с тем, чтобы реабилитировать себя в своих собственных глазах и в глазах своих друзей после некрасивого письма в «Вечернюю Москву». Из материалов процесса он составил так называемую «Белую книгу», которую передал в Верховный суд СССР, в ЦК КПСС, в КГБ и с которой хотел, видимо, познакомить московскую интеллигенцию. Один из экземпляров этой книги неизвестным путем попал за границу, где, как я слышал, будет издан.

Власти отнеслись к Гинзбургу с той же неумной жестокостью, что и к Синявскому с Даниэлем. 17 января 1967 года у него был сделан обыск, а 23-го его арестовали; его арестовали довольно некрасивым образом, в традициях «плаща и кинжала»: его схватили возле дома около двенадцати часов ночи, и его мать услышала только сдавленный крик под окнами. Сейчас, когда я пишу эти строки, он находится в Лефортовской тюрьме и по его делу ведется следствие. Одновременно по Москве было сделано еще несколько обысков и арестовано в общей сложности около десяти человек. Аресты эти возбудили много толков в Москве, говорят, что это, мол, меры политической чистки, предпринимаемые властью перед празднованием пятидесятилетия Октябрьской революции. Если это действительно так, то довольно дико отмечать актами насилия пятидесятилетие революции, целью которой была ликвидация векового насилия сильных над слабыми.

Ничего этого, разумеется, я не мог еще знать, когда майским днем 1965 года ехал с двумя молодыми следователями, как я думал, в сторону Лубянки. По крайней мере, я был уверен в одном, что мне там, в отличие от Гинзбурга, не будут предлагать какого-либо публичного отречения от своих пьес или от своих друзей, поскольку ни я, ни мои пьесы все равно никому неизвестны. Однако мы ехали не на Лубянку.

Сделав разворот, машина свернула на Садовое кольцо, и мы подъехали к зданию суда, где я разговаривал с Яковлевым. Я понял, что, избегнув суда как «уголовник», я возвращаюсь к положению «тунеядца». В коридоре мы встретили Яковлева, который поклонился мне даже с некоторой почтительностью, но быстро прошел мимо. Как я узнал потом, он имел неприятности из-за «необоснованного» возбуждения уголовного дела; впоследствии ему вообще пришлось уйти, и вместо него главным судьей стал Чигринов. К этому Чигринову, тогда еще не главному, меня и провели. Мой следователь вошел к нему в кабинет, а я с его спутником остался в маленьком судебном зале. Он спросил меня, что за узелок у меня в руках. Я сказал, что хлеб и сахар на всякий случай. Тот сказал примерно так: вот, мол, до чего человека довели, раз даже, выходя из тюрьмы, он берет с собой на всякий случай тюремную пайку. Я же, глядя на сидевшего в стороне милицейского старшину, который был

уже наготове вести меня опять в КПЗ, подумал, что это нелишняя предусмотрительность. Мы поговорили еще немного о тюремных обычаях, и тут меня позвали в кабинет.

Кабинет был маленький, собственно это совещательная комната, за столом сидел Чигринов, здоровенный мужчина лет пятидесяти с черным кожаным протезом вместо руки, напротив мой следователь, который с Чигриновым, видимо, пререкался, а сбоку на диванчике двое людей с торжественными лицами, один постарше, на вид рабочий, другой помоложе, с круглым лицом комсомольского активиста.

— Я, когда прочитал ваши пьесы, — начал Чигринов, обращаясь ко мне, — долго думал, что же это за человек, который мог т а к о е написать, и никак не мог себе представить. Мне рассказывали, что вы человек сдержанный, вроде бы даже не глупый, правда, — неожиданно заключил судья, — с прической под Керенского.

Меня этот оборот очень удивил, я лет с пятнадцати всегда стригся коротко, чтобы длинные волосы не мешали, как и многие мои сверстники, нисколько не думая при этом о Керенском. Но такое передергивание, как я скоро понял, было вообще любимым приемом Чигринова. Всех обстоятельств разговора с ним я уже не помню, в тот момент я был взволнован такой переменой в моей судьбе, как прекращение уголовного дела и внезапный выход из тюрьмы. Главным образом судья говорил не о том, работал ли я или не работал, а о моих пьесах. Пьесы эти он очень обругал и назвал их антисоветскими. Я возразил, что не считаю их антисоветскими, а когда он спросил, какими же я их считаю, я ответил, что советскими. Этим ответом судья был очень раздражен. Я считаю их советскими в том смысле, что они написаны советским гражданином и являются, хорошим или плохим, явлением советской литературы, а не политическим памфлетом, направленным за или против существующих в советской стране порядков. Затем судья перевел разговор на живопись. Что, мол, за картины я собираю, среди них есть картина «Один рубль» просто антисоветского содержания: она изображает советский рубль, падающий в море, т. е. те же малограмотные рассуждения, что и у дружинников. Я ответил, что никакого «падающего в море» рубля тут нет, а просто автор этой картины испытал на себе некоторое влия-

ние поп-арта, направления, для которого характерны остранение и гиперболизация обыденных предметов, а потому так гиперболически изобразил на картине обычный рубль. Судья вроде бы удовлетворился этими объяснениями.

Меня несколько удивило такое бесцеремонное обращение со словом «антисоветский», особенно для юриста. Это слово у нас в стране не является нейтральной квалификацией тех или иных политических симпатий или антипатий или же просто бранным словом, этим словом применительно к каким-либо писаниям или высказываниям в уголовном кодексе квалифицируются деяния, наказуемые тюремным заключением до семи лет. Если судья находил мои пьесы антисоветскими, то как честный юрист он должен был бы возбудить против меня соответствующее судебное дело. Если же он находил, что оснований для возбуждения подобного дела нет, то он и не должен был называть их антисоветскими. Мои пьесы были названы антисоветскими и в официальном постановлении судьи Яковлева, которым против меня было возбуждено судебное дело, но по обвинению в порнографии. Выходило, что по существу меня обвиняют в одном, а формально хотят судить за другое: обвиняют в писании антисоветских пьес, а ходят судить в одном случае за порнографию, а в другом за то, что я не работаю. Там, где допускается такая юридическая игра, ни о какой законности не может быть и речи.

Затем судья спросил, как, по моему мнению, со мной надо теперь поступить. Я ответил, что надо немедленно отпустить меня на свободу.

— А я считаю, — сказал Чигринов, — что вас следует выслать в Сибирь, чтобы вы посмотрели мир собственными глазами, а не из чужих подштанников.

Не говоря даже о той хамской форме, в какой Чигринов это сказал, меня удивило, что еще до судебного разбирательства, в ходе которого, собственно говоря, и должно было выясниться, надлежит меня выслать или нет, подпадаю я под действие Указа 1960 года или нет, судья уже заранее сообщал мне свое решение, основанное даже не на собранных милицией материалах административного дела, а основанное на знакомстве судьи, а возможно и более высокого начальства, с моими пьесами, никакого отношения к моему трудоустройству не имею-

щими. После этого я понял, что, если Чигринов будет судить меня и никакие закулисные силы не вмешаются в мою судьбу, как это было с внезапным прекращением уголовного дела, то он даст мне максимальный срок ссылки, то-есть пять лет.

Тут Чигринов спокойно заявил, что хочет судить меня прямо сейчас. Я сказал, что я подавал заявление о свидетельнице и об адвокате и что я настаиваю, чтобы была вызвана эта свидетельница.

— Ну да, — недовольно сказал судья, — вы хотели пригласить какую-то там свидетельницу и адвоката, — тут он назвал фамилию адвоката, хотя я никаких адвокатов не знал и никаких фамилий в своей просьбе на имя Яковлева не указывал. Однако теперь я решил адвоката не требовать, так как подумал, что все равно мне он ничем не поможет, а только еще больше разозлит начальство, которое будет рассуждать примерно так: ты, мол, еще сопротивляться нам хочешь, адвоката требуешь, так получай же за это по заслугам! На помощь свидетельницы я тоже нисколько не надеялся, но, как уже писал выше, хотел каким-то образом дать знать о себе.

— Напишите тогда просьбу, что просите свидетельницу и отказываетесь от адвоката, — сказал судья, — а то потом будете требовать адвоката.

Он стал звонить начальнику 5-го отделения милиции, чтобы тот к завтрашнему утру вызвал свидетельницу. Тот, видимо, возражал, говоря, зачем лишние затруднения, неужели его и так нельзя судить, на что судья отвечал, что такой, мол, попался подсудимый крючкотвор, пишет всякие просьбы, лучше уж сделаем все по форме. При этом он сказал мне, что, раз я вызываю своих свидетелей, он, может быть, вызовет свидетелей со стороны обвинения, то-есть моих соседей. Затем он повернулся к двум молчащим людям и суровым тоном проговорил: «А вы можете быть свободны». Те так же молча встали и, почтительно поклонившись судье, удалились. Я было подумал, судя по их скромному молчанию и командирскому обращению с ними Чигринова, что это какие-нибудь бывшие заключенные, которые решили прибегнуть к покровительству Чигринова, наподобие щипача Пушкина, которому протежировал Яковлев, но, как выяснилось, это были народные заседатели, вместе с которыми Чигринов судил меня.

Вслед за ними мой следователь, который со своим спутником присутствовал при нашей беседе с Чигриновым, попросил выйти меня и между ними и судьей начался разговор, скоро перешедший в громкий спор, который, как я понял, касался суда надо мной. Через некоторое время они появились от судьи, громко говоря, что будут звонить своему начальству, и, не попрощавшись со мной, раздраженно вышли из зала. Тут судья опять потребовал меня к себе и, оборотясь к появившейся откуда-то унылой женщине, секретарю суда, сказал: «Напишите по форме, что Амальрик Андрей Алексеевич обязуется завтра явиться на суд в 11 часов утра, а он пусть подпишет». «У нас и формы такой нет, я не знаю, как писать», — сказала секретарь суда, недовольная, что кого-то, хоть на одну ночь, отпускают на свободу, но я сам написал такую расписку и вручил ей, так как мне хотелось подышать вольным воздухом хоть несколько часов. Судья отпустил дожидавшегося меня старшину и сказал, что сейчас я свободен, но чтобы завтра приходил точно к одиннадцати утра. Таким образом он делал либеральный жест, предназначенный, видимо, не для меня, а для молодых следователей, с которыми он только что поскандалил.

Эти молодые люди в свою очередь сделали жест по отношению к судье, который, впрочем, вышел комом. У них была машина, и судья еще при мне попросил их подвезти его, теперь же, так раздраженно уйдя, они сами демонстративно пошли пешком, а своего шофера послали к судье. Между тем шофер этот, еще когда мы ехали из тюрьмы, жаловался, что его рабочий день кончился и его очень задержали сегодня. И вот он, крайне раздраженный, входит в судебный зал и спрашивает: «Где здесь Чугунов или какой-то Чугуев?» «Где вы видите, чтобы было написано Чугунов?» — вскипает самолюбивый судья. Действительно, на его двери написано «Судья Чигринов». «Не знаю, Чугунов там или Чигринов, — отвечает злой шофер, — но мне этого типа велели куда-то везти, а я с утра не ел и мой рабочий день давно кончился». «Как так кончился? — закипел еще пуще судья. — У меня вот еще не кончился!» Я не стал ждать, чем кончится скандал, и поскорее ушел.

Рядом с судом находился обувной магазин, и я решил купить себе шнурки. Продавец, лысый еврей, слегка похожий на Ко-

ренгольда, взглянув на мои незашнурованные ботинки и обритую голову, с дружелюбной улыбкой сказал: «Сейчас я вам дам самые лучшие шнурки». Это был единственный случай, когда со мной любезно обошлись в магазине.

Я пошел пешком домой по улице Алексея Толстого, под зелеными деревьями. Я чувствовал себя не то, чтобы счастливым от состояния свободы, но как будто мне снится хороший сон. Когда я дошел до Никитских ворот, часы на площади показывали ровно шесть. Мне оставалось семнадцать часов свободы.

Первым, кто меня приветствовал, едва я появился на пороге своей квартиры, был сосед-осведомитель. Хотя он был очень удивлен, увидев меня, однако пошел навстречу с широкой улыбкой и протянутой рукой. Я осадил его, сказав, что прочел его показания. Он стал оправдываться, что это его сам следователь подвел к таким показаниям. Я сказал, что, если завтра его вызовут в суд, пусть он откажется там от того, что говорил Васильеву, и даст показания в мою пользу, то же сделает и его жена. «Если вы этого не сделаете, — сказал я, — то я разоблачу на суде твои связи с КГБ». Испуганный сосед согласился.

Мне не хотелось долго оставаться в комнате, развороченной обыском. Я подумал о том, чтобы поехать за город к отцу, но решил не делать этого, чтобы зря не волновать отца перед судом, так как отец, я надеялся, ничего еще не знал о происшедшем. Я поехал к своей свидетельнице, по дороге заехав к знакомому художнику. Там опять возник разговор об адвокате, мне настоятельно советовали взять адвоката, однако я отказался по уже упомянутым причинам. Под вечер я внезапно появился у своей свидетельницы, где застал несколько человек, в том числе свою будущую жену. Они очень удивились, увидев меня на свободе. Оказалось, что до меня уже приезжал Киселев и привез вызов в суд. Две недели друзья пытались меня разыскивать, но совершенно безуспешно. Милиция отказывалась сообщить что-либо обо мне. Мой товарищ Юра Галансков решил объездить тюрьмы. На Лубянке ответили, что ничего обо мне не знают. В Лефортовской тюрьме тоже не ответили ничего вразумительного. Через моих соседей удалось разыскать понятых при обыске, а через них капитана Бушмакина. Тот признал, что делал обыск, но сказал, что моя даль-

нейшая судьба ему не известна. Наконец, моему дяде, вовлеченному в поиски, указали следователя, который вел дело; его фамилия, как я узнал, Новиков. Завтра с ним должен был встретиться один из моих друзей, но в связи с прекращением уголовного дела и предстоящим судом необходимость в этой встрече отпала.

Не желая возвращаться домой, я остался ночевать у друзей. Вопреки тюремному обыкновению, я лег очень поздно и долго не мог уснуть. Утром, едва я проснулся, я увидел на столе большой кувшин молока. Но насколько страстно я мечтал о молоке в тюрьме, настолько теперь, может быть из-за болей в желудке, его вид вызвал у меня отвращение, и молоко впервые выпить мне пришлось только через месяц.

Глава девятая
СУД

Утром в одиннадцать часов я приехал в суд. Судья Чигринов уже был на месте. Судебный зал был разгорожен барьером на две половины: бóльшую занимали скамьи для публики, а меньшую стол и кресла для судьи и заседателей, справа от них стоял столик для секретаря, а слева дверь вела в совещательную комнату. Перед началом судебного заседания я захотел подать суду еще одну письменную просьбу: я просил вызвать еще нескольких свидетелей, а также, по настоятельному совету друзей, адвоката. Однако судья даже не дал мне дописать ее, пренебрежительно махнув рукой. Он указал мне мое место на скамейке перед барьером, лицом к суду и спиной к зрителям; никакой охраны у меня не было. В зале было человек пятнадцать; кроме моих друзей, был капитан Киселев, оперуполномоченный КГБ по Фрунзенскому району Гончаренко вместе с еще одним сотрудником, которые скромно сидели в самом углу у дверей с видом случайно забредших в зал посетителей, и еще один какой-то человек, как я понял, действительно случайно попавший на суд. Судья зашел в совещательную комнату и через минуту в сопровождении вчерашних заседателей и се-

кретаря появился вновь, сам скомандовав: «Прошу встать». Все встали. Судья сел и сказал: «Прошу садиться».

Скучным голосом он зачитал по бумажке, что слушается административное дело гражданина Амальрика Андрея Алексеевича, привлеченного к ответственности по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1960 года. Затем последовал формальный опрос: фамилия, имя, год рождения, состоял ли под судом и следствием и так далее. Я ответил, что состоял под следствием. «Вы имеете в виду это последнее дело? — недовольно сказал судья. — Это не в счет». Далее он зачитал нечто вроде обвинительного заключения. Я обвинялся в том, что в течение многих лет «систематически уклонялся от общественно-полезного труда», если же где-нибудь и работал, то зарекомендовывал себя с самой худшей стороны, а последний год совсем нигде не работал, прикрывая это тем, что ухаживал за отцом; в действительности же я за отцом не ухаживал, а ухаживали за ним соседи или же он обходился без ухода; таким образом имевшееся у меня в избытке свободное время я тратил на сомнительные встречи с иностранцами и писание «антисоветских пасквилей», а, получив предупреждение милиции, на работу все равно не устроился.

Едва судья кончил, как я вновь обратился с просьбой, на этот раз уже устной: пригласить еще двух свидетелей и приобщить к делу характеристику, выданную мне с последнего места работы. Как я уже писал, один и тот же директор издательства дал мне на руки положительную характеристику, а на запрос милиции отрицательную. Я хотел, чтобы они обе присутствовали в деле, с тем чтобы видно было, чего собственно эти характеристики стоят. Посовещавшись с заседателями, судья отказался приобщить характеристику, «так как у суда уже есть одна характеристика с места работы». Положительную характеристику я еще накануне попросил вложить в папку с делом, и судья ее просто уничтожил. Что касается дополнительных свидетелей, то он согласился их выслушать, если они сейчас здесь присутствуют. Я сказал, что они присутствуют в зале. Таким образом, кроме вызванной ранее свидетельницы, суд согласился выслушать еще двух человек. К сожалению, к сегодняшнему утру я не успел вызвать никого из друзей отца, а отложить еще суд судья отказался. Судья предложил всем

свидетелям выйти из зала и затем спросил меня, согласен ли я с выдвинутыми обвинениями и какие могу дать объяснения.

Как мне рассказывали потом, я отвечал голосом напряженным и неестественно четким, но нигде не давал судье сбить себя. Я сказал, что не согласен ни с одним обвинением. Начиная с 1956 года я систематически работал, судья считает «работой» только то, что записано у меня в трудовой книжке, между тем я много работал картографом, корректором и переводчиком по счетам и договорам, о чем могу представить или же суд может навести соответствующие справки. Кроме того, я в общей сложности два с половиной года учился в университете, что суд тоже почему-то относит к «уклонению от общественно-полезного труда». В мае 1964 года я действительно ушел с постоянной работы, но за последний год несколько раз устраивался временно и брал работу на дом. Постоянно я никуда не устраивался из-за тяжелой болезни отца, за которым я ухаживал. Показания соседей — клевета и, я думаю, будут опровергнуты здесь свидетелями. Точно так же клевета, что я на работе везде зарекомендовал себя с плохой стороны. Ссылаются на характеристику из газеты «Водный транспорт». Сначала я работал в этой газете временно и зарекомендовал себя таким образом, что меня взяли на постоянную работу, затем ушел оттуда в университет, а потом меня вновь взяли туда на работу. Если бы меня считали плохим работником, то не стали бы брать вновь. После предупреждения милиции о трудоустройстве я дважды пытался устроиться на работу: в журнал, где мне так и не дали определенного ответа, и в библиотеку, куда мне не дал поступить арест. Разыскивать особенно интенсивно в это время работу я не мог из-за болезни отца и смерти тетки. Что же касается иностранцев, которые меня якобы посещали в большом количестве и «приносили и уносили картины», то это явное недоразумение. Оно основано на показаниях соседей, которые не знают ни одного иностранного языка и, по-видимому, принимали за иностранцев художников из Прибалтики и Закавказья, которые несколько раз ко мне заходили. Кроме того, если у меня и могли быть в гостях иностранцы, это еще не основание для того, чтобы судить меня. Дело о моих пьесах, которые названы сейчас «антисоветскими», прекращено, и можно было бы к этому не возвращаться, я вовсе не

«клевещу» в них на «советскую действительность» и ни на какую «действительность» вообще, — каждый автор только отталкивается от действительности, чтобы строить собственный мир.

Во все время этой речи судья то и дело перебивал меня, вроде того, что я, мол, мог бы восемь часов работать, а уж остальное время посвящать отцу, что моя тетя «не член семьи», а значит и ухаживать за ней нечего, что соседи «всегда отличат советского человека от иностранца», что в своих пьесах я клевещу на советских людей и изображаю их в виде шпиономанов, что я пропагандирую «антисоветскую живопись» (тут опять всплыл из моря «Один рубль»), что мне надо получше познакомиться с жизнью. Вообще судья взял по отношению ко мне тон, что я-де избалованный молодой человек из обеспеченной семьи, который не знал никаких трудностей и ничего не видел, кроме узкой кучки подобных ему интеллигентиков. Между тем даже из материалов дела судья мог видеть, что это далеко не так, что с начала болезни отца и особенно после смерти матери я жил все время в очень трудных условиях и не мог рассчитывать ни на чью поддержку, что, работая в разных местах и путешествуя по стране, я мог познакомиться с самыми разными слоями населения и скорее бывал подолгу оторван от «подобных себе», чем избалован общением с ними. Потом судью мало волновали вопросы, где и сколько я работал и мои попытки уточнить это, он главным образом хотел завести со мной литературно-художественную дискуссию вокруг изъятых у меня картин и пьес, к каковой он считал себя, по-видимому, хорошо подготовленным. Однако, ответив раз судье по поводу пьес, дальше я от этой дискуссии уклонялся, говоря только о том, что формально касалось судебного разбирательства.

— Ну, вы, я вижу, не хотите говорить об этом, но я надеюсь, что вы еще выскажете ваше литературное кредо, — напыщенно сказал наконец судья. Еще он спросил меня, как я проводил обычно свободное время. Я ответил, что в основном я занимался дома или в библиотеке.

Посадив меня, судья перешел к допросу свидетелей, правильнее было бы сказать, к экзекуции свидетелей. Первой была вызвана свидетельница. После вопросов о фамилии и местожительстве, судья спросил: «Ну, что вы имеете сказать?» Она

растерялась, потому что думала, что ей будет задавать какие-то вопросы судья. Начать ни с того, ни с сего, не зная, о чем шла речь до нее, было очень трудно. Такой же прием судья применил и к остальным свидетелям. Тут я пожалел, что нет адвоката, который мог бы умело построить их допрос. Свидетельница начала говорить, что я не тунеядец, что я ухаживал за своим отцом, которого она хорошо знала; по ее словам, соседи не только не ухаживали за ним, но запугивали его. Судья слушал ее со скептическим видом скучающего человека. Иногда он демонстративно зевал, показывая, что только по долгу службы вынужден выслушивать все это. Широко зевал он, впрочем, и при опросе других свидетелей, и при моем опросе. Подчас он грубо прерывал свидетельницу, стараясь вывернуть наизнанку каждое ее слово. Так, она сказала, что я часто отвозил домой из детского сада ее маленькую дочь, желая, видимо, показать какие-то мои симпатичные стороны. «Ага, значит в это время он не ухаживал за отцом», — тут же резюмировал судья. Свидетельница сказала, что я люблю живопись и что ей всегда было очень интересно бывать со мной в музеях. На вопрос, каких художников я люблю, она ответила, что «из древних Рембрандта». В сущности, не такая уж большая ошибка вместо «старый» сказать «древний», но поскольку в марксистской терминологии словом «древний» обычно переводится «античный», то судья, обрадовавшись случаю показать свое превосходство, прочел целую лекцию по истории искусства, гордо закончив: «Что, не ожидали, вероятно, от меня таких знаний?» Мне, правда, он лекций читать не решался, понимая, что я тут же одерну его. Затем он спросил, читала ли свидетельница мои пьесы. Она ответила, что не читала. «Как же это он их вам не показывал? — усомнился судья. — Я вот тут сам кое-что написал, так сразу же показал своим друзьям». С тем же вопросом он обращался и к остальным свидетелям, однако все дали одинаковый ответ. Одного из свидетелей я просил вызвать главным образом потому, что он был член партии и потому мог рассчитывать на большее внимание и доверие суда, но судья никого не спрашивал о партийности.

После допроса свидетелей был объявлен перерыв. Я спросил мнение Киселева о суде, тот ответил, что все это комедия, что дело решено заранее. «Но вот уголовное дело ведь прекратили

же», — возразил я. «Ну, с уголовным делом они немного погорячились», — сказал Киселев. В коридоре я неожиданно встретил свою соседку-осведомительницу, она быстро скрылась. Не знаю, пригласили ли ее в суд, чтобы в случае надобности привлечь как свидетельницу, или же она сама зашла по каким-то своим делам, во всяком случае на суде она не выступала и даже не присутствовала среди зрителей.

Через пятнадцать минут суд возобновился. Судья предложил мне дать еще раз объяснения и произнести последнее слово; он дал понять, что в «последнем слове» я должен высказаться о своих пьесах и картинах. Судья ждал от меня, по-видимому, или покаяния и осуждения собственных писаний или, напротив, зажигательной речи в защиту живописи и литературы. Я твердо решил не дать ему удовольствия услышать ни то, ни другое. Первое не спасло бы меня, а только поставило бы в жалкое положение. Второе развязало бы руки судье, если только они были в какой-то степени связаны. Кроме того, по натуре я не агитатор и считаю, что верность убеждениям заключается не в том, чтобы доказывать их правоту каждому встречному ослу, а в том, чтобы следовать им в своей работе. Поэтому я решил говорить только о том, что составляло формальный предмет судебного разбирательства. Я сказал, что не считаю себя тунеядцем, что с восемнадцати лет я все время работал на постоянной или временной работе или учился, что последние годы, особенно последний год, мне было очень трудно постоянно работать в связи с тяжелой болезнью отца. Может быть, последние месяцы я проявил мало настойчивости в поисках работы и плохо использовал предоставленный мне милицией срок, но я прошу суд дать мне сейчас еще одну возможность поступить на работу и продолжать ухаживать за своим отцом. Я надеялся, что эта маленькая речь удовлетворит суд, однако судья спросил, каково же будет мое последнее слово, опять намекая на пьесы. Я сказал, что это и есть мое последнее слово, после чего суд удалился на совещание.

Суд заперся в совещательной комнате и не выходил оттуда в течение сорока минут. Это очень большой срок, если учесть, что обычно, когда судят «тунеядца», суд совещается минут пять и часто даже не удаляется для этого. Изоляция судьи и заседателей была довольно относительная: хотя никто и не за-

ходил в совещательную комнату, туда несколько раз звонили по телефону. Хотя, как я уже писал выше, я ожидал максимального срока, где-то в глубине души я надеялся и на оправдательный приговор. Конечно, приговор мог носить и компромиссный характер, многое здесь зависело от позиции московского управления КГБ, которое с самого начала и занималось моим делом через Гончаренко. Наконец, противодействие судье могли оказать и заседатели. Впрочем, они скорее производили впечатление молчаливых статистов: за все время они не проронили ни слова, только один заседатель задал какой-то малозначительный вопрос. Ожидание было очень напряженным, сама длительность совещания давала надежду.

Наконец дверь отворилась, судья произнес: «Прошу встать!» — и зачитал приговор. Я приговаривался к двум с половиной годам высылки в специально отведенные места поселения, с обязательным привлечением к физическому труду, без конфискации имущества. Приговор обжалованию не подлежал. Судья разъяснил, что в случае добросовестной работы я могу быть освобожден через половину срока, и приказал взять меня под стражу. На этом суд кончился.

По моему мнению, судья Чигринов вел себя все время крайне недобросовестно, пристрастно и незаконно. Во-первых, накануне суда он мне в присутствии следователя, заседателей и секретаря уже фактически сообщил свой приговор; во-вторых, он отказался вызвать тех свидетелей, которых я просил, только на том основании, что из-за этого пришлось бы отложить суд; в-третьих, он не дал мне возможности подать просьбу об адвокате на том основании, что я не сделал этого за день до суда; в-четвертых, он отказался приобщить к делу выданную мне с последнего места работы характеристику, но при вынесении приговора учитывал характеристику, запрошенную оттуда милицией; в-пятых, он настолько пристрастно допрашивал свидетелей, что, по-существу, почти лишил их возможности дать показания; в-шестых, он не пригласил в суд и лично не опросил ни одного из свидетелей, на основании показаний которых он вынес мне приговор, т. е. моих соседей, опрошенных милицией; в-седьмых, он не пожелал проверить, работал ли я где-либо и когда-либо, кроме случаев, указанных в моей трудовой книжке, и учился ли я какое-либо время в университете; в-восьмых, он

отказался принять во внимание необходимость ухаживать за больным отцом на том основании, что отец якобы может обходиться без моей помощи, в то время как отец был инвалидом первой группы, которая по закону дается только лицам, нуждающимся в постороннем уходе и которая предусматривает к пенсии специальную денежную надбавку для этих лиц; в-девятых, он отказался принять во внимание то, что я ухаживал до ее смерти за своей больной теткой; в-десятых, он не учел и даже ни разу не упомянул заключение судебно-медицинской экспертизы, которое оставляло открытым вопрос о возможности моего принудительного привлечения к физическому труду; в-одиннадцатых, он крайне грубо и пристрастно вел себя во все время процесса, не как судья, а как тяжущаяся сторона и бо́льшую часть времени посвятил не существу разбираемого дела, а изложению собственных взглядов на литературу и искусство. Едва ли такой человек, как Чигринов, вообще может быть судьей, а он вскоре был сделан главным судьей района. В декабре того же года в «Вечерней Москве» о нем появилась хвалебная статья, как об одном из самых интеллигентных судей.

До и после этого мне несколько раз приходилось бывать на суде, правда, в уже более приятной роли зрителя, и каждый раз меня очень удивляла крайняя грубость судей, их тенденциозность и полное пренебрежение процессуальными нормами. Я не хочу, конечно, сказать, что все наши судьи таковы, но, видимо, это достаточно распространенное явление. Приговор подсудимому — это не акт мести по отношению к человеку, совершившему тот или иной проступок или преступление, по-видимому, в каждом частном случае приговор должен выражать общее понятие справедливости. Воспитательное значение суда, видимо, должно быть заложено в том, чтобы у подсудимого и у всех остальных была уверенность, что судят в строгом соответствии с законом и с теми морально-этическими нормами, которые выработало человечество за долгую историю своего существования, а вовсе не в том, что судья со своего места читает нудные воспитательные рацеи или просто по-хамски поносит подсудимого и свидетелей. Тем менее воспитательное значение имеет суд, когда устраивают «воспитательный» процесс, то есть когда невиновного или пусть даже виновного человека

судят так сказать в назидание другим, на публику, «чтоб другим неповадно было». Это не воспитательная мера, а мера запугивания, она не повышает, а дискредитирует значение суда. Когда человека по существу обвиняют в одном, а для суда над ним используют не относящиеся к делу статьи или указы, то с точки зрения узкого полицейского ума этим достигается определенная цель, но это еще более разлагает судебную систему.

Сейчас советское руководство, как можно думать, очень обеспокоено ростом преступности. Однако борьба с преступностью в чисто правовом аспекте, не говоря о превентивных мерах, невозможна без эффективной и заслуживающей уважения судебной системы, дело не в издании все новых драконовских законов, а в правильном применении хотя бы уже существующих, они и так предусматривают большие сроки за незначительные преступления. Кроме того, человеку, отбывшему наказание, надо давать возможность вернуться в общество и вести нормальную жизнь, а не затруднять ему это системой прописок и подсчета судимостей. Судимость должна учитываться только в случае повторного совершения преступления, а не при желании поступить на работу или вернуться к родным.

И, наконец, можно ли считать «законным» все то, что записано в законе? Как можно мириться с положением, что некоторые статьи Уголовного Кодекса РСФСР и союзных республик находятся в явном противоречии с Основным законом — Конституцией СССР! Так, статья 70 УК РСФСР находится в явном противоречии с пунктами «а», «б» и «в» статьи 125 Конституции СССР, статья 190^1 УК с пунктами «а» и «б» и статья 190^3 УК с пунктами «в» и «г» той же 125-й статьи Конституции СССР. И даже пользуясь этими статьями Уголовного Кодекса, как можно придавать такое безбрежное значение слову «антисоветский», как это было сделано, например, на процессе Даниэля и Синявского? Казалось бы, под антисоветской пропагандой можно понимать пропаганду насильственного свержения советского строя, но когда под рубрику «антисоветской пропаганды» подводятся теоретические статьи о соцреализме, то это слишком напоминает пятьдесят первый год, когда муж моей тети был осужден на пять лет за то, что ему не нравились рома-

ны Шолохова и Фадеева. Мне кажется, люди, облеченные самой высокой властью, должны понимать, что там, где беззаконие возводится в закон, они сами могут в один прекрасный момент очутиться в положении Синявского и Даниэля. Сколько видных советских руководителей было в свое время осуждено после судебной комедии с заранее предрешенным результатом! До тех пор, пока мы не будем жить в правовом государстве, ни один человек, будь это ответственный руководитель или бездомный «чердачник», не будет чувствовать достаточной ответственности за свои поступки и, с другой стороны, не будет уверен в личной безопасности и справедливом отношении к себе.

Глава десятая
КРАСНАЯ ПРЕСНЯ

После суда я вновь был отведен в 5-е отделение милиции и помещен в ту же камеру, куда меня ввели впервые две недели тому назад. Там было уже двое. Один, небольшого роста, лохматый, похожий на рабочего, был пьян или сильно возбужден. Он быстро ходил из угла в угол, все время повторяя: «Неужели опять срок?» — и бился головой в стену. Как оказалось, он недавно вернулся из заключения, не получил еще разрешения на прописку. За что он попал сейчас сюда, я не понял, он невнятно говорил о какой-то раме, которую он выдавил в рабочем общежитии — то ли случайно по пьянке, то ли из хулиганства, то ли с целью кражи. Иногда он подбегал к двери и лихорадочно колотил в нее кулаками, пока дюжий старшина не вошел в камеру и с размаху не дал ему по морде, он упал на нары и больше в дверь не стучал. Другой тоже непрерывно расхаживал по камере и все время непрерывно говорил, он как будто все время задирал лохматого и обращался ко мне за сочувствием, но точно понять его было нельзя, в его речи был какой-то дефект, так что это была не речь, а какое-то непрерывное бессмысленное лопотанье. Хотя его только первый раз вызвали к следователю, он почему-то говорил, что ему уже дали якобы

три года и почему-то считал, что и мне дали три года, и все время упрекал лохматого, что тому, мол, неизвестно, какой еще срок дадут, а может быть и вообще отпустят. При этом он возбужденно хватал то его, то меня за рукав; видно было, что это сумасшедший. Так как он непрерывно лопотал и непрерывно, повторяя одно и то же, требовал от меня ответа, а у меня были нервы натянуты после суда, то я чувствовал, что, если еще немного пробуду с этим человеком, то сам сойду с ума.

К счастью, через час меня вывели и посадили в закрытый милицейский фургон; там уже сидел Киселев. Он был очень удивлен, что мне дали только два с половиной года вместо пяти. Очевидно, «судья пожалел», сказал он. Через минуту к нам подсадили какую-то женщину, на вид лет сорока, но очень потасканную и с совершенно испитым лицом. Держалась она очень бодро и весело.

— Я, ... вашу мать, на коммунистов все равно работать не буду, — сказала она, влезая в машину, — а через пять лет вернусь, дам вам прикурить.

Она высунулась из машины и стала укорять вышедшего во двор начальника отделения. Видно было, что она завсегдатай этих мест. Как я узнал, ее судили за «тунеядство» прямо следом за мной и дали пять лет; звали ее Зинка. В машине она занялась грустным подсчетом: она из детдома, в пятнадцать лет получила первый срок за бандитизм и с тех пор провела на свободе в общей сложности только восемь лет. Где-то в детдоме у нее сейчас остался пятнадцатилетний сын.

Нас отвезли снова в 60-е отделение. Меня встретили как старого знакомого, все спрашивали, сколько лет мне дали. Насколько я помню, никаких вещей на этот раз не отбирали. Дежурный старшина ввел меня в свободную камеру и сказал, что, как только соседние камеры освободятся, я могу занять любую, какую захочу; сам он советовал мне среднюю, там теплее. Однако я захотел первую камеру, где я был с самого начала. Хотя старшина был обижен, что я пренебрег его советом, вечером он перевел меня в ту камеру, куда я просил. Он принес мне также куртку, чтобы я не мерз. Я приписал это его любезности и только потом узнал, что это мои друзья уговорили его передать мне эту куртку. Так как я не знал этого, то оставил

ее при отъезде в милиции, думая, что она принадлежит этому старшине. Благодаря куртке я провел ночь более или менее сносно, хотя и не с такими удобствами, как в Бутырской тюрьме.

На следующий день, в субботу, зашел Киселев и сказал, что мы можем съездить ко мне домой и собрать вещи, которые я хочу взять с собой. Мы поехали опять на фургоне в сопровождении милиционера. Я сказал, что хотел бы проститься с отцом, но Киселев ответил, что это совершенно невозможно. Я уже просил своих друзей после суда съездить к отцу и рассказать ему обо всем, что произошло.

Дома я собирался в спешке и не знал толком, что взять. Я взял плащ, старый костюм, ватник, резиновые сапоги, несколько рубашек, подушку, одеяло, две простыни, два полотенца, нож, ложку, вилку, мыло, зубную пасту и щетку. Оказалось, что у меня нет металлической кружки, брать же чашку или стакан смысла не было. Кружку, по просьбе Киселева, дала соседка, единственная, кто не участвовала в показаниях против меня. Она еще дала пачку сахара и пакет с вареными яйцами и сосисками; сначала я отказывался, но все же взял, о чем после не пожалел. В общей сложности получился маленький рюкзак и узел, который я связал из плащ-палатки. Кроме вещей, у меня с собой было двадцать пять рублей, которые мне после суда дали мои друзья. Бóльшую сумму брать в дорогу не разрешалось. Киселев сообщил мне, что меня отправляют в Томскую область, а куда там, он не знает.

Из дому мы заехали к милицейскому фотографу в 6-е отделение, отпечатки пальцев тут уже не снимали.

Вечером того же дня за мной и Зинкой пришел «черный ворон». На прощанье Зинка спела и сплясала перед милиционерами, она опять держалась очень весело, отделение милиции называла отелем, нас интуристами, а сержанта, который помогал ей нести вещи, своим лакеем, что тому казалось очень смешным. Не надо ее отдавать, говорили милиционеры, нам без нее скучно будет. Так что мы отъехали с некоторым фурором. В машине Зинку посадили в бокс, а меня впереди, где уже сидел человек лет двадцати с небольшим, курчавый, с цыганскими, блестящими вороватыми глазами. Он все время молчал. Позже

в другой бокс посадили девушку лет девятнадцати, ее тоже как «тунеядку» высылали в Томскую область; звали ее Нина.

Я знал, что нас везут в пересыльную тюрьму на Красной Пресне, однако сквозь оконце я видел, что мы едем не в ту сторону. Машина свернула во двор, закрылись ворота, и я понял, что мы во дворе Уголовного розыска на Петровке, 38. Через несколько минут к нам втолкнули еще одного человека. В машине было темно, но его голос показался мне знакомым. Он тоже узнал меня: это был не кто иной, как мой старый знакомый — фотограф, с которым я сидел вместе две недели тому назад. Я спросил, как он попал на Петровку, ведь его же должны были судить как «тунеядца» и давно уже выслать из Москвы. Он сказал, что сам ничего не понимает. Его судили на следующий же день, как мы расстались, судил Чигринов и дал ему три года: на суде был общественный обвинитель, который требовал двух лет, но судья нашел, что этого мало. Мать принесла ему в камеру вещи, участковый сказал, что его высылают в Алтайский край. Но на следующий день после суда, в среду, его неожиданно отвезли в уголовный розыск и поместили здесь в общей камере. По его словам, его ни разу не допрашивали и ничего ему не объясняли. Сегодня так же неожиданно и без всяких объяснений его вызвали из камеры, вернули вещи и вот сейчас посадили сюда. Выходило, что его продержали в угрозыске все время, пока я был в Бутырской тюрьме и решался вопрос, как и за что меня судить.

За десять дней фотограф набрался здесь много новых впечатлений от своих соседей по камере. Я запомнил его рассказ о шофере такси, вовлеченном в банду, орудующую около больших вокзалов. Используя как приманку проституток, они занимались грабежом и вымогательством. Обычно девушка должна была завлечь какого-нибудь более или менее обеспеченного на вид приезжего, затем она подводила его к нужному такси. Едва они отъезжали, как в машину с двух сторон подсаживались ее компаньоны и, выдавая себя за дружинников, шантажировали и обирали вздумавшего поразвлечься провинциала. Иногда делали проще: девушка завозила своего кавалера куда-нибудь в отдаленный и безлюдный район, следом на второй машине ехали ее сообщники, выводили свою жертву и, угрожая побоями и убийством, отбирали вещи и деньги. В банде

было, кажется, семь парней и две девушки. Награбленных денег, я думаю, им хватало только на ежедневный ночной пропой, а на следующий день приходилось идти опять дежурить у вокзалов, как на работу. Этого шофера вовлекли в дело так. К нему на стоянке подошел парень и сказал: «Шеф, хочешь заработать пятерку?» Потом за каждую ездку он получал пять или десять рублей, в зависимости от богатства клиента. Естественно, что такая грубая работа не могла долго продолжаться и все были арестованы. Шофер все время хныкал в камере, что он семейный человек и член партии и как раз за день до ареста ходил сюда же на Петровку, хотел донести на всех, но побоялся.

С Петровки мы заехали в Бутырскую тюрьму и там забрали еще одного пассажира, разговорчивого блатного лет тридцати с лишним. Его вызывали из Владивостока в Москву для очной ставки с «подельником», то есть обвиняемым, привлеченным по одному с ним делу, а теперь отправляют обратно. Я спросил, сколько времени заняла дорога от Владивостока. Он сказал, что около двух месяцев. Такой долгий срок объясняется тем, что заключенных перевозят не прямо из места отправки к месту назначения, а по этапу, то есть от одной пересыльной тюрьмы до другой, где формируют новую партию и опять отправляют до следующей пересыльной тюрьмы. Такая система сложилась еще в то далекое время, когда заключенных гнали в Сибирь пешком. По дороге им и конвою требовался отдых. Поэтому на всем великом каторжном пути были устроены так называемые этапы и полуэтапы, то есть тюрьмы для отдыха и переформировки партий. Сейчас, конечно, заключенных везут по железной дороге, но принцип этапов остался тот же. Как все это устроено на практике, я расскажу дальше.

На Пресню мы приехали уже поздно вечером. Нас поместили в камеру с сырыми коричневыми стенами, но быстро вывели оттуда для обыска и медосмотра. Вещи просмотрели очень небрежно, а личный досмотр ограничился похлопываньем по карманам. У меня забрали часы, нож с вилкой и деньги. Я спросил, есть ли здесь ларек, ларька не было. Нас двоих, фотографа и меня, повели с вещами в камеру на первом этаже. В коридоре, слева и справа от двери, висело два плаката. На первом было написано: «Труд на благо общества —

священная обязанность каждого человека!» На втором: «Четкое выполнение требований режима — первейшая обязанность каждого заключенного!» Камера была раза в два меньше, чем в Бутырке, напротив двери было окно, посередине стоял стол, а слева и справа шли двухъярусные сплошные нары, справа они немного не доходили до двери: там был унитаз и раковина. На нарах спало несколько человек, один из них зашевелился, поздоровался с нами и спросил, куда нас сослали. Оказалось, что и он в Томскую область. Через полчаса нас сводили в баню, а после выдали миску и ложку, никаких других вещей не полагалось. Вернувшись в нашу камеру, я положил под голову рюкзак и лег спать на нижние нары, чтобы свет не бил в глаза.

На Пресне я провел несколько дней. Режим здесь был примерно тот же, что и в Бутырской тюрьме, но только все делалось весьма небрежно, ввиду того, что мы здесь были временными жильцами, вроде транзитных пассажиров. Поверка тоже была три раза в день, но только мы не выстраивались, а валялись где попало, так нас по углам и подсчитывали. За подъемом никто не следил, и все вставали только к завтраку. Дежурные назначались, но они только небрежно мели пол. Иногда некоторых вызывали убирать освободившиеся камеры, однако, хотя это делалось в форме приказа, можно было и не ходить. Впрочем, по большей части идти соглашались; это служило хоть каким-то развлечением. На прогулку выводили каждый день, но опять же можно было и уклониться от этого. Репродуктор сломался, и радио только иногда невнятно начинало бормотать. Давали шашки и домино, но некомплектные; ни книг, ни газет вообще не было. Зато кормили несколько лучше, чем в Бутырской тюрьме: сахара давали два с половиной кусочка и суп был гуще. Тем, кто в тот день ходил убирать камеры, наливали сверху суп пожирней.

На второй день я смог познакомиться со своими товарищами по несчастью. Все они были «тунеядцы», и всех, как я думаю, погубила водка. Один был с меднокрасным лицом и крепкими руками, по виду чернорабочий; перед судом он провел две недели в горячке в тюремной больнице, однако его приговорили не к принудительному лечению от алкоголизма, а к ссылке. Был человек неопределенных лет и очень маленького роста, но

видно, что бывалый. Он охотно рассказывал разные любопытные истории про лагерных педерастов и, к большому удовольствию всех присутствующих, мастерски пел похабные частушки. Он говорил, что дело против него возбуждают уже третий раз, два раза отпустили, а на третий все же решили сослать. Он был печником где-то под Москвой и как печник работал, конечно, по вольному найму. Еще один, лет сорока пяти, был сапожником; при отсутствии каких-либо материалов он ухитрялся починять некоторым обувь в камере. Был он очень добродушный и веселый, почему-то ему дали прозвище Мобуту; меня он невзлюбил «за гордость». Был еще старик, на вид лет шестидесяти или семидесяти, его всё время била дрожь, так что он ложку еле держал; в действительности ему было пятьдесят пять лет, и ему дали пять лет ссылки как раз до пенсии. Был он очень изнурен, я несколько раз отдавал ему свой суп, и он с жадностью поедал его. Я встретил потом еще несколько таких людей, и каждый раз суд давал им срок точно до достижения пенсионного возраста, потому что далее человек уже считаться «тунеядцем» не может: если оставалось пять лет — давали пять, если три — давали три, два — что ж, получай свои два. Был еще симпатичный и скромный человек, как оказалось, майор в отставке, до службы в армии он работал учителем. Он страдал запоями и года два уже нигде не работал, кормила его жена — директор магазина. Денег на водку им всем, конечно, на воле не хватало, и пили что попало, даже политуру для мебели и клей БФ — их любовно называли Полина Ивановна и Борис Федорович.

Состав камеры все время менялся: одних отправляли, другие прибывали вновь, всех я уже не помню. Первых следом за нами привезли, по-моему, Колю и Леву: их судили одного за другим. Коля был лет тридцати; по виду какой-нибудь техник, он потом подружился с фотографом. Лева показался мне стариком лет шестидесяти, на моих глазах, лишившись спиртного, он постепенно молодел: ему было всего тридцать пять лет. До того, как он начал пить, он был профсоюзным активистом и до сих пор никак не мог понять метаморфозы, которая с ним произошла. При каждом повороте ключа в двери он бросался с нар, думая, что это пришли его освобождать по ходатайству профсоюзной организации как хорошего советского парня. Впрочем, если мне

потом приходилось видеть людей, которых ссылали, если они месяц не проработали, то с Левой возились несколько лет. Он несколько раз получал предупреждения, устраивался работать, потом бросал или его выгоняли за прогулы, устраивался снова, раз десять получал по пятнадцать суток, а сколько раз побывал в вытрезвителе, он и забыл. На суде ему все это вспомнили, но дали только три года. По-видимому, он был бичем своей семьи. Он с гордостью рассказывал, что у его матери и сестры высшее образование, сам же он кончил только четыре класса. Характер у него был наредкость вздорный, он все время с кем-нибудь заводил пререкания и ссоры. Со мной у него разгорелся спор из-за унитаза. Все пьяницы в камере были крайне нечистоплотны, и мне стоило больших усилий приучить их открывать воду во время отправления потребностей, чтобы в камере не пахло. Хоть и нехотя, но они подчинились. Один Лева не желал не только сразу открывать кран, но даже спускать мочу за собой, говоря: «Какой, мол, интеллигент, в жизни и не то нюхать придется». Остальные, сами все же воду спуская, следили за нашей борьбой с благожелательным для Левы нейтралитетом. Моя непохожесть на остальных вообще его все время волновала и беспокоила, и он то и дело пытался как-то поддеть меня, придумав мне кличку «студент прохладной жизни». Многих интересовало, почему я наголо обрит, ведь ссыльных не бреют. Я сказал, что был в тюрьме, но о деле своем говорить избегал. Это породило у Левы самые необузданные догадки, о которых я еще скажу дальше.

Затем в камере появился Борис, детина здоровенного роста, лет под сорок, с белобрысыми волнистыми волосами, большой любитель покоя, так что он даже на прогулку никогда не хотел выходить. Он работал где-нибудь грузчиком или сторожем, потом запивал, его увольняли за прогул, с такой пометкой в трудовой книжке устроиться на работу было уже труднее; все же он куда-нибудь устраивался, но там опять запивал и прогуливал. Все же, по его словам, его бы не сослали, если бы не жена, которую он иначе не называл, как «моя проститутка». Он имел уже две судимости в молодости, но теперь как он говорил, «уже годы не те, чтобы сидеть». Вообще же, в отличие от Левы, он был житейским конформистом и со всеми держался вежливо.

Как-то ночью ввели молодого человека с немного унылым,

безвольным, но приятным лицом и тихим голосом. Звали его Толя. Постепенно он разговорился, и оказалось, что его ссылают уже второй раз, всем поэтому было интересно узнать у него, как живут «тунеядцы» в Сибири. Он отвечал, что плохо, что сибиряки встречали сначала хорошо, говорили: мы сами бывшие ссыльные, но когда увидели, что за рвань и пьянь к ним прислали, то отношение резко изменилось; в Красноярском крае, где он был, крепкие мужики: бывшие кулаки, власовцы, латыши, не любящие праздного народа. Все сокрушенно кивали головами и приговаривали: «Да, испоганили Красноярский край, испоганили», — и радовались, что сосланы не туда. Сам Толя, на мой взгляд, был человеком неплохим, но таким, которого одинаково легко подбить как на хорошее, так и на плохое дело, лишь бы это дело не требовало от него длительных усилий. Он тоже, как и Лева, был вроде отщепенца в своей семье. В детстве он попал в колонию, школу не кончил. Начал работать продавцом — у него завелись деньги, появились дружки, и он начал пить. В 1962 году его выслали, дали всего два года. В леспромхозе, где он работал, он еще больше приучился пить. Я спросил его, ушел ли там кто-нибудь «по половинке», но он только усмехнулся. Когда он вернулся в Москву, оказалось, что в его комнату вселили других жильцов: по существующему законодательству, квартиросъемщик, отсутствующий более шести месяцев, теряет право на жилплощадь. С одной стороны, его как административно-высланного обязаны были по возвращении прописать, но, с другой, ему отвечали: нам вас прописывать негде, поскольку вы уже лишились права на площадь на общих основаниях. Что он шесть месяцев не по своей воле отсутствовал, это в расчет не принималось. После нескольких месяцев хлопот и писем в газеты его согласились прописать у матери, но временно, на шесть месяцев. Без прописки он вообще никуда на работу устроиться бы не смог, а с временной пропиской его тоже не очень хотели брать. Так он эти шесть месяцев пристраивался куда-нибудь временно подработать, после чего ему прописку не продлили и вновь судили как «тунеядца»; на этот раз ему дали уже все пять лет. Видно было, что он уже подхвачен течением и выбраться у него не будет сил; я еще скажу о нем далее.

За день до моего отъезда прибыла большая группа «туне-

ядцев», человек шесть-семь, все они, кажется, шли на север, в Коми АССР. Я разговорился с одним из них, мальчиком восемнадцати лет. Он в прошлом году кончил школу, в институт не поступил, месяца четыре поработал, но работа ему не понравилась, и он ушел. Потом еще так же неудачно устроился месяца на три, с тех пор, как он говорит, «ничего не делал», то-есть, по-видимому, попросту простаивал в подворотне или бестолку слонялся с ребятами своего возраста. Конечно, тут мало хорошего, но, казалось бы, таким ребятам нужно помочь найти свое место, а не сажать их. Однако дело пошло — три года ссылки, обработка в блатной компании, отказ в прописке, и человеку уже не вырваться из этого круговорота. Позднее, в Свердловской тюрьме, я еще встретил несколько таких мальчиков восемнадцати-девятнадцати лет, к ним же можно отнести и девятнадцатилетнюю Нинку. Даже с точки зрения бесчеловечного Указа 1960 года — какие это «тунеядцы»? Наряду с полупенсионерами, эти полудети — одна из самых грустных категорий среди ссыльных.

Пребывание в пересыльной тюрьме еще более невыносимо, чем в следственном изоляторе, поэтому отправки ждешь чуть ли не как освобождения. Пьяницы коротали время, вспоминая, как хорошо им жилось на воле. Обычно, если они не работали, их день проходил так: уже с утра они собирались компаниями около какого-нибудь шорного магазина, покупали вскладчину бутылку политуры, забалтывали ее и где-нибудь во дворе выпивали; если хватало денег, повторяли это еще раз и после гуляли в блаженном состоянии, пока не возвращались домой или не попадали в вытрезвитель. Один пьяница уже позднее, в Свердловске, с умилением вспоминал, как его, вдрызг пьяного, почти в бессознательном состоянии лежащего с бутылкой клея БФ в руках, задержал милицейский патруль; однако дежурный по отделению, куда его доставили, боясь как бы он тут у них не отдал концы, сказал милиционерам: «Везите его скорее туда, где взяли, так же положите и эту бутылку суньте в руки». Однако он не только не умер, но успел еще и в ссылку угодить. В таких компаниях попадались и женщины-пьяницы, как правило, еще более отчаянные, чем мужчины. Я помню рассказ Бориса, как где-то в подмосковном лесочке прямо в разгар любовной игры одна такая женщина незаметно вытащи-

ла у него из кармана три рубля. Как он ни бил и ни тряс ее потом, она так ловко запрятала деньги, что найти их уже не удалось.

Все ругательски ругали Хрущева, считая его инициатором указа о «тунеядцах» и говоря, что вот, мол, при царе ссылали в Сибирь политических преступников, а при Хрущеве и до простых забулдыг добрались. Называли его не иначе, как «лысый боров»; здесь я впервые услышал стишок, который часто потом слышал от колхозников:

Жили-были три бандита:
Гитлер, Сталин и Никита.
Гитлер вешал, Сталин бил,
Хрущев голодом морил.

Возник еще разговор, кажется уже позднее, в дороге: откуда взялось само слово «тунеядец»? Сколько я ни уверял, что это старое русское слово, означающее: тот, кто втуне ест хлеб, мне никто не верил. Все почему-то считали, что Хрущев это слово услышал впервые во Франции и оттуда завез в Россию. Говорили также, что этой весной забрали особенно много «тунеядцев», потому что оказался недовыполнен план «по тунеядцам», и еще, что за каждого «обнаруженного тунеядца» участковый уполномоченный милиции получает по десять рублей. Разговоры эти, впрочем, я слышал и раньше.

Наконец, третьего июня нам велели приготовиться с вещами. К этапу были назначены: фотограф, Коля, майор, Борис, Толя, Лева, меднолицый и я. Все мы, кроме фотографа, Коли и меднолицего, шли в Томскую область. Перед отправкой глухое недовольство, которое скопилось против меня у «тунеядцев», вылилось в открытую форму. Столкновение произошло из-за бритья. За время пребывания в КПЗ и в тюрьме у всех уже отрасла порядочная щетинка, и теперь перед отъездом все решили побриться. Кто-то выпросил у начальника лезвие, а станок, мыло и кисточка нашлись у одного из заключенных. Я тоже не отказался бы побриться, но у меня очень чувствительная кожа, лезвием я постоянно резался и потому уже очень давно брился электрической бритвой, я ее не взял с собой, потому что не был уверен, что там, куда меня сошлют, есть электричество. Бриться же тупой грязной бритвой и чужой кисточкой

мне не хотелось, тем более, что оброс я не так уж сильно. Поэтому я сказал, что бриться не буду. Это и вызвало раздражение остальных «тунеядцев»: ах он какой, не хочет бриться, как все! Считает себя лучше нас! Вокруг меня создалась атмосфера пустоты и враждебности. Однако я не уступил их настойчивым требованиям, так как аргумент «будь таким, как все» на меня никогда не действовал. Этот эпизод еще более обособил меня от тех, с кем мне предстояло проделать путь до Томска.

К вечеру нам вернули наши вещи и выдали пайку на дорогу. На день пути полагалось 2 кусочка сахара (15 г), буханка черного хлеба (1 кг) и полселедки. Нам дали пайку на два дня, так что можно было думать, что нас повезут до Свердловска. Затем нас ввели в этапную камеру, то есть камеру, предназначенную для партий, уже сформированных к отправке. Там уже сидело несколько человек; среди них я узнал владивостокца и цыганистого юношу, уже остриженного наголо. Он действительно оказался цыганом, из Ижевска. Он украл в Ижевске деньги и уехал в Москву, где скитался около недели, ночуя на вокзалах. Тем временем был объявлен всесоюзный розыск, на одном из вокзалов его задержали и теперь отправляли для суда обратно в Ижевск.

В десять часов нам устроили поверку и вручили наши документы начальнику конвоя. На каждого был запечатанный пакет с его делом, сверху была приклеена фотография, а также указана фамилия, имя и отчество, год рождения, место высылки и срок. У меня на конверте по ошибке было написано «два года». Нас вновь прошмонали, на этот раз уже конвойные, молодые ребята, отбывающие срочную службу во внутренних войсках. У меня опять отобрали нож и вилку, которые затем передавались от конвоя к конвою, пока окончательно не исчезли.

Глава одиннадцатая
СТОЛЫПИНСКИЙ ВАГОН. СВЕРДЛОВСК

Сквозь оконце «черного ворона» было видно, что нас везут в сторону Комсомольской площади, к «трем вокзалам». Машина свернула в какой-то тупик, мы выпрыгивали поодиночке и сквозь дыру в заборе выходили к железнодорожным путям. Кругом стояла охрана с собаками. Был пасмурный вечер, моросил мелкий дождь. Раздалась команда: «Разберись по-двое! Следовать в пятнадцати шагах за разводящим! Выход из рядов считается побегом!» Спотыкаясь, мы пошли между путями к стоящим впереди метрах в трехстах закрытым вагонам. Нагруженные вещами, мы походили не столько на группу заключенных, сколько на мешочников времен гражданской войны. Последними ковыляли Нинка и Зинка, которых этапировали вместе с нами.

С трудом мы взгромоздились в вагон, нас всех, кроме Нинки и Зинки, тут же втолкнули в зарешеченное купе, там уже на нижних и верхних скамейках сидело несколько человек. Соседние купе тоже были забиты. Это был так называемый столыпинский вагон, специально предназначенный для перевозки заключенных. Был потом в дороге спор, почему такие вагоны называются столыпинскими; некоторые говорили, что по имени изобретателя, хотя изобретения, собственно, никакого и нет; в действительности они так называются по имени П. А. Столыпина, царского премьер-министра и министра внутренних дел после первой русской революции, при котором они впервые были введены; так что устная традиция насчитывает уже шестьдесят лет. Конечно, наш вагон был совсем новенький, но принцип устройства был такой же. На одной стороне вагона были зарешеченные окна, и тут шел сквозной коридор из конца в конец вагона, по которому прогуливались конвойные; с другой стороны были купе, но в отличие от обычного вагона отделенные от коридора не стеной, а стальной решеткой. Сами купе гораздо уже, чем в обычном вагоне; в них три узеньких полки с одной стороны и три с другой, и еще одна откидная, соединяющая обе вторые полки, так что остается только отверстие возле решетки, чтобы можно было пролезть наверх, всего получалось семь лежачих мест. Окон в купе не было.

Во всем вагоне стоял страшный шум. Прибывающие партии сначала распихивали по купе как попало, а потом выкликали людей поодиночке, обыскивали и распределяли по купе уже в зависимости от статьи и срока. Как можно было понять, все были уголовники. Несколько человек уже выкликнули из нашего купе, и стало немного посвободнее. Тут уголовник из Владивостока сказал нам: «Ребята, вы идете на волю, а мне еще отбывать срок, мне они все равно не нужны — купите у меня по дешевке костюм и часы». Он снял с себя костюм и начал нахваливать: такой-де костюм стоит на воле сто рублей, вы его в Сибири в два счета загоните. Это было явным преувеличением, но все равно за костюм он просил только десять, а за часы пять рублей. После долгих колебаний костюм купил Лева, а часы Борис; о судьбе этих вещей я еще скажу. Продавец остался в рубашке, кто-то дал ему драные брюки. Пятнадцать рублей он пропил еще в дороге — конвойные продавали из-под полы водку по пять рублей за бутылку и чай по рублю за пачку.

Наконец дошла очередь до нас. Нас, семерых «тунеядцев», поместили в отдельное купе, так что предстояло ехать с относительным комфортом: на каждого было по спальному месту. Я улегся на самую верхнюю полку...

Через два часа оба вагона подцепили к пассажирскому поезду, и мы поехали. Ощущение движения — очень странное чувство: хотя ты и за решеткой, но все равно движешься куда-то. Днем я часто стоял у двери, глядя сквозь решетку и окно в коридоре на далекие серые поля и татарские деревни. Мы ехали на Свердловск через Казань.

Все гадали, что нас ждет в Томской области и куда пошлют работать: в колхоз, чего все боялись, или в леспромхоз? Красномордый «тунеядец», которого сослали в Алтайский край, но который раньше бывал в Томске, пугал нас рассказами о страшных Суканских болотах на западе области, где нам якобы всем суждено погибнуть. Он рассказывал истории времен коллективизации о Фомкиной избе, где среди болот жил некий Фомка, он брался за крупное вознаграждение выводить ссыльных кулаков, которые хотели бежать из болот домой. Он вел их километра два, а потом говорил: «Идите дальше по этой тро-

пинке, и выйдете на сухое место». Тем, кто шел по этой тропинке, уже никуда не было возврата.

В дороге я оголодал на одной селедке и черном хлебе. Пятеро из нас образовали нечто вроде товарищества, сложили вместе свои продукты и ели более или менее ничего; я и Лева не присоединились к ним: я — потому что вообще, как я сказал, держался обособленно и потому что у меня уже не было никаких своих продуктов, а Лева — потому что у него, наоборот, был огромный мешок с салом и сухарями, которыми он не хотел ни с кем делиться. Всем от селедки очень хотелось пить. Конвойные время от времени вешали на решетку маленькие бачки с тепловатой грязной водой, но ее хватало не надолго. На оправку выводили четыре раза в день, одного за другим; это соответственно называлось по-легкому и по-тяжелому. В уборной тоже было зарешеченное окно, дверь запирать не разрешалось. Воды в умывальнике не было, так что нельзя даже было вымыть руки, жирные от селедки. Засиживаться конвойные не давали, им надо было пропустить целый вагон.

Веселое оживление наступало, когда на оправку выводили Нинку и Зинку; они, а потом еще несколько женщин, сидели в самом удаленном от уборной купе, так что их вели через весь вагон. Изголодавшиеся заключенные приникали к решеткам, такого обилия непристойностей мне никогда не приходилось слышать.

— Зинка, — кричал кто-нибудь голосом, полным дружелюбия, — сала хочешь? — и даже показывал кусок сала. И если Зинка что-нибудь отвечала на это, не обязательно даже, что она хочет, голос сразу же под хохот всего вагона отвечал: «А ... не хочешь?»

— Зина, — кричали уже из другого купе.

— А?

— У тебя ... как корзина! — и снова улюлюканье. Я привожу самые невинные фразы. То же повторялось и с Нинкой, и с любой другой женщиной.

О Зинке, пока она проходила по вагону, делались нелестные замечания, что, мол, дешевка, стара и вообще пора на помойку. Зинка как-то обозлилась на одного чересчур критически настроенного уголовника: ты, мол, еще бы счастлив был, если бы я тебе дала. «Сейчас, может быть, — серьезно согласился тот,

— а на воле ты мне и задаром не нужна». Попадались некоторые совершенно патологические типы. Так, один уголовник, уже на перегоне Новосибирск-Томск, упрашивал Зинку, чтобы она подарила ему свои трусики и лифчик, пока тронутая Зинка не передала их ему через конвоира. На одном из последних перегонов прошел слушок, что в женском купе якобы какая-то новенькая — Алла, потому что девицы говорят, что надо, мол, Аллочку проветрить. Однако некоторые отрицали, так как никто новенькую не видел. Как оказалось, Аллочка и Алик — на жаргоне проституток обозначения женских и мужских половых органов.

Несмотря на ажиотаж вокруг Нинки и Зинки, мои товарищи все время с удивлением отмечали, что им совершенно не требуются женщины, объясняя это тяготами тюремного существования. Правда, у одного из них, Бориса, однажды во время сна, как можно было видеть через брюки, восстало его мужское естество, но это был столь необычный случай, что не только все «тунеядцы» всполошились, но даже конвойные подошли посмотреть.

Еще громче улюлюканье поднималось, когда по вагону проходили не женщины, а милиционер. Поезд шел с частыми остановками, и на многих станциях ссаживали или подсаживали новых заключенных, которых принимала и сдавала местная милиция. «Мусор! Лягавый!» — надрывались во всех купе, пока фигура в синем мундире с пакетом подмышкой рысцой пробегала по коридору.

Наши же молодые конвоиры разгуливали по вагону с равнодушным видом: мол, мы все видали, нас ничем не удивишь. Но и на них нашелся обличитель. Фотограф, который раньше служил во флоте, укорял их все время: разве это служба — заключенных возить, вы так свой срок в армии отслужите, а настоящей армейской службы и не узнаете. Те смущенно помалкивали.

На третью ночь мы прибыли в Свердловск. Здесь повторилась та же процедура: «черный ворон», долгое сиденье в боксах, обыск и баня. В бане нас, впрочем, ждала малоприятная неожиданность: всем велели выстричь волосы в паху. Нам дали несколько машинок для стрижки, и, стыдливо разбредясь по углам предбанника, мы неумело выстригли себе волосы, после

чего нас взыскательно осмотрели банщик и врач. Нам выдали по матрацу, ложке и кружке, а все наши вещи, за исключением продуктов, пришлось сдать в кладовую на хранение. В камеру нас повели только около двух часов дня. Я чуть не отшатнулся на пороге и особенно остро почувствовал тюремную тоску. Такого тяжелого зрелища я еще не видел. Камера была тридцати-сорока квадратных метров, с двухъярусными нарами, расположенными буквой Г, она была битком набита людьми, стоял сильный смрад. Дверь была решетчатая, из толстых прутьев, как клетка в зоопарке. Сделано это было, чтобы проветривалась камера, и была еще вторая сплошная дверь, но вид камеры-клетки сначала очень тяжело подействовал на меня. Мы с трудом нашли место на нарах, они были рассчитаны на шестнадцать человек внизу и шестнадцать вверху, если положить матрасы впритык друг к другу. Сейчас в камере было около тридцати человек, но говорили, что еще два дня назад было свыше пятидесяти. При мне число заключенных доходило до сорока шести, тогда многие спали просто на полу под нарами. Толя уверял, что это еще ничего, что когда его выслали в первый раз, на второй год после введения указа, то даже весь тюремный клуб был заполнен ссыльными, так что лежали друг на друге. Ни унитаза, ни умывальника в камере не было; стояла лишь параша у дверей, прикрытая крышкой. Туда можно было только мочиться, а «по-тяжелому» выводили два раза в день — утром и вечером — и несколько человек усаживались как по команде в ряд на корточки над каменным желобом. Тем, у кого был больной желудок, приходилось, конечно, плохо, потому что никакие мольбы выпустить раньше срока не действовали. Через два дня в связи с ремонтом нас всех из этой камеры перевели в другую, впрочем, совершенно такую же, за тем исключением, что она находилась в женском корпусе и охрану несли женщины. У фотографа даже начался небольшой роман с одной из надзирательниц, молоденьким младшим сержантом с необыкновенно худыми ножками.

Меня поразило, как много в камере беглецов-«тунеядцев», бежавших с мест поселения, снова пойманных и теперь вновь этапируемых на прежнее место. В большинстве своем это были свердловчане, которых высылали в Свердловскую же область, — но на север, километров на 600-900 от города, — но были и из

других городов. Бежали главным образом из колхозов. Я на-но на север, километров на 600-900 от города, но были и из потому что все продукты на месте, но беглецы только улыбались на это. Впоследствии я сам узнал, что такое колхоз. Как правило, бежать удается на срок от нескольких часов до нескольких месяцев, за побег могут дать год лагерей, могут и меньше. Когда беглец отбудет срок в лагере, его, как я уже говорил, возвращают отбывать оставшийся срок ссылки, но оттуда он снова бежит. Бежит, оттого что он на чужой стороне, что у него дома мать, или жена, или невеста, что ему ненавистна работа, которую его принуждают делать, оттого, что ему есть нечего, особенно в колхозе, оттого, наконец, что он считает, что он конченный человек и ему все равно нечего терять. Его опять ловят, опять лагерь и опять ссылка. Так годами и продолжается эта борьба, с отчаянием безнадежности с одной стороны и тупой и бессмысленной жестокостью с другой.

Из беглецов, которых в нашей камере за десять дней перебывало человек пятнадцать, я хорошо запомнил двух. Один, довольно интеллигентного вида, все время молча лежал на нарах, почти ни с кем не разговаривал. Он бежал первый раз; когда я его спрашивал: почему? — он отвечал: «Попадешь в колхоз — сам побежишь». А на вопрос, что же он будет делать, когда его доставят на место, равнодушно отвечал: «Опять сбегу». Другой беглец, блатной, был совершенно другого типа, очень общительный и, как принято говорить, заводной. Звали его Володька, было ему около тридцати лет. Он, по его словам, бежал уже восьмой раз с 1960 года, почти на месте ссылки и не был, а все время сидел в лагерях за побеги. Он тоже собирался опять бежать, как только его подруга пришлет ему из города деньги. На положение «тунеядцев» он смотрел как на некое подобие античного рабства и каждый раз, возвращаемый на место поселения, приветствовал коменданта словами: «Начальник, принимай раба». Он рассказывал много любопытного. Как, например, прежнего коменданта, очень жестокого, «тунеядцы» чуть не утопили: столкнули с пристани в реку прямо в шинели и смотрели, как он барахтается; он выплыл, но перешел в другой район. Или как за день до приезда Неру в Свердловск милиция с непривычки к визитам важных иностранцев арестовала всех блатных в городе и выпустила только после отъезда

Неру, задним числом придумав каждому какое-нибудь обвинение. Когда приезжал Кастро, этого уже не было, и Володька сам приветствовал его в толпе свердловчан, только что сбежав из ссылки. Еще он рассказывал, как его вербовали в народную дружину и жестоко избили за отказ; через несколько лет он встретился с начальником этой дружины в пересыльной тюрьме, куда тот сам успел попасть, того вводили в камеру, а Володьку выводили, он и слова не успел сказать.

Кроме «тунеядцев», в камере было довольно много ссыльных, получивших ссылку как дополнительную меру наказания после отбытия срока в лагере. Они находились в более выгодном, чем мы, положении: день тюрьмы засчитывался им за три дня ссылки, и таким образом, если они месяц шли по этапу от лагеря до места поселения, им скашивалось три месяца. «Тунеядцам» же срок отсчитывался со дня суда, независимо от того, сколько они потом пробудут в пересыльных тюрьмах и сколько на месте. Правда, им предоставлялась льгота отбывать только половину срока «в случае добросовестной работы», какой не было у уголовных ссыльных, но во что оборачивалась эта льгота на деле, я еще скажу.

Эти ссыльные по преимуществу блатные, хотя и не только блатные. Наиболее колоритной фигурой среди них был старый щипач по прозвищу «дед»: человечек маленького роста, рыжебородый, щетинистый, ходил всегда в подштанниках и нижней рубашке. Спал он на полу, ни с кем ни о каком деле не заговаривал, но про себя все время что-то бормотал, о каких-то четырехстах рублях, габардиновых отрезах, о женщинах, своих любовницах, — всё почему-то еврейках, — причем несколько раз приговаривал: «Сейчас уже не е..., только письма пишу». Блатные помоложе над ним посмеивались и задирали его, тот довольно виртуозно по матери отвечал им и добавлял иногда: сейчас-де я хожу в подштанниках, а через неделю вы меня на воле встретите в сапогах, фуражке и габардиновом пальто, — высшая, по его мнению, степень роскоши. Никто в такую встречу, впрочем, не верил, хотя бы уже потому, что никто через неделю не рассчитывал очутиться на воле. Было этому «деду», как ни странно, всего тридцать восемь лет. Трудно сказать, был ли он действительно ненормальный или «придурялся».

С одним из первых познакомился я с блатным из Москвы,

Валькой. Его в свое время тоже должен был судить Чигринов. Он встретил Вальку за день до суда и сказал: «По твоей статье максимальный срок пять лет — вот завтра ты у меня пять лет и получишь». Однако на следующий день Чигринов заболел, Вальку судила женщина и дала ему три года, а за что — я не знаю. Двое его приятелей по лагерю — они вместе сидели в Ивдельлаге в Свердловской области — шли по 144 статье, оба были воры: Сашка, лет тридцати пяти, и Генка, лет под тридцать. Сашка был небольшого роста, у него уже отрасли вьющиеся волосы, с лицом нервным, подвижным, но вместе с тем в его лице было что-то неприятно застывшее. Большую часть своей жизни, как я понял, он провел по тюрьмам и лагерям, имел даже две фамилии, так его и выкликали. Был немного начитан; кроме обычного в таких случаях Есенина, читал даже по философии что-то. Говорил мне, что хотел учиться, но «не удалось», что ему «лагерь был университетом». Он хотел вроде бы и теперь на воле учиться и все надеялся попасть в ссылку в одно место со мной, чтобы я помог ему, но в конце концов мы попали в разные места. Он немного удивлялся тому, что я попал в тюрьму, и говорил, что теперь я могу увидеть совсем новый для себя мир, что он давно ко мне присматривается и удивляется моей выдержке, тому, как я спокойно веду себя в обстановке для меня явно чуждой. Я, надо сказать, к нему настоящей симпатии не чувствовал. Гораздо симпатичнее мне был второй вор, Генка, с невозмутимым лицом, крупным носом и черными коротенькими волосами. Держался он очень скромно, но со спокойной уверенностью. Он из Москвы, мать его работает медсестрой, а отца нет. Воровать он начал с детства, но теперь, после нескольких сроков, как я понял, хочет бросать.

С блатными во все время следования по этапу у меня отношения были хорошие, тогда как с «тунеядцами» несколько раз портились. И здесь, в Свердловске, у меня произошло столкновение с некоторыми из них, потому что я, по их мнению, когда камера немного освободилась, занял лучшее место наверху у окна, а на них от моих шагов по нарам сыпался мусор. От меня хотели, чтоб я спустился вниз, но я не уступил и остался на своем месте.

Дня через четыре после нас, в Свердловск прибыла еще одна партия «тунеядцев» из Москвы, почему-то всё старики или

мальчики лет восемнадцати-девятнадцати. Один старик на радостях облобызался с Левой — оказывается, они были завсегдатаями одного и того же шорного магазина, где покупали политуру. Старик с грустью рассказал, что забрали многих пьяниц, а сам он попался, когда пьяный заснул на улице Горького.

Все вообще «тунеядцев», которых я видел в дороге, а впоследствии в Сибири, можно условно разделить на четыре группы. Первая, самая большая группа — это «тунеядцы»-пьяницы. Сюда относятся люди, которые постоянно работали, но потом в силу каких-то обстоятельств запили, прогуляли и были уволены с работы, как, например, один молодой шофер из Ленинграда, который запил, когда у него мать умерла, четыре дня пил, был уволен с работы и месяц прошатался без дел, пока не был арестован; сюда же относятся и хронические алкоголики, которые систематически пьют и просто уже не могут работать, а нуждаются в лечении. На месте поселения они, естественно, продолжают пить еще больше. К ним же можно отнести и наркоманов, или, как их называют, наркомов. В ссылке они на последние деньги добывают опиум у ветеринаров или еще какие-нибудь наркотики. С одним таким наркоманом я познакомился в Свердловской тюрьме; ему двадцать восемь лет, но у него уже совершенно больное сердце, в камере ему несколько раз в духоте делалось плохо. Он был сослан из Петушков под Москвой на Амур, где надеялся сразу же получить группу инвалидности, утаив от врачей, что он наркоман. Ко второй, меньшей группе, принадлежат «тунеядцы»-мастеровые, то-есть по-настоящему никакие не «тунеядцы», а самые что ни на есть работяги — плотники, печники и так далее, которые работали по вольному найму и какое-то время ни на какой официальной работе не числились. С таким «тунеядцем», плотником из-под Пскова, я тоже познакомился в Свердловске, он относился ко мне очень дружелюбно, даже дал мне свою ложку, когда мою украли. Он ругал пьяниц и блатных и все хотел скорее добраться до места высылки, поселиться у каких-нибудь степенных людей на квартире и заняться своим плотницким ремеслом. К третьей группе относятся «тунеядцы»-блатные, то есть блатные, которых милиция все время держала на учете, но, не сумев завести на них уголовных

дел, «оформила» как «тунеядцев». Это, например, Володька, о котором я говорил раньше. Как правило, такие «тунеядцы» на месте ссылки непременно попадают в лагерь, об этих ссыльных я еще буду говорить. И, наконец, к четвертой группе относятся те, кто не вошел ни в одну из первых: это сектанты, интеллигенты, а также люди совсем случайные, которые неизвестно как и за что попали. О женщинах мне сказать что-либо трудно, потому что женщин я видел мало. Настоящих же тунеядцев, т. е. таких, которые ничего не желают делать, а желают жить на чужой счет, я вообще не видел. Я не говорю здесь о блатных, потому что блатные — это блатные, и судить их нужно за те преступления, которые они совершили.

Большинство «тунеядцев» в камере было из провинции. Я поинтересовался, сколько предупреждений они получали перед высылкой, проходили ли судебно-медицинскую экспертизу, долго ли продолжался суд. Насчет предупреждений отвечали по-разному, — кому давали одно, кому два, а кого и просто без предупреждения судили; что же касается медицинской экспертизы, которая должна выяснять, может ли этот человек вообще заниматься физическим трудом, так о ней никто даже не слышал. Судили же их так: судья спросит: «Что же ты, мол, не работаешь, захотелось в Сибирь прогуляться?» — и тут же назначит срок.

Каждый день все с нетерпением ждали отправки из тюрьмы. По закону, тюремная администрация имеет право содержать пересыльных не более двух недель, но в нашей камере были заключенные, которые сидели здесь уже дней двадцать. Свердловск — самый большой пересыльный узел, и поэтому, очевидно, своей очереди приходится ждать довольно долго. Примерно раза два в неделю из камеры «дергали» несколько человек, из которых составлялись этапные партии; новички же прибывали почти ежедневно, обычно поздно вечером. Среди них я запомнил одного татарина из Сызрани, который, как я потом узнал, был сослан на два года в Иркутскую область за торговлю мясом: он покупал корову, разделывал тушу и продавал мясо; официально он работал как школьный сторож, но это его не спасло. Он, видимо, был потрясен всем с ним случившимся, и ночью возбужденным голосом с акцентом рассказывал, как в пути конвоиры при поверке заставляли их стано-

виться на колени и как в милиции, взяв у него отпечатки пальцев, сказали: а теперь снимай штаны — будем брать отпечатки члена. В камере смеялись, говоря, что это, мол, обычная милицейская шутка. С татарином этим мы потом вместе проделали путь до Новосибирска, и он мне все время повторял: «Не грусти, Андрушка».

Наше тоскливое ожидание кое-как разнообразили бесконечные пререкания Левы с Борисом. Лева начинал рассказывать, как в 1951 году он воевал в Корее, всю их воинскую часть переодели в штатскую одежду, перевезли через пограничную реку на плотах и велели никому об этом не рассказывать. Борис сразу же перебивал его: что ж ты рассказываешь, выходит, ты государственную тайну выдал. Лева оправдывался, что все это было давно. Никаких впечатлений от корейской войны он, впрочем, не вынес, кроме посещения публичного дома. В другой раз он с умилением начинал вспоминать, какая у него хорошая мать: кормила его, поила и еще давала тридцать копеек в день на политуру. Борис тотчас же попрекал его: сколько, дескать, ты, великовозрастный пьяница, можешь сидеть на шее у матери?! «А что же, — серьезно возражал Лева, — раз она не сумела меня воспитать, пусть теперь кормит». Другой раз Борис начинал что-то рассказывать о своей жене, как тут же вступал в разговор Лева: ты вот, дескать, сейчас в тюрьме за пьянку сидишь, а жену твою тем временем на воле е... «Ну что ж, — равнодушно соглашался Борис, — ее ведь е..., не меня». Или же между ними происходил такой диалог:

— Ты политуру пил? — спрашивал Борис Леву.

— Пил.

— А одеколон пил?

— Пил.

— А муравьиный спирт?

— Пил.

— А средство от перхоти?

— Пил.

— А тормозную жидкость? — не унимался Борис.

— Пил! — с торжеством отвечал Лева под общий хохот.

Весь почти день «тунеядцы» играли в домино, с нетерпением ожидая своей очереди: в камере было всего два комплекта косточек. Блатные играли в карты где-нибудь в углу на верх-

них нарах, потому что в карты играть категорически воспрещено. Карты делали из газетной бумаги, с помощью химического карандаша, хлеба, сахара и воды, трафарет вырезая бритвой. Некоторые проигрывались дотла, до последней рубашки, а выигравший тогда надевал на себя несколько рубашек, одну на другую. Иногда возникали ссоры, я был свидетелем довольно виртуозной ругани между Сашкой и Володькой, с самыми страшными угрозами. Такая ругань у блатных вообще играет немалую роль своего рода морального подавления. Победил, конечно, Сашка, как старший и более опытный. Меня тоже Володька пытался вовлечь в игру, как говорили, «зафаловать», но потом отстал, видя, что я упорно не соглашаюсь. Потом в камере появился еще один молодой блатной, с какимто желтым лицом и порядочным животиком, который тоже всячески пытался вовлечь меня в игру. Он принадлежал к типу «светских», разговорчивых блатных, любящих «побазлать», и вообще был порядочная дешевка. В свое время он был одним из первых выслан из Москвы в Красноярский край, там успел получить еще три года лагерей и теперь возвращался из лагеря отбывать остающийся срок ссылки. Мне он вначале как-то туманно сказал о себе, что можно жить за счет своих рук, можно жить за счет ума, и вот он-де живет за счет своего ума. Я полагаю все же, что в какой-то степени он жил за счет рук, потому что был бильярдный игрок и карточный шулер. Впоследствии он рассказывал некоторые свои похождения в Красноярском крае, вроде того, как он играл в карты с полковником, героем Советского Союза. Он играл с полковником у него дома, держа на коленях запасную колоду карт; и полковник проиграл все деньги, потом часы и, наконец, предложил играть на свою золотую звезду. Когда шулер отказался, считая, видимо, что он недостоин такой награды, полковник неожиданно постучал в стену, вошел здоровый верзила, сосед полковника, и полковник сказал ему: «Коля, этот парень меня обокрал». «А ну, клади деньги и сматывайся отсюда», — сказал Коля. Шулер оторопел от такого коварства, однако успел схватить часы полковника и свою колоду карт и выскочил в окно. «Подумать только, и это герой Советского Союза!» — говорил он нам с горечью. Он с удовольствием вспоминал первые годы «тунеядства», когда почти никто из ссыльных не работал, женщины кормились про-

ституцией, а мужчины чем Бог пошлет. Так, семеро «пацанов» вроде него самого украли подушки в каком-то детском саду, чтобы продать их на базаре, но решили сначала немного отдохнуть и, обложившись для комфорта подушками, расположились со своей девицей на опушке леса. Однако, едва они успели выпить, как их окружили специально посланные студенты сельхозтехникума, захватили вместе с подушками и девицей и заперли в ближайшем сельсовете, где они, чтобы не терять времени даром, поставили свою подругу головой в печку и развлекались таким образом в ожидании суда и расправы под удивленными взглядами толпящихся у окон студентов. Может быть, за эту «операцию» он и получил свои три года.

Хотя я категорически отказывался играть с кем-либо, все же я сыграл дважды, правда, не в карты, а в домино; игра эта привлекла внимание всей камеры. Играл я с Левой. Как я уже говорил, у Левы был огромный мешок с салом, которым он ни с кем не делился и который вызывал общие насмешки. Через неделю после нашего прибытия в Свердловск в камере был ларек, я купил себе сахару и сливочного масла и ел кашу с маслом. Тогда Лева, который вообще все время задирал меня, стал говорить: я, мол, ем сало, а Андрей масло, масло себе покупает, а в карты играть боится — и все в этом духе. Тогда я в шутку предложил Леве сыграть одну партию в домино — сало на масло. Если я проиграю, то даю ему масло, а если он проиграет — то дает мне сало. После долгих колебаний Лева согласился, и мы сели за стол друг против друга. Вся камера столпилась вокруг нас; надо сказать, что Леве никто не сочувствовал. Играю я в домино крайне плохо, можно сказать, совсем не играю, но Лева так нервничал за свое сало, что проиграл. Правда, он дал мне лишь маленький шматок сала, но моральное поражение было для него так тяжело, что он вспоминал это сало еще год спустя в Сибири. Он потребовал, чтоб мы играли еще, но я отказался. На следующий день он пристал ко мне снова, требуя, чтобы мы играли на три рубля. Я согласился, с тем, чтобы это было в последний раз, и проиграл ему эти три рубля, отчасти из-за того, что вокруг опять столпилась вся камера и подавала мне разные советы, очень этим мешая. Но на этот раз выигрыш не принес Леве радости: тремя рублями его снабдил шулер, который уже не надеялся, что я сяду играть с ним, и

теперь пришлось Леве отдать этот выигрыш шулеру; он сделал это тайком от всех, но потом эта история выплыла. Больше я ни с кем уже не играл.

Наконец, 14 июня, на девятый день нашего пребывания в Свердловске, нам, москвичам, приказали собираться с вещами и повели в этапную камеру, где собираются все заключенные, назначаемые к этапу. Лева так обрадовался, что нас «дернули», что забыл впопыхах свой знаменитый мешок с салом. По дороге он спохватился и хотел бежать за ним из строя, конвоиры кое-как успокоили его и принесли ему мешок уже в этапную камеру.

Если в нашей камере были только те, кому предстояло идти в ссылку, то в этапной собрался самый разный народ — все те, кого из тюрьмы предстояло отправить на следующий день в восточном направлении. Тут были и ссыльные, и те, кого отправляли на суд, и те, кто шел в тюрьму или в лагерь после суда. По камере бродили дяди довольно сурового вида, все в татуировках, или, по-блатному, в наколках. У некоторых были наколоты целые изречения, преимущественно непечатные, например, у одного на руке было наколото: «Счастье — не ..., в руки не возьмешь». Я запомнил еще подростка лет шестнадцати, с совершенно безумным придурковатым лицом, его должны были судить за кражу велосипеда. Он все время ходил взад-вперед и что-то нечленораздельно бормотал. Остальные заключенные говорили, что ему место в сумасшедшем доме. В бане некоторые делали предположения, что он пассивный педераст, по-лагерному «козел», кличка самая оскорбительная.

В этапной камере я разговорился с двумя молодыми людьми довольно интеллигентного вида, каждый лет двадцати с немногим. Одному, с очень правильными чертами лица, предстоял суд за изнасилование; впрочем, он говорил, что «она сама дала», жила с ним несколько месяцев, а потом донесла на него. Заключенные постарше, которые обращали внимание на него, сразу же говорили: «Ну, этот сидит за целку». Глаз наметанный. Второму предстоял суд за «неповиновение властям», чем мне грозил в свое время Васильев. Он рассказал, что у его товарища было столкновение с милицией и он вступился за него. Во время предварительного следствия он успел побывать в карцере. У них в камере существовал обычай устраивать «суд» над каждым новым заключенным, старожилы разыгры-

вали из себя судью, прокурора, адвоката и палача. Один из новичков испугался этой игры, позвал надзирателя, и всю камеру посадили в карцер, по-блатному, «кичман». Там голая койка, нет прогулок и горячая пища через день.

Вечером мы побывали в бане, и нам вернули наши вещи. Тут Лева совершил маленькую спекуляцию, продав человеку, живущему за счет ума, который тут же в камере успел обыграть какого-то мальчика, за пятнадцать рублей костюм, купленный раньше у заключенного в столыпинском вагоне. Ночь мы провели в этапной камере, а наутро нас повели садиться в машину. Запихнули в «черный ворон» столько народу, что нечем было дышать, вдобавок стояла сильная жара. Мы ехали вперемешку с вещами; у меня так были зажаты ноги и руки, что я не мог пошевелиться. Казалось — еще немного, и я потеряю сознание, однако ничего, обошлось. Почти так же плохо пришлось и в столыпинском вагоне: на этот раз нас в купе было не семь человек, а четырнадцать, нам с Борисом пришлось спать вдвоем на узенькой полочке, а двое вовсе спали на полу. Немного легче стало после Омска, где ссадили несколько ссыльных.

Глава двенадцатая
НОВОСИБИРСК. ТОМСК. КРИВОШЕИНО

Одну ночь мы провели в дороге и 16 июня прибыли в Новосибирск. Если Свердловская пересыльная тюрьма, как и Московская, представляла собой замкнутый четырехугольник корпусов с внутренним двором, где были устроены загончики для прогулки заключенных, то Новосибирская тюрьма — как бы систему отдельных коттеджей. Мы сдали вещи, и нас провели в баню, тут не было душа, и пришлось пользоваться шайками; такая же баня была и в Томской тюрьме. После бани, или до бани, уже не помню, нас повели в ларек; отовариваться в ларьке можно было только по прибытии и при отбытии из тюрьмы. Там, впрочем, ничего не было, кроме черного хлеба, сахара, папирос и шоколада. Когда мы выбывали из тюрьмы,

не было уже ни папирос, ни шоколада. Затем начался развод по камерам. Сначала произошла путаница: надзиратель, который вел нас, по ошибке захватил документы каких-то несовершеннолетних и долго не мог разобраться с нами, хотя видно было, что самому молодому из нас больше двадцати, а есть и просто сорокалетние. Когда это недоразумение разъяснилось, возникла новая трудность: нас, москвичей, стали разводить по разным камерам, а четверо из нас, как я говорил, объединили свои припасы и вместе покупали продукты в ларьке, но на их протесты не обратили внимание и не дали как следует разделить продукты, так что одним достался весь сахар, а другим все масло. Меня с самого начала немного удивила суровость сибирских надзирателей: они не говорили, а гаркали, лица у всех были насупленные, команды отрывистые. Вскоре я понял, что это просто напускной стиль, и надзиратели здесь не хуже и не лучше, чем в других тюрьмах.

В камере, куда меня ввели вместе с татарином и шулером, оказалось несколько старых знакомых, в том числе Генка и наркоман, которых раньше дернули из Свердловска. Всего в камере было человек двенадцать; двое сразу обратили мое внимание. Один был лет пятидесяти с лишним, как я понял, бывший начальник, поскольку, как выяснилось в разговоре, даже у его заместителя был персональный автомобиль; по образованию он экономист. Он отсидел восемь лет в лагерях строгого режима за крупные махинации, причем это был уже второй его срок, и сейчас шел в Томскую область в ссылку, как говорили, бессрочную, в распоряжение Томского областного суда. Второй был лет сорока, восточного типа, весь татуированный, так что, по его словам, он стеснялся где-либо на людях купаться. Они с экономистом все время спорили: о философии, политике, литературе, искусстве, вообще обо всем, с большим жаром и бестолково. У обоих был задор людей, прикоснувшихся к каким-то знаниям, но экономист, как бывший начальник, пытался отнестись к восточному интеллигенту свысока, а тот, маленький и какой-то весь остроугольный, эти попытки яростно пресекал и обличал его в том, что тот в свое время был «плохим руководителем». Начальника это очень обижало. Остальные заключенные, люди преимущественно простые, над ними тихонько посмеивались. Как раз когда нас ввели, у них был жар-

кий спор о марксизме, и старик предложил мне тотчас же присоединиться «как человеку интеллигентному», однако я отказался, сказав, что не верю в марксизм и плохо с ним знаком. Бывший начальник очень огорчился. «Сколько же вам лет?» — спросил он меня. — «Быстро же вы, однако, — удивился он, узнав, что мне двадцать семь лет, — я тоже не верю в марксизм, но я разуверился на пятидесятом году жизни». Еще он все расспрашивал меня о стихах Есенина-Вольпина, похожи ли они на стихи его отца, большим поклонником которого он был.

Шулер привез с собой купленную в дороге у конвоиров пачку чая, и я увидел, как варили чифирь. Чифирь, то есть исключительно крепко заваренный чай, в лагерях самый распространенный наркотик, и многие чифиристы так пристращаются к нему, что не могут обойтись без чифиря, тогда как водку совсем не пьют. В алюминиевую тюремную кружку с водой высыпали пятидесятиграммовую пачку чая, кружку укрепили на палке. Один, упершись ногами в унитаз, взгромоздился в углу камеры, так чтобы не видно было из глазка, и держал за палку кружку над унитазом, а другие сворачивали из газет узкие полосы и жгли их под кружкой, чтобы закипела вода. Когда газеты кончились, один из блатных, молодой еврей, тоже «тунеядец», отдал, по просьбе всех чифиристов, свои письма. Наконец, чифирь был готов, шестеро чифиристов уселись в кружок и по глотку по очереди пили из кружки, всё напоминало некое священнодействие. Такой чифирь называется первяк; если раз уже вываренный чай заварить вторично, это будет вторяк; в третий раз —третьяк. Возможны и комбинации — первяк с вторяком, вторяк с третьяком и так далее.

Вечером у меня было небольшое столкновение с шулером. После обеда он с наркоманом сел играть в карты и проиграл ему сначала все деньги, потом выигранные в Свердловске рубашки и купленный у Левы костюм, на этот раз оцененный уже в шестьдесят рублей. Потом он пристал ко мне, чтобы я дал ему десять рублей, на которые он мог бы продолжать игру. Сначала он обещал отдать их, как только выиграет, потом говорил, что также отдаст те три рубля, что у меня выиграл Лева, потом предлагал войти с ним в долю, чтобы поделить его предполагаемый выигрыш пополам, однако от всего этого я категорически отказался и денег ему не дал, сколько он ни

умолял меня и ни угрожал мне. Видимо, он почему-то решил, что я человек скромный и добрый и постесняюсь или побоюсь отказать ему, но ошибся и был этим очень удивлен. Несколько раз он с укором повторял: «Я думал, что ты пацан...» Утром он все же продал наркоману свою последнюю рубашку за десять рублей и проиграл и их, так что я не знаю, какой он бильярдный игрок, но шулером он оказался неважным. На мой взгляд, это был один из самых неприятных людей, виденных мной в тюрьме.

Уже на следующий день нескольких человек, в том числе и меня, дернули в этапную камеру. Тут опять увидел я старых знакомых, «деда», Сашку и других. По камере все время возбужденно ходил человек в красной рубашке, пританцовывая и напевая какие-то испанские мелодии. Это он впоследствии просил у Зинки трусики. Вид у него был одержимый. Он отсидел в лагере шесть лет и сейчас шел тоже в Томскую область в ссылку. На следующее утро нас поодиночке вызывали и возвращали вещи; часы мне не вернули, а дали только квитанцию, по которой я должен был получить их на месте поселения. Часы эти шли туда ровно год. Затем всех нас выстроили в коридоре, посадили на корточки и устроили перекличку. По одному мы подходили к конторке, за которой сидело тюремное начальство, снимали шапку, отвечали на те же вопросы: фамилия? год рождения? срок? — и садились на корточки у другой стены. Всем выдали по буханке хлеба, селедке и крошечному пакетику с сахарным песком, который я тут же съел, так как сильно проголодался. Вообще же в Новосибирске кормили лучше, чем в других тюрьмах: в первый же день мне в супе попался кусок мяса — случай для тюрьмы просто невероятный, а после обеда дали настоящий чай, хоть и жидко заваренный.

После этих процедур нас поместили в маленькую камеру, и началось ожидание «черного ворона». Старые лагерники, коротая время, вспоминали, как на золотых приисках при переводе в другой лагерь всех выстроили и предупредили, что тех, кто попытается вынести на себе золото, ждет суровое наказание; когда заключенных повели на шмон, вся площадка, где они стояли, оказалась усыпанной золотом: они в страхе побросали свои запасы. Еще я запомнил рассказ о двух последовательно сменявших друг друга начальниках лагеря: начальнике,

которому был нужен план, и начальнике, которому нужна была му́ка. Первый начальник, чтобы достичь наибольшей выработки на лесоповале, вывозил в горячие дни в лес бочонок водки и ящик пряников и говорил: пейте, ребята, ешьте, но давайте план! В эти дни даже больные и увечные шли из лагеря на лесоповал. Вскоре этого начальника сняли. Следующий начальник сказал: мне план не нужен, вы преступники — мне нужна ваша му́ка! И пришлось посидеть на сухом пайке.

Только вечером нас погрузили в вагон. На этот раз это был действительно вагон, в котором заключенных возили еще при Петре Аркадьевиче Столыпине, а может быть, даже во времена Ярошенко, чья картина так понравилась судье Яковлеву. В нескольких купе сидели несовершеннолетние правонарушители, так называемые «малолетки». Завидев меня, в очках и черном берете, который я купил когда-то в Риге, они с криком: «Музыкант! Музыкант!» — бросились к решеткам. «Да нет, это геолог!» — возражали им другие. Шум стоял невообразимый. «Дай закурить! Денег дай!» — кричали все вместе. Я сказал, что не курю и у меня нет денег, но следом за мной идет человек с большим мешком, и он даст каждому по куску сала. Под недоверчивые крики малолеток конвоиры повели меня дальше. Мы попали в узенькое трехместное купе вчетвером: я, Лева, старик плотник с Кубани и человек в красной рубашке, которого Лева даже угостил салом, так как вообще несколько заискивал перед блатными. Довольно любопытна история старика с Кубани. Он инвалид отечественной войны, тем не менее, вопреки всем законам, его сослали как «тунеядца». Когда мы прибыли на место, удивленный комендант сказал, что не имеет права его здесь держать, но все же направил в колхоз. Там его поставили сторожить коровник и не отпускали несколько месяцев в районную больницу. Наконец, следующей весной, он съездил все же туда, оформил свои инвалидные документы и был отпущен домой. Я его случайно встретил перед его отъездом, и он рассказал мне эту историю.

Почти всю дорогу до Томска я проспал, забравшись на самую верхнюю полку. Было нестерпимо жарко. Утром 19 июня мы прибыли в Томскую тюрьму; здесь нам предстояло узнать, в какие районы нас отправляют. Встретили нас очень дружелюбно, чуть ли не как гостей долгожданных, даже, кажется,

говорили: «Отдохните с дороги». Мы свалили вещи во дворе тюрьмы и немного погуляли по травке.

После бани нас повели по камерам, наша камера опять почему-то оказалась в женском флигеле, на самом краю тюрьмы; опять, как первый раз на новом месте, меня охватила сильная тоска. Камера была довольно большая, выбеленная, окна с решетками, но без стекол, по-летнему. Уставлена она была своеобразными двухэтажными железными кроватками, такие же точно были и в Новосибирске. Они были столь шаткими, что стоило пошевелиться спящему внизу или вверху, как все сооружение начинало трястись и между верхним и нижним этажом начинались пререкания. Унитаза в камере не было, и мне однажды стало так плохо, что надзирательница сжалилась и выпустила меня раньше срока.

Гулять нас выводили в довольно милый дворик, где даже росло одно дерево, а на стене висело два плаката. На одном унылая женщина, одетая в длинное платье по моде сороковых годов, сидела, приложив платок к глазам, посреди бедной и кем-то развороченной комнаты, над этим было написано: «Вор несет горе трудящимся». На другом такая же примерно женщина в такой же позе сидела за столом, только вместо платка держала письмо, а рядом с ней стоял худосочный мальчик. Это называлось: «Твоя семья ждет тебя». Второй плакат почему-то очень раздражал заключенных.

Кормили исключительно скверно: в Томске, как я понял, не было круп, и утром, днем и вечером нам давали только суп, по вечерам он был цвета мыльной воды, в которой долго стирали белье, так что я отказывался его есть. Я потерял в дороге свой хлеб, и первый вечер мне пришлось бы плохо, если бы один старый лагерник, заметив мой голодный взгляд, не дал мне немного печенья. На следующий день я сам купил в ларьке сахар, масло и печенье и уже не зависел от тюремной пищи. После мыльного ужина Толя, тот, у кого была отобрана комната в Москве, идиллически вспоминал, как хорошо их в свое время кормили в детской колонии, даже давали котлетку на обед. Вообще многие по вечерам начинали вспоминать что-нибудь. Один старый ссыльный, который раньше был в ссылке в Якутии, рассказывал, как якуты любят своих собак. Один якут застрелил русского за то, что тот выбросил из машины

его собаку, застрелил не сразу, а через год. Вообще, по его словам, русские ведут себя там грубо и заносчиво, а якуты довольно трусоваты. Еще он рассказывал, как якутки отучают своих младенцев кричать: едва младенец раскричится, якутка берет его за ногу и швыряет в снег, ребенок поплачет немного и замолчит, тогда она достает его из снега и относит в дом, но стоит ребенку снова заплакать, повторяется та же история; так маленькие якуты отучаются плакать.

Постепенно ощущение тоски проходило, я привык к нашей камере и вспоминаю о трех днях в Томске как не о самых худших днях моего пребывания в тюрьме. Пока я шел по этапу, тюремная тоска иногда схватывала очень сильно, и казалось, что будет невыносим пусть один еще только день в тюрьме, но потом это ощущение проходило, и можно было как-то жить дальше. На второй день в Томске вечером к нашему окну подошло двое коней, которые паслись на дворе тюрьмы, и тоже остро напомнили мне свободу. Я покормил их через решетку черным хлебом.

21 июня нам объявили, кого в какой район направляют. «Тунеядцев» — майора, Леву, Бориса, Толю, старика-плотника, еще одного кубанца помоложе, по профессии комбайнера, и меня — направляли в Кривошеинский район, ближайший к Томску; туда же направляли Нинку, Зинку и еще двух женщин-«тунеядок», обе лет сорока. Большинство блатных — в районы ниже по Оби. Им сказали, что дня через два их доставят туда на самолете, и некоторые, как Генка, радовались, как маленькие дети, что полетят на самолете.

Днем всех «тунеядцев» собрали у начальника тюрьмы, устроили поверку, которая скорее носила характер школьной церемонии раздачи почетных грамот: начальник вскрывал конверты, просматривал дела и дружелюбно кивал каждому, затем раздали паек, на этот раз последний. Через час «черный ворон» отвез нас к пристани: нам предстояло спускаться на пароходе по Томи, а затем по Оби до села Кривошеина, в 150 км ниже Томска, на южной границе бывшего Нарымского края.

В трюме, рядом с машинным отделением, было огорожено нечто вроде загона. Там было две камеры под углом друг к другу, отделенные от загона железными решетками, в одну поместили мужчин, в другую женщин; в проходе, сменяя друг

друга, стояли конвоиры. Уцепившись за решетку, сквозь иллюминатор под потолком нашей камеры можно было видеть низкие берега Оби, поросшие кустарником. Всю почти камеру занимали сплошные нары, куда мы сложили вещи и сели сами. Из соседней камеры, чтобы освободить место для женщин, к нам подсадили мужичка небольшого роста, очень забитого; его везли на суд. Шел он по 206-й статье, как он сказал, «из-за бабы». В углу на стене я обнаружил след от пули, тут же на потолке кто-то карандашом сделал надпись, что в мае «здесь от пули конвоира погиб Саша Королев из города Александрова, 22-х лет». Я спросил конвоиров, в чем дело — может быть, он пытался бежать? Но они сказали, что дело было совсем не так. Вся камера была забита заключенными, а молоденький конвойный в шутку баловался с пистолетом, тот случайно выстрелил, и Королева убило наповал. Я спросил, что стало с этим конвоиром, предали ли его суду? Наши конвоиры ответили, что не знают, но что видели его на-днях в полку на свободе.

На пароходе нам был устроен последний обыск, самый бессмысленный и унизительный. Обыск этот потребовал начальник конвоя, старший лейтенант с исключительно службистским и одновременно скотским выражением лица; как я заметил, его не любили и боялись сами конвоиры. Мы выходили поодиночке с вещами, и конвоиры у сапог начальника небрежно просматривали наше барахло; их очень заинтересовала моя американская шариковая ручка, но они ее не тронули. Бессмысленность этого обыска была в том, что мы с вещами возвращались в ту же камеру и вполне можно было не выносить те вещи, которые не хотели показывать. Так, я не вынес свой большой тюк, не потому, что там было что-либо криминальное, а просто мне не хотелось возиться — развязывать и вновь завязывать его.

Под вечер, часов около десяти, мы прибыли в Кривошеино. Под любопытными взглядами пассажиров мы сходили на пристань, я увидел высокий песчаный косогор и маленькие домики наверху. Нас уже ждала машина — открытый грузовик; нас встречал молоденький старший лейтенант, с приветливым выражением почти детского лица. Отделение милиции находилось недалеко от пристани, мы сложили вещи в коридоре, нас на-

поили невкусным цветочным чаем и начали разводить по камерам на ночь, последний раз.

В маленькой КПЗ, куда меня поместили, было очень душно и тесно, пахло обжитым человеческим жильем. Нас ввели туда, кажется, троих или четверых, и местных там было человек пять, так что улеглись мы на нарах, как сельди в бочке, а Леве даже пришлось лечь на полу. Тут меня несколько удивила местная патриархальность нравов. «Саша! — крикнул один из арестантов, — погаси-ка свет!» И дежурный милиционер погасил свет в камере, хотя по инструкции он должен гореть всю ночь. Вещь в больших городах, конечно, совершенно невозможная. С нами в камере были местные «суточники», или «декабристы», то есть осужденные на несколько суток за мелкое хулиганство. «Местными» их можно назвать только условно, так как всё это оказались тоже «тунеядцы», но высланные уже много лет назад. Я поинтересовался, по скольку лет живут здесь «тунеядцы», легко ли получить «половинку», отбыть только предусмотренную указом половину срока. Мой собеседник сказал, чтоб об этом я не у него спрашивал. Он из Ярославля, его в 1960 году осудили на три года высылки, с тех пор прошло пять лет, он не только не вернулся, но и не знает, когда вернется, наоборот, к нему сюда уже жена приехала, потому что невозможно столько лет жить врозь. Я спросил, знает ли он кого-нибудь, кто ушел «по половинке», но он ответил, что нет. Остальные «тунеядцы» тоже таких не знали. Кое-как я заснул в эту ночь, мечтая о свежем воздухе, а утром был разбужен истошным женским визгом. В соседней камере ругались две местные бабы: одна обвинила другую, что ту «е... под гитару», а той это показалось обидно.

Утром нас всех выпустили на зеленый дворик, вышел молодой младший лейтенант, не вчерашний, а другой, с рассеченной губой и важным выражением лица, и представился нам, как «оперуполномоченный по ссыльным», или, как обычно говорилось, «комендант», то есть наше прямое начальство. Затем он стал поодиночке вызывать нас в свой кабинет, что заняло почти целый день. В ожидании вызова все гуляли по двору, ходили в столовую и по магазинам, я пошел на реку и искупался. В конце концов я вышел из тюрьмы, но, бродя по пыльным кривошеинским улицам, не чувствовал особой радости.

Кривошеино — довольно большое село, в жару пыльное, а в дождь, как я потом убедился, невероятно грязное, с деревянными тротуарами и чахлыми деревцами на двух главных улицах. До начала коллективизации, которая в Сибири началась на пять лет позже, чем в России, Кривошеино было маленькой деревней, но затем, особенно после войны, когда здесь был сделан районный центр, его население очень выросло: сюда хлынул народ из соседних деревень, не желая работать в колхозах. Сейчас здесь три предприятия: маслозавод, льнозавод и промысловый комбинат. Дома в селе все деревянные, преимущественно одноэтажные, хотя встречаются и в два этажа, кирпичное здание только райкома. На главной улице находятся одноэтажный универмаг, где продается все, начиная от меховых полушубков и кончая грампластинками, почта, сберкасса, аптека, фотоателье, парикмахерская, три продовольственных магазина, булочная и столовая. В столовой я довольно прилично, хотя и дорого пообедал и выпил стакан вина. Мои товарищи не проявили такую же умеренность, и уже к середине дня многие были довольно пьяны.

Часам к четырем комендант вызвал меня, перед ним лежало мое вскрытое дело. Разговор был довольно короткий. Комендант спросил примерно так: как же я дошел до того, что меня сослали? Я ответил довольно сухо, что, мол, сослали, ничего не поделаешь. «Ну ничего, — сказал комендант, — будешь работать — уйдешь по половинке, не будешь — добавим еще». Он прибавил, что у него в районе вообще хорошие показатели. «Хорошие показатели» были, по его словам, такие: более трети ссыльных бежало или совершило еще какие-то проступки, за которые попало в лагеря, около половины отбыли «от звонка до звонка» и остальные ушли «по половинке». В других районах, как я мог его понять, соотношение было еще хуже. К этой статистической выкладке живой иллюстрацией был мой разговор в камере. Комендант дал мне подписать две бумажки. Первый бланк был предупреждением, что без разрешения милиции мне запрещен выезд за пределы района и что я понесу за это ответственность по такой-то статье Уголовного Кодекса; во втором я предупреждался, что в случае отказа работать понесу ответственность по другой статье УК.

Нам сообщили, что всех мужчин отправляют в колхоз имени

Калинина — не плохой и не хороший, как говорили — а женщин в рыболовецкий колхоз в село Никольское на Оби. К вечеру за нами из колхоза должна была прийти машина. Не все, впрочем, дождались вечера. Лева сильно напился и подрался во дворе милиции с каким-то мужиком. Пьяный Борис чуть не опрокинул одну из «тунеядок» на задремавшего старшину и начал ругаться с ним. Толя и комбайнер с Кубани тоже затеяли скандал. Наши женщины, вдрызг пьяные, ходили по улицам, пели песни и вымогали деньги у прохожих. Так что комендант распорядился опять посадить их всех в КПЗ. На свободе остались только майор, старик-инвалид и я.

Часов в семь к отделению подошла колхозная машина с мешками комбикорма. В кузов забрались старик, майор, я и выпущенный из камеры Лева; остальные остались до следующего утра. В самый последний момент комендант заметил высовывающуюся у майора из кармана бутылку коньяка, выхватил ее и разбил о столб. То же днем случилось и с купленной Левой бутылкой спирта.

Вообще же я хочу сказать, что сибирская милиция произвела на меня гораздо более приятное впечатление, чем московская — в Сибири милиция все же вежливей и человечней. Это, я думаю, происходит потому, что милиция вербуется здесь из местных, пользуется уважением у населения и это уважение старается заслужить. В Москве же милиция в значительной степени состоит из провинциалов, пошедших в милицию после службы в армии или во внутренних войсках; они в чужеродной среде, чувствуют к себе плохое отношение и отвечают тем же.

Глава тринадцатая
ПРОКЛЯТИЕ ДОМУ СЕМУ!

До деревни Новокривошеино, где находится контора колхоза, около десяти километров. Дорога местами очень красива: резкие повороты и крутые склоны, поросшие соснами. Но это скорее исключение. Вообще же вся западная Сибирь — огромное болото, на юге поросшее тайгой, а на севере совсем без-

лесое. Мы ехали мимо полей колхоза, окруженных тайгой. Но вот машина затормозила, и мы очутились посреди на редкость унылой и серой деревни, перед небольшой избой с полинялым плакатом — это была контора. Из кабины вышел человек в темной фуражке, заместитель председателя колхоза Жарков, посмотрел в бумажку и сказал, что здесь велено оставаться двоим, а двое поедут дальше, в Малиновку, большое село, которое тоже тогда входило в состав колхоза имени Калинина. По иронии судьбы здесь велено было сходить мне и Леве, чему Лева удивился, а я мало обрадовался, потому что он меня все время раздражал. Машина тронулась дальше, а мы втроем, Лева, я и Жарков, вошли в контору. В первой комнате стояло несколько канцелярских столов, за которыми сидели люди в темной одежде, как следует я их не рассмотрел, во второй за грязным столом, под аляповатым портретом Ленина сидел председатель, в черном засаленном костюме, с постным выражением лица. Раньше, как я узнал, он был парторгом здесь же в колхозе, и на лице его раз и навсегда запечатлелось выражение притворного участия и готовности «разъяснить» неясные вопросы. Был он не то чтобы горбат, но небольшого роста и с головой, вросшей в плечи, в колхозе его за глаза иначе как «горбатый» не называли. Как у многих людей с явным физическим недостатком, выросших в грубой среде, где над недостатком этим могли посмеяться, в нем была, по-видимому, внутренняя озлобленность и мстительность. Нас он встретил довольно любезно и попросил садиться, мы с Левой сели на скамью напротив стола, а Жарков сбоку от председателя.

Жарков ранее сам был председателем в Малиновке, а затем, по решению райкома, два колхоза слили, и он стал здесь заместителем. Малиновские колхозники были крайне недовольны объединением: они стали получать на трудодень в полтора раза меньше, калининские же колхозники стали получать несколько больше, чем раньше. Теперь было райкомом вновь принято решение о разделении колхозов, через неделю после нашего прибытия Жарков опять стал председателем в Малиновке. Сам он был из рабочих, был послан в колхоз во время очередной кампании по «усилению кадров», но пользовался у колхозников очень большим уважением. Я не раз потом слышал: вот Жарков это да, Жарков это председатель; к на-

шему же председателю, Герасимову, отношение было безразличное и ироническое. Про него говорили: ни рыба, ни мясо.

В нашей беседе Жарков почти никакого участия не принял, как и я; говорил в основном Лева, у которого не прошел еще хмель. Говорил он в общем-то правильно, но так как то, что он говорил, было сейчас совершенно не к месту, и вдобавок он повторял одно и то же несчетное число раз, то впечатление получалось самое бестолковое. Начал он с обличений: сельское хозяйство-де у нас развалено, колхозы все нищие, а что пишут в газетах — это вранье. Председатель осторожно возразил, что города ведь снабжаются продуктами и сам Лева ест каждый день, значит колхозы свое дело делают. Далее Лева перешел к тому, что хочет работать по своей специальности, то-есть автослесарем, тогда будет хорошо работать; если же заставят делать что-нибудь другое, то на хорошую работу пусть не рассчитывают, ничего-де другого он делать не умеет. Жарков сказал, что колхозной работе научиться не трудно, и спросил меня, где работал я. Я сказал, что главным образом в газетах. Оба председателя развели руками: если автослесарь им и мог на что-нибудь понадобиться, то уж своя газета вовсе ни к чему. Лева продолжал с пьяным жаром что-то объяснять, а я вышел на воздух; мне разговор изрядно надоел и пользы от него я не видел.

Я хотел узнать у кого-нибудь из местных жителей, не сдадут ли мне комнату, и расспросить, как тут вообще живется.

— Вот сослали меня к вам, неизвестно зачем, — как бы иронизируя над своей городской бесполезностью, обратился я к первому встречному, на вид угрюмому мужику.

— Я сам такой же, как ты, — сурово ответил тот, — уже третий год здесь.

Второй, к кому я обратился, тоже оказался ссыльным. Третий был, вероятно, пастух, у него из-за пояса торчала рукоять бича. Он мне очень обрадовался: оказалось, что и он ссыльный, дальше я о нем еще скажу. Он предложил мне тут же оставаться жить у них в «цыганской избушке», некоем подобии общежития для «тунеядцев». Тут трое или четверо ссыльных, в том числе и мой новый знакомый, собрались у невысокого амбара, где была кладовая. Через несколько минут на мотоцикле подъехал кладовщик. Из любопытства я заглянул внутрь, чтобы посмотреть, что дают «тунеядцам». Они взяли только

бутылку подсолнечного масла и несколько неуклюжих ковриг хлеба, ничего другого, как мне показалось, в кладовой и не было. Всё кругом было так убого, что мне стало тоскливее, чем в тюрьме.

— Ну, прощай, пора ехать скот пасти, — сказал мне пастух-«тунеядец», и я вернулся в контору, размышляя над тем, что из трех первых встречных трое оказались ссыльными.

Лева, видимо, так уже надоел председателю, что тот решил нас здесь не оставлять, под тем предлогом, что нас поместить негде. Нас решили отвезти в соседнюю бригаду, в Гурьевку, маленькую деревню в восьми километрах отсюда. «Там пруд хороший, — сказал Жарков, — будете рыбу ловить». Снова в кузове грузовой машины, на этот раз пустой, мы добрались до Гурьевки.

Возле недостроенного или, наоборот, полуразрушенного дома какая-то женщина, как мне показалось, очень старая и измученная, собирала кирпичи из кучи и носила их в дом. Тут же крепкий мужчина лет пятидесяти грузил кирпичи на телегу. Это и был бригадир Шаповалов, на вид добродушный и хитрый хохол, наш новый начальник. Он нас встретил дружелюбно, хотя и сказал, что поместить ему нас негде. Пока что повел к себе домой, сказав, что «баба на три дня уехала». В доме, правда, было сиротливо, может быть от сломанной печки, бригадир хотел класть новую и для нее возил кирпичи. Лева шепнул мне, что надо, дескать, угостить бригадира; я дал два рубля, Лева сбегал в магазин через овраг, купил поллитра, и мы втроем выпили за наш приезд, закусив кислой капустой и неудобоваримым, похожим на глину хлебом, выпеченным бригадировой женой. Шаповалов обрадовал меня, сказав, что у них в деревне несколько человек ушли «по половинке», при этом он добавил, что все тут зависит от него, какую он даст характеристику. Я твердо решил не уклоняться от работы и «тянуть на половинку», так как считал это единственным для меня средством сократить срок пребывания в ссылке.

Услышав, что сегодня в деревне в клубе кино, Лева тотчас загорелся идти в клуб, но я отказался, и Лева пошел один, предварительно заглянув в магазин и еще как следует выпив. Я остался у бригадира, помог ему немного складывать кирпичи, а потом прошелся по деревне. Поздно вечером мы улег-

лись с Левой спать на полу, расстелив наши плащи и отложив все заботы на завтра, по русской пословице: утро вечера мудренее.

Основным вопросом было, где жить. Лева, очутившись со мной вместе в незнакомой деревне, стал жаться ко мне, как цыпленок к наседке, и просил, чтоб мы устроились как-нибудь вместе, но я был решительно против того, чтобы жить вместе с Левой. Еще вечером я дошел до коровника и разговорился со сторожем, который сказал, что ссыльного едва ли кто из колхозников пустит к себе жить. Однако утром бригадир обрадовал меня, что он договорился с заведующей клуба, Верой, что она пустит меня на квартиру. Это была вчерашняя изможденная женщина. Леву он обещал устроить к одинокой бабке, Аксинье, когда та вернется из соседней деревни.

Первый день бригадир дал нам отдохнуть, и я смог осмотреть деревню. Она располагалась как бы на двух холмах по краям пологого оврага, где когда-то протекал ручей, потом ручей перегородили примерно посредине деревни и сделали пруд. Пруд здесь называли плотиной, так и говорили: «Пойду искупаюсь в плотине... Пойду белье полоскать в плотине...» Когда-то в деревне было свыше восьмидесяти домов, теперь осталось только тридцать два, кое-где по краям стояли еще полусгнившие срубы, а от некоторых и следа не осталось. На той стороне, откуда мы въехали и где стоял бригадирский дом, дворов было мало, на противоположной они тянулись длинной улицей вдоль низины, в глубине за ними справо стояло еще несколько домов, а левее, еще дальше, был скотный двор. Так что вся деревня производила впечатление довольно хаотичной разбросанности.

Избы были по большей части старые, четырех-, редко пятистенные, срубленные, как обычно в России, и крытые — те, что побогаче, шифером, а те, что победнее — дранкой. Участки довольно большие, 0,2-0,3 гектара, обнесенные плетнями. На участке сажают только картошку, да возле самого дома немного луку, моркови и огурцов, огурцы вызревают здесь к августу — очень крупные и невкусные. Никаких плодовых деревьев или кустов на приусадебных участках нет, хотя в лесу кругом довольно много дикой смородины и малины. На тех же участках, где раньше росло немного смородины или

малины, ее всю выкорчевали и тоже посадили картошку. Вместе с тем они покупают в магазине привозное дорогое смородинное варенье в банках и очень своей покупке радуются. У двух стариков в деревне небольшие пасеки — по пять или шесть ульев, мед стоит два с половиной рубля литр. В домах стены и потолки изнутри побелены известью, полы в домах побогаче покрашены. Окна очень маленькие, рамы вделаны намертво, без форточек, так что открыть окна нельзя. Только в одном строящемся доме делали, как здесь говорят, распашные рамы. В каждом доме большая печь со сводом, ее топят только в те дни, когда нужно печь хлеб, ежедневно готовят и отапливают избу с помощью маленьких железных печек; такие печки в гражданскую войну назывались «буржуйками», и здесь их называют «железками». Летом многие выносят их во двор, потому что в доме становится слишком жарко. Такая печка дает сильный жар, но чтобы зимой поддержать температуру, ее нужно топить непрерывно, потому что она тут же остывает. Комнаты уставлены преимущественно покупной мебелью: круглыми столами, двухстворчатыми шкафами, которые здесь называют шифоньерами, и железными кроватями с сетками — первым признаком благосостояния. Кое-где сохранились старые самодельные деревянные кровати и четырехугольные столы. В одном доме установлен кожаный диван — предмет явных насмешек и тайной зависти остальных колхозников. На диване, впрочем, никто не сидит и тем более не лежит — он накрыт чистым белым чехлом и предназначен для обозрения. Избы, как правило, разделены на две половины, в первой варится пища для себя и для скота и семья обедает, во второй ночью спят, а днем она преследует чисто декоративные цели: постели накрыты покрывалами, одна на другую наложены подушки, а на стене — написанный на клеенке масляными красками коврик: лебеди плавают в пруду на фоне белого замка или всадник выезжает из замка на толстом коне, а его провожает дама в пышном белом платье. Коврики такие продаются в Томске по десять рублей за штуку; в домах победнее ковриков нет. Почти во всех домах висят иконы, но отношение к религии крайне индифферентное, в Бога, пожалуй, никто и не верит, а старики говорят так: кто-де его знает, есть ли Бог или нет. Один только старик регулярно раз в год ездит в Томск помолиться в церкви, так

как в районе ни одной церкви нет. К избам сделаны хозяйственные пристройки для скота, — стайки, как они здесь называются, — но новорожденных телят и поросят держат прямо в доме. Во многих домах есть радиоприемники, но половина из них сгорела, потому что ток в сети все время резко меняет напряжение. Электричество проведено в деревню три года назад, ток на весь колхоз дают две динамомашины, работающие в Новокривошеине; ток дают главным образом на время дойки: утром, в обед и вечером до 11 часов.

Деревня появилась после строительства Транссибирской магистрали, когда сюда переселились выходцы из Белоруссии. Так они и попали из болота в болото, ничего другого не увидев. Сначала селились преимущественно хуторами. После коллективизации начали съезжаться в деревню, деревня очень разрослась, но после войны народ стал уходить, и вместо восьмидесяти дворов, как я уже говорил, стало тридцать два, причем на них приходится всего пятнадцать трудоспособных мужчин. Пережитки белорусского говора до сих пор сохранились в языке местных крестьян. Соседняя деревня, Ивановка, наполовину состоит из переселенцев из Латгалии; в Ново-Истамбуле, в десяти километрах отсюда, живут татары, немного дальше — поляки, так что край в этнографическом отношении богатый.

На следующий день после приезда я написал письмо отцу, — с дороги мы не имели права писать писем. Ответ пришел через две недели: письма, даже авиапочтой, шли очень долго. Отец писал, что он живет на даче, его часто навещают мои друзья. У него был еще один удар, но теперь стало лучше. Еще он писал о хлопотах о моем освобождении. Сразу же после суда мои друзья пригласили хорошего адвоката, который, ознакомившись с материалами дела, подал жалобу в Московскую городскую прокуратуру. Как я узнал позднее, в это время у всех сложилось впечатление, что я выслан по инициативе районного отдела КГБ, а это, как сказал адвокат: «Не те люди, которым дано нарушать законы». Мнение о районной инициативе сложилось вот почему. Когда Гинзбург накануне публикации своего малоприятного письма в «Вечерней Москве» был у редактора со своим опекуном из КГБ, тот расхвастался: вот, мол, мы в КГБ применяем новые методы работы, не сажаем

людей, не высылаем, а перевоспитываем. Гинзбург осторожно заметил, что, напротив, как ему известно, только что при участии КГБ выслан из Москвы некий Амальрик. Всполошившийся опекун стал звонить в разные инстанции КГБ, и никто ничего ему относительно меня не мог сказать, пока он не позвонил оперуполномоченному КГБ по Фрунзенскому району Гончаренко, и тот подтвердил ему факт моей высылки. Отсюда мои друзья заключили, что решение о моей высылке принято районными истанциями и потому будет легко добиться его пересмотра. Однако я считал, что решение о моей высылке принято Московским управлением КГБ, а районный уполномоченный только непосредственно руководил слежкой за мной и организацией судебного процесса. Как выяснилось в дальнейшем, я был прав. Что же касается жалобы адвоката, то через два месяца Московская прокуратура отклонила ее без каких-либо мотивировок.

Как мне казалось, вопрос с моим жильем в Гурьевке решился; надо было подумать, что́ есть. Бригадир написал нам с Левой записки в кладовую, и мы пошли к кладовщице. Из кладовой снабжались открытые в деревне на летний период ясли, так что там были яйца, сахар, хлеб, подсолнечное масло и даже немного сливочного. Я спросил, будет ли мясо. Оказалось, что мясо будет только тогда, когда в колхоз пришлют из города студентов и рабочих помогать на уборочных работах. Нам все продукты отпускались в счет будущего заработка в колхозе, по рыночным и магазинным ценам. Сама кладовщица никаких цен не знала, она только записывала в ведомость, что мы берем, и сдавала в конце каждого месяца в контору. По скольку отпускать нам хлеба, сахара, масла и яиц, кладовщица тоже точно не знала и отпускала, сколько мы просили, а молока полагалось только литр в день на человека. Когда в первый день я попросил на ферме два литра, чтобы не приходить на следующий, мне довольно грубо ответили: «Знаем мы вас, сегодня мы вам дадим два литра — а завтра вы на работу не выйдете! Не вы здесь первый, не вы последний!» Молоко отпускалось по 20 копеек литр, т. е. тоже по рыночной цене, тогда как государственная закупочная цена у колхозов — 12 копеек литр.

На второй день вечером я перебрался к Вере. Оказалось, ей сорок шесть лет, муж ее недавно умер, и она осталась с пятью

детьми — четырьмя мальчиками, старшему из которых было четырнадцать лет, а младшему четыре, и шестилетней девочкой. Приятелем ее мужа был секретарь Кривошеинского райкома Пупов, который и устроил ее в эту деревню заведывать клубом; по совместительству она еще заведывала клубом в Ивановке, в восьми километрах от Гурьевки, но там почти не бывала. За два клуба она получала 70 рублей в месяц. Всю жизнь она прожила в городе, по специальности была телефонисткой и в деревне чувствовала себя крайне нескладно. Естественно, она обрадовалась жильцу, который мог помочь ей по хозяйству. Новокривошеинский сельсовет дал ей полуразвалившийся дом, который теперь она приводила в порядок: месила глину и замазывала щели, а печник ставил ей печку. Я помогал носить песок и разговорился с печником. Это очень выгодная специальность: сложить печь — это три дня работы, а стоит 45-50 рублей, так что в месяц печник зарабатывает примерно 300 рублей, в среднем в десять раз больше колхозника. Мне стало понятно, почему в России печники предпочитают работать по вольному найму и попадают в «тунеядцы».

Нельзя сказать, чтоб жизнь у Веры меня особенно устраивала. Четверо детей (старший был в интернате) постоянно дрались и ругались друг с другом, главным же образом с матерью. Маленькая, изнуренная и раздраженная женщина, она непрерывно кричала на них: «Паразиты проклятые! Чтоб вы сдохли! Хорошие дети вон умирают, а эти паразиты — так ни один не сдохнет!» Те только смеялись на эти пожелания. Когда мы садились есть и она ставила к чаю тарелку сахара, то не успевал я опомниться, как один залезал в нее руками, другой ногами, третий прямо ртом, так что сахару вмиг не оставалось, а если я хотел съесть яйцо, то маленькие дети глядели мне в рот и канючили: «Дай яичко!» Старшие мальчики, как мне кажется, были по натуре не плохие, но их немного уже ожесточила бестолковость матери, безотцовщина и бездомность, так как старшим пришлось жить в детдомах и в интернатах.

Лева устроился у бабки Аксиньи более сносно и усиленно зазывал меня к себе, говоря: я, мол, спокойно и хорошо живу, а ты, мало что на работе надрываешься, еще и здесь воду таскаешь на огород да дрова колешь. Но когда я, было, согласился перейти к нему, решив, что лучше жить с одним Левой, чем с

четырьмя детьми, то Вера очень обиделась, и я остался. Конечно, ей не хотелось, чтоб я уходил, потому что она, особенно зимой, боялась остаться одна, и еще она, видимо, строила свои женские планы относительно нашей дальнейшей жизни. Однако мне долго прожить у нее не удалось. В сельсовете ей сделали внушение: как это она, заведующая клубом, и вдруг пустила к себе в дом тунеядца! Расстроенная Вера решила звонить секретарю райкома, который один в районе мог решить этот вопрос. Три дня она не могла до него дозвониться, тем временем наши отношения стали портиться, так как и мне стало у нее жить невмоготу. Я, было, решил перейти к Аксинье, но та довольно прохладно отнеслась к моей просьбе. Выяснилось, что шестидесятилетняя Аксинья строила те же планы относительно Левы, что и Вера относительно меня, так что я был бы там лишним. Из этого, правда, ничего не вышло, и впоследствии Аксинья несколько раз звала меня к себе на квартиру, но я уже твердо решил ни к кому на квартиру не идти.

Еще в день нашего приезда бригадир обмолвился, что есть какой-то дом за плотиной, где жили «тунеядцы», но он совсем разрушен. Вот я и пошел осмотреть этот дом. Дом стоял не на главной улице у плотины, а во второй линии, самым последним. В доме мне очень понравилось, стояла сильная жара, а там было прохладно. Дом был четырехстенный, с одной большой комнатой в 30 кв. м., с тремя оконцами — одним на восток и двумя на север, с дверью из полуразрушенных сеней, южная стена была сплошная, так как зимой дуют холодные южные ветры. Справа от двери была не печь, а кирпичная плита с двумя конфорками. В комнате стоял шаткий остов деревянной кровати, такой же, какая была у Ван Гога в Арле, и большой стол, весь изрезанный надписями: здесь были «Саша», «Вова», «Надя» и многократно повторяющиеся загадочные «Тир и Эт», а также вырезанное аршинными буквами поверх всего известное короткое русское слово. Дом был весь трухлявый, нескольких стекол в рамах не было, электричество было отключено, но жить в нем было вполне можно, во всяком случае летом. При доме была еще одна достопримечательность: большая уборная с выгребной ямой. Во всей деревне уборных было, может быть, четыре или пять, большинство жителей присаживалось где при-

дется. Мы с бригадиром заделали пустые рамы толем: стекла не было, он обещал, что электрик подключит электричество, как только приедет в деревню, и я перешел сюда жить, перенеся свои вещи от Веры. Кладовщица дала мне два ведра, рукомойник, две алюминиевые миски, ложку, вилку, топор, пилу, кастрюлю, чайник, маленькую сковородку и матрас, сшитый из двух мешков, а бригадир привез старую железную печку. Я поставил печку во дворе, набил матрас сеном, купил в магазине бидон для молока и нож, и зажил своим хозяйством. Теперь я был совсем один.

С моим домом, как я узнал потом, была связана легенда. Когда-то здесь была конюшня одного кулака, началась коллективизация, его раскулачили, конюшню отобрали и решили из нее сделать жилой дом. Тогда кулак проклял всех, кто будет жить в этом доме, сказав, что не будет им счастья. И верно, Любочку, женщину, которая поселилась здесь, бросили ее дети, вдобавок по ночам ее стала посещать нечистая сила. Тогда она бросила этот дом и перебралась в город. Дом пустовал. Предложили было поселиться в нем приехавшей из другой деревни бабке Аксинье, той самой, у которой устроился Лева, но она отказалась. Тогда этот дом отвели для ссыльных, в начале шестидесятых годов жило их здесь более пятнадцати человек. Потом некоторые попали в тюрьму, у других кончился срок и они уехали, третьи ушли в другие деревни или сошлись с местными бабами и перешли жить к ним. За время жизни ссыльных дом обогатился новой историей: один армянин, блатной, поругался с другим ссыльным и пырнул его ножом. Тот, к счастью, выжил, армянину дали всего два года, а за другим так и осталась кличка Резаный. Дальнейшая история Резаного довольно типична для Сибири. Работал он очень плохо, так что его однажды бабы на сенокосе даже граблями побили, но все же работал. И вот, когда ему уже недолго оставалось до конца срока, он вдруг работать в колхозе совсем бросил, удил рыбу, собирал грибы, а иной раз сосед давал ему немного хлеба. Так он и жил, пока однажды совсем не исчез. Скитался где-то в тайге, потом скрывался в Томске. Вскоре после нашего прибытия милиция его поймала, и его должны были судить. Что с ним стало дальше, я не знаю. Кроме мужчин, в доме жили и ссыльные женщины. Особо удивительной с точки зрения мест-

ных жителей, была молоденькая семнадцатилетняя сектантка. Она отказывалась работать на советскую власть, говоря: поставьте меня на двор к какому-нибудь хозяину, на него я буду работать, а на коммунистов я работать не буду. Приезжал председатель ее уговаривать, потом милиция ей угрожала. Она твердила одно: с телом моим вы можете сделать, что хотите, но моя душа вам неподвластна. Так прожила она месяц, а потом ее куда-то забрали. В Кривошеине при мне было несколько сектантов, но, как правило, они здесь задерживались до первых выборов. Как только они отказывались голосовать — а они это всегда делали — их ссылали далее на север, вниз по Оби. С еще одной женщиной жившей в этом доме, я сам вскоре познакомился. Ее звали Надя, года два назад она перебралась жить в Новокривошеино, где сошлась с одним ссыльным, из блатных. Ее выслали из Краснодарского края, беременную; месяца через четыре после приезда в Гурьевку она родила. После рождения ребенка она подала прошение об освобождении, но ей было отказано. Неизвестно, как прожила бы она с ребенком, без денег, в одной комнате с озлобленными и пьяными ссыльными, но ее приютила одна местная, Надя Кабанова. Последние две зимы дом пустовал, а летом там поселяли томичей, приезжающих на уборочные работы. В деревне упорно говорили, что там водится нечистая сила: то одна баба видела, как оттуда черт выходил, то тракторист прилег там в жаркий день отдохнуть и чувствует сквозь сон, как его кто-то душит, а подняться не может, насилу вырвался и убежал. Зимой, когда я жил один в доме, я слышал ночью, как кто-то идет вдоль глухой стены, где стояла моя кровать, и звенит цепями. Можно было подумать, что это бродит бывший владелец конюшни, закованный в кандалы. Но может быть все объяснялось и проще: недалеко от дома была кузница, и ветер гремел старым железом.

Глава четырнадцатая
МОЯ РАБОТА. ССЫЛЬНЫЕ

24 июня началась моя работа в колхозе, в восемь утра бригадир зашел к Вере, где я тогда жил, давать мне первый наряд. При первой встрече бригадир произвел на меня приятное впечатление, и хотя оно в дальнейшем несколько раз менялось, первое впечатление в общем было верным. Звали его Петр, или, как он сам говорил, Петро́ Алексеевич Шаповалов; было ему шестьдесят лет. В деревне рассказывали, что его отец был бандитом во время гражданской войны на Украине, сам Шаповалов на него якобы донес, и отца сослали в Сибирь. А когда после коллективизации на Украине начался голод, то и Петр Шаповалов добровольно поехал вслед за отцом. Коллективизация была самым ярким и жутким из вынесенных им впечатлений. Он вспоминал, как в начале тридцатых годов один маленький мальчик, увидев бегущего по улице украинского села поросенка, закричал: «Дедушка, смотри скорей, какой чудной зверь бежит!» — так старик даже заплакал: вот в какое время растут дети — поросенок в диковинку. Иллюстрация к тому времени, когда от голода погибли миллионы крестьян. Рассказывал он, как тысячи людей сажали по доносу, не кормили и почти не давали пить — так они сотнями и гибли в милицейских камерах, до суда дело и не доходило. Едва он обзавелся хозяйством в Гурьевке, как и в Сибири началась коллективизация, больше ехать было некуда. Однако хитрый хохол не растерялся. Сначала он работал в колхозе кузнецом, потом кладовщиком, а после войны его как фронтовика сделали председателем. Колхоз тогда был маленьким — только одна деревня. Время председательствования Шаповалова колхозники вспоминают недобрым словом; один старик говорил, что это «от его лютости» разбежался народ из Гурьевки. Но, я думаю, дело было не в лютости Шаповалова, а в лютости времени, когда во всех колхозах работали задаром, а с приусадебного участка платили огромный налог. И сейчас колхозники с ужасом вспоминают два страшных слова: налог и лесоповал. На зиму колхоз был обязан поставлять всех здоровых мужчин в ближайший леспромхоз на лесоповал. Жили они за колючей проволокой на положении обычных заключенных, за побег

получали несколько лет лагерей. Весной их отпускали на работу в колхоз, зато всех незамужних и бездетных женщин сгоняли на лесосплав. Вот Шаповалов и обязан был регулярно поставлять рабочую силу. Ему несколько раз устраивали темную, когда время подходило к зиме, но от лесоповала это не спасало, эту повинность отменили только после смерти Сталина. Когда колхозы укрупнили, Шаповалов остался в Гурьевке бригадиром и, как все говорили, стал помягче. Лет пять назад он вступил в партию, чем очень гордился.

Шаповалов дал мне наряд рыть ямы и ставить пасынки к столбам. Из Новокривошеина в Гурьевку шла электрическая линия, многие столбы покосились и вот-вот грозили упасть, теперь к ним подвезли комели. Надо было врывать их и прикручивать к ним столбы проволокой. Пока, впрочем, проволоки не было. Бригадир привел меня на большое вспаханное поле за деревней, посередине которого тянулась цепочка столбов, дал мне в руки лопату и палочку-измеритель, рыть надо было на глубину полутора метров. Почва была исключительно твердая: на глубине полуметра начиналась плотная глина, которую нужно было долбить лопатой; вдобавок у меня не было сноровки и умения. Стояла нестерпимая жара, жалили комары, в яме было прохладнее, зато и комаров было больше. Западная Сибирь, как я говорил, огромное болото, поэтому здесь невероятное количество комаров, к вечеру у меня распухало лицо. Когда я хотел присесть по нужде, то не мог этого сделать, пока не догадался залезть на высокую березу, где наверху комаров было меньше, и оттуда сделать, что хотел. Вырыв одну яму, я едва добрел до маленького лесочка на краю поля, чтобы немного отдохнуть в тени, а от комаров разложил костер; но едва я присел на землю, как на меня полезли огромные сибирские муравьи, которые жалили почище комаров. За день я вырыл три ямы, немного, впрочем, покривив душой — вторую я вырыл на десять, а третью на двадцать сантиметров меньше нормы. Пасынки я установил с помощью одного из сыновей Веры, а засыпать ямы было делом уже легким. Позднее на хорошем грунте, в низине, за четыре часа я мог вырыть четыре ямы. Меня удивило сильно, что пасынки не только не пропитаны раствором против гниения, но даже не обожжены; они должны были очень быстро сгнить в земле. Основания

столбов, врытые в землю, как я видел, уже основательно сгнили. Позднее я понял, что это вообще стиль колхозной работы: кое-как заткнуть дыры — и ладно, пусть через два года повалятся, лишь бы сейчас стояли.

На следующий день, или через день, бригадир послал со мной работать Леву, до этого он был на заготовке силоса. Мы начали каждый рыть свою яму, но Лева вскоре перешел ко мне и, пока я рыл, жаловался, что вот-де влипли в историю, страшная жара, земляная работа самая тяжелая, а работаем за палочки. Он с трудом за день вырыл одну яму и меня просил больше не рыть, чтобы «не подводить товарища».

Жалобы его, надо сказать, имели основание. Выражение «работать за палочки» или «за колы» появилось с самого образования колхозов. Дело в том, что оплата в колхозе по нормам исчисляется не в деньгах, а в «трудоднях», в совершенно произвольных единицах. Кто сколько выработает трудодней, тому столько малограмотный учетчик ставит в ведомость палочек. Палочки сейчас уже не ставят, пишут цифры, но сама система осталась та же. К концу года на общее число выработанных всеми колхозниками трудодней делят денежный и продуктовый фонд заработной платы. Раньше деньги на трудодни вообще не платили, а приходилось, например, на трудодень полкило картошки или 200 грамм зерна. Взрослый мужчина должен отработать в год 500 трудодней, так примерно и получается, так что в конце года он получал за работу мешок зерна или три мешка картошки. Три года назад колхоз перешел на денежную оплату с авансированием. На год заранее планировалась оценка трудодня в деньгах и зерне, и в середине каждого месяца колхознику за трудодни, выработанные в предыдущем месяце, выдавалась половина его денежного заработка. В конце года подводится итог, выдавалась остальная часть денег и зерно. В прошлом году, например, планировалось на трудодень 60 копеек и килограмм зерна. Каждый месяц колхозники авансировались тридцатью копейками на трудодень — в летние месяцы получается по 40-60 трудодней, в зимние — по 20-30, на ферме несколько выше. В конце года они получили еще по 15 копеек на трудодень вместо 30, так как план не был выполнен, и по килограмму пшеницы. Зерно для колхозников очень важно, они не только сами пекут себе хлеб, но

кормят скот. Излишки зерна можно продавать на базаре в Кривошеине, где его цена колеблется от четырех до пяти с половиной рублей за пуд, т. е. от 25 до 35 копеек за килограмм при государственной закупочной цене 12 копеек.

В этом году авансировали опять по 30 копеек на трудодень, то есть мы с Левой на трудодень могли получить в кладовой литр молока и одно яйцо. Забегая вперед, скажу, что в июле, работая без выходных, я заработал 60 трудодней, а в августе 40; столько же в среднем заработали и остальные колхозники. Прожить на эти деньги в месяц было очень трудно. Я, например, взял в кладовой килограмм сливочного масла за 3 р. 60 коп., — это 12 авансируемых трудодней. Выходит, я почти целую неделю работал по десять часов в сутки, чтобы купить килограмм масла. Между тем, поскольку мяса нам не давали, а молока — только литр в сутки, прожить без масла при тяжелой физической работе очень трудно. Ежедневный литр молока обходился в месяц в 6 руб., т. е. от трети до половины моего месячного заработка, а между тем в жару все это молоко можно было незаметно выпить за завтраком. Так как ссыльные, пока в кладовой есть продукты, берут столько, чтобы можно было прожить, они постепенно залезают в долги колхозу, и чем больше они работают, тем больше становятся должны. Правда, к концу года, когда они получают остающиеся на трудодень деньги и продают зерно, долг несколько уменьшается, но все равно остается. Раньше, когда несколько человек отпустили по половинке, им «простили» что-то по ста с лишним рублей долга, но теперь подобную практику отменили. Живи как знаешь!

Низкая заработная плата еще более понижалась тем, что все продукты в магазине и те, которые кладовая получала из магазина, как сахар и крупы, продаются с поясной наценкой. На Севере существует система поясных коэффициентов зарплаты: чем севернее зона, тем бóльшая процентная надбавка делается к основной зарплате, в промышленности, конечно; сельского хозяйства это не касается. Однако соответствующие надбавки делаются и к розничным ценам на продукты, кроме того, еще за доставку в сельскую местность. Так, бутылка водки в Москве стоит 2 р. 75 к. (без посуды), а в Гурьевке — 3 р. 05 к., сахарный песок соответственно 90 к. и 1 р. 06 к., и так

все продукты за немногими исключениями. Хлеб, овощи, молоко и мясо у колхозников свои. Хотя почти все держат скот, цены на мясо в районе очень высокие. Так, баранина летом доходит до 3 руб. за килограмм, свиное сало до 4 руб., зимой соответственно до 2 и до 3 рублей. Колхоз впоследствии продавал нам говядину что-то около двух рублей за килограмм. Так что прожить на 15 рублей в месяц, не имея своего хозяйства, — головоломная задача.

Как же выходили ссыльные из этого положения? Выход был простой: сойтись с какой-нибудь местной женщиной и жить у нее, — как говорили, «поджениться». Способ этот рекомендовали и одобряли и в милиции; там понимали, что иначе ссыльным в колхозах не прожить. Кроме нас с Левой, в деревне было еще четверо ссыльных, все они жили у баб. С одним из них, Федей, я познакомился еще, когда первый день рыл ямы, а он поблизости пас деревенских коров. Он из Краснодара, ему около пятидесяти лет; как «тунеядец» он был выслан на пять лет, из них отбыл в Гурьевке уже два года. Здесь он, поняв что к чему, быстро сошелся с местной бабой, Катей, горькой пьяницей, с двумя девочками-подростками, но зато и со своим хозяйством: домом, коровой и поросятами. Зимой он работал в колхозе, а летом вместе с Катей пас личный скот колхозников, впрочем, пас он один, а Катя только числилась пастухом. Меня удивило, как мало получает здесь пастух: за корову рубль в месяц, за овцу сорок копеек и еще немного молока и зерна, всего выходило рублей шестьдесят, тогда как в России пастух за в два раза меньшее стадо получает 150 рублей и вдобавок весь сезон поочередно кормится в домах у хозяев. Однако для Феди и это было хорошим заработком, в колхозе он никогда столько бы не заработал. Если же разделить этот заработок пополам с Катей, то выходило примерно как и в колхозе.

Другой ссыльный, Санька, лет тридцати, тоже «тунеядец» из Краснодарского края, пас колхозных нетелей. И он жил у местной, сорокалетней доярки Нади Кабановой, костлявой, как рабочая лошадь, тоже с двумя детьми: шестнадцатилетней девочкой и четырнадцатилетним мальчиком. Третий ссыльный, Ленька, тоже лет под тридцать, высокий и курчавый, как цыган, отбыл за бандитизм десять лет лагерей строгого режима, куда попал прямо из детдома, и получил два года ссылки как

дополнительную меру. Здесь он сошелся с бабой лет сорока, Аксиньей (не той, у которой жил Лева), бабой решительной и властной, и у нее было двое детей. При мне он работал конюхом, но, можно сказать, ничего не делал, кони бродили по деревне как дачники. В августе у него кончился срок, он пожил еще немного, поругался с Аксиньей и уехал из Гурьевки. Аксинья, конечно, была огорчена, но хорохорилась и кричала: что я-де плакать буду, все равно одна не останусь, Хрущев еще тунеядцев пришлет! Ленька, уехав из колхоза, работал где-то в Томске, потом в Батуми грузчиком, но вскоре опять попал в тюрьму и получил год лагерей, кажется, как «чердачник». Из лагеря он писал, что вернется назад в Гурьевку.

Четвертый ссыльный, тридцатипятилетний Валентин, высокий и толстомордый, работал раньше в какой-то электромонтажной организации под Москвой техником или прорабом и получил пять лет лагерей и два года ссылки за крупное хищение. Так как после лагеря месяца три он находился в дороге, а срок шел один за три, то в Гурьевке он пробыл немногим больше года, тоже сойдясь здесь с одинокой сорокалетней бабой, Нюшкой. При мне он работал на молочной ферме дояром-мотористом, то-есть следил за мотором и вакуумной системой для дойки. В сентябре у него кончился срок, он не уехал из Сибири, а устроился работать в Кривошеине, в контору «Сельхозтехники»; в начале следующего года перебралась в Кривошеино и его подруга. Несмотря на солидные замашки, был он пустомеля и пьяница.

К счастью для меня, рытье ям оказалось выгодной работой — за каждый установленный столб начисляли полтора трудодня, благодаря этому я и заработал в июне и в июле в общей сложности 70 трудодней. Работа на силосе и сене, куда меня потом поставили, оплачивалась гораздо ниже. Но сначала закончу со столбами. С перерывами я поставил в общей сложности пасынков двадцать пять, я их еще в августе ставил, кроме того, их ставил Лева, потом колхозники, потом бригада томичей под моим началом. При большой потребности в рабочих руках в колхозе на пасынки было затрачено много человеко-дней. Много сил еще было затрачено на пилку, ошкуривание и подвоз пасынков, — я тоже занимался этим. Наконец, столбы начали прикручивать, прикрутили шесть или семь, и

кончилась проволока. Так дело и было брошено — ни на это лето, ни на следующее к столбам никто не прикасался; ни один, к счастью, пока не упал, хотя многие покосились сильнее Пизанской башни. Это частная иллюстрация вообще распространенного колхозного явления: делать с надрывом и дела не кончать. Рыть полутораметровые ямы для столбов лопатой было крайне тяжело, даже ручным буром можно было это сделать раз в десять легче и быстрей. Бур в колхозе был, однако предпочитали в горячую пору заготовки кормов отрывать людей надолго для других работ, чем наладить бур в кузнице. Столбы, как я писал уже, даже не обжигали: что обжигать, эти сгниют — поставим другие! Наконец, вообще вся работа пошла насмарку, потому что проволоки не было в колхозе. Неужели проволоки нельзя достать?! Начали несколько лет назад строить в Гурьевке гараж для тракторов — стоит несколько лет недостроенный сруб, зимой его понемногу растаскивают на дрова. Этим летом, что я приехал, поставили новый сруб для яслей — на следующее лето они так и не были достроены; их ожидает, я думаю, судьба гаража, а обошлись они колхозу не дешево. Ясли недостроили, а уже начали строить новый амбар. На следующее лето амбар так и стоял недостроенный, а рядом уже расчищали площадку, чтоб строить новую сушилку. Дальше, по ходу рассказа, я еще приведу много примеров разбазаривания человеческого труда. Это происходит, я думаю, в основном потому, что труд нищенски оплачивается. Что, дескать, экономить на том, что и так ничего не стоит?! И кроме того, дело еще в психологии колхозника — психологии межеумка, который перестал быть крестьянином, но не стал рабочим и которому все равно, что будет с плодами его труда. И еще: колхоз — крупное хозяйство, а приемы хозяйствования все еще единоличные, «поправляют» ту или иную отрасль хозяйства, словно поправляют плетень у себя на огороде.

Следующая работа, с которой я познакомился, — заготовка силоса. Утром возле магазина собиралось человек пятнадцать баб, девок, подростков и мы с Левой. Колесный трактор с тележкой увозил нас километров за пять в тайгу, где на небольших лужках и косогорах, где не смог бы развернуться трактор с косилкой, бабы косили траву на силос вручную. Несколько человек, преимущественно девочки лет пятнадцати, сгребали

граблями скошенную траву в кучки, потом подъезжал грузовик или же опять колесный трактор с прицепом, тогда подростки лет шестнадцати вилами закидывали туда траву, а кто-нибудь один приминал сверху. Никакого точного соотношения между теми, кто косил, сгребал и грузил, не было. Сегодня шестеро могли косить, трое сгребать и четверо грузить, а завтра пятеро косить, четверо сгребать и трое грузить. За день удавалось нагрузить четыре-пять машин, работали с девяти до десяти с двухчасовым перерывом на обед, без выходных; выходной объявлялся «воскресником» — считалось, что мы работаем как бы не по обязанности в этот день, а из энтузиазма. Трудодни начислялись в зависимости от числа нагруженных машин, столько-то косарям, столько-то грабельщикам и столько-то грузчикам, а между ними делились поровну, каждому выходило примерно 2 трудодня в день. Такая же система была и на сенокосе, о котором я еще расскажу. Так что возникали непрерывные ссоры и упреки, кто больше, а кто меньше работает, особенно потом на сенокосе доставалось нам с Левой, потому что при всем желании мы не могли в проворстве сравняться с деревенскими, с детства привыкшими к этой работе. Одна машина травы при начислении трудодней считалась за тонну, хотя в действительности в ней было больше. Еще ранее я был свидетелем разговора бригадира с учетчиком, из которого понял, что колхозное начальство все время занижает фактическую выработку, чтоб съэкономить на без того ничтожной заработной плате.

В первый день, когда я вышел на эту работу и начал среди просохшего болотца вслед за бабами сгребать траву с кучки, через минуту я уже ничего не видел перед собой: в глаза, в рот, в нос налезли тучи комаров, так что я одной рукой пытался орудовать граблями, а другой отбивался от комаров, очки мне пришлось снять, чтобы не смахнуть их с носа. Колхоз никому из работающих в тайге никаких средств против комаров не выдает, и купить их тоже негде. Постепенно к комарам я как-то притерпелся, но все равно не поспевал за бабами-косарями, они меня даже пожалели и сами косами сгребли за собой несколько кучек. Я еще один день работал с граблями, а потом с вилами: грузил траву на машину; работа хоть и тяжелее, но требующая меньшего проворства. Меня удивило, что работа,

с которой за один день могла справиться машина, в течение двух или трех недель выполняется вручную. Ведь если бы колхоз имел маленькую механическую косилку, сразу высвободилось бы огромное количество человеко-дней. Тут снова можно натолкнуться на ту же подразумеваемую мысль: зачем покупать косилку, когда рабочая сила стоит гроши?! Отсутствие маленькой механической косилки, отсутствие бура, вообще отсутствие малой механизации — это такой бич для сельского хозяйства, что дело не поправит никакое количество комбайнов и тяжелых тракторов ДТ. Я еще буду говорить об этом, а также о нежелании колхозников, правильнее говоря колхозного начальства, хотя бы элементарно упростить и облегчить свою работу такими механическими приспособлениями, которые можно сделать не то что в колхозных мастерских, но даже в бригадной кузнице.

Машины свозили траву в бурту; впоследствии я несколько дней проработал буртовщиком, видел, как это делается. Бульдозером вырывается яма длиной метров тридцать, шириной пять-шесть и глубиной в середине два-два с половиной метра, с пологими спусками—это и есть бурта. В кузов машины заранее под траву кладется бревно с тросом; когда машина подъезжает к бурте, трактор зацепляет трос и сволакивает траву в бурту. По мере того как бурта заполняется травой, трактор приминает ее, или, как говорят, топчет. При мне первый год начали топтать трактором, раньше топтали на лошадях. Моей обязанностью было подцеплять трос к трактору, следить, чтобы трава в бурту скидывалась равномерно, и вести счет машинам. Получал я полтора-два трудодня в день, в зависимости от числа машин. Машин приходило в день около двадцати, из них 4-5 накошенные вручную, остальные косилкой на клеверных лугах. Когда бурта заполнялась почти до верху, ее утаптывали особенно тщательно и так оставляли до зимы.

С середины июля начался сенокос, косили косилками на тракторах и на конях. Ворошили и подгребали сено подростки на конных граблях. Полеводческой бригаде, которая, как я говорил, состояла из женщин, подростков и нас с Левой, предстояло класть копны, а потом ставить стога. На больших лугах в тайге сено было подграблено в длинные валки, вилами надо было сносить его в небольшие копны. Мы с Левой вдвоем начинали вер-

теть вилами такой валок, пока у нас не получался довольно большой крученый ком, на который мы еще сверху накладывали сено; дело у нас, впрочем, спорилось хуже, чем у баб. К середине дня спина уже нестерпимо ныла, а вечером, после десятичасовой непривычной работы, я чувствовал себя так, словно меня всего изломали. По мере того как на лугах сено складывалось в копны, началась установка больших стогов, в которых сено хранится до зимы. К работе этой привлекались все взрослые мужчины, главным образом трактористы. Валили березу, подцепляли ее тросом к трактору, и тот волочил ее по полю, останавливаясь возле копен, а мы быстро переваливали сено из копен на березу, один стоял на ней и более или менее равномерно распределял сено. Когда забрасывать сено становилось из-за высоты стога уже трудно, трактор подтаскивал березу к месту, откуда ее удобно было бы дотащить до деревни волоком зимой, обычно несколько стогов устанавливали рядом. Теперь предстояла самая трудная часть работы: вершить стог. Несколько копен волоком на лошадях подтаскивались к стогу, и мужчины, орудуя длинными навильниками, забрасывали сено наверх, а какая-нибудь женщина наверху конусообразно постепенно сужала стог. Наконец стог был готов, и учетчик промерял его, перекидывая через свежий стог веревку, чтобы начислить трудодни. Всем выходило полтора-два трудодня в день, тем, кто вершил, немного больше. Опять вся работа, которую мог бы быстро сделать стогометатель, выполнялась вручную, вдобавок колхозники давали себе лишнюю работу, суша сено в копнах, тогда как сразу можно было пускать трактор с березой между валками. Со мной из-за моей неловкости случилось маленькое несчастье: нога попала под березу, но, слава Богу, трактор вовремя остановили. Два дня я пролежал дома, пока не смог опять ходить, и немного отдохнул от колхозной работы. Я тал устал, что эти два дня почти целиком проспал.

Затем я чистил и ремонтировал сушилку, т. е. большой амбар и навес, где должно было сушиться и храниться зерно. Там был установлен огромный сушильный барабан, он обогревался березовыми дровами. Сушилка вся уже еле держалась, мы ее, можно сказать, только залатали на один год. На следующий год, действительно, начали строить новую сушилку, не до-

строив ничего другого. Большую часть зерна колхоз сразу отвозит на государственный элеватор, но семенное зерно, а также предназначенное для раздачи колхозникам, сушит у себя. На сушилке, когда сушили зерно, я работал очень мало, там были в основном бабы и присланные из Томска студенты. На сушильном барабане работали двое: кузнец Иван Горбачев и Дмитрий Филимонов, по прозвищу Филимон, мужик с гонором, но бестолковый и ленивый. Нужной температуры он в сушилке не поддерживал, и все недосушенное им зерно впоследствии сгнило. Несколько раз я ездил грузчиком с машиной на элеватор, за двадцать пять километров. Рожь у нас была крайне низкокачественная, пополам с травой, но все же ее приняли, а многие машины вернули назад, значит была еще хуже.

Глава пятнадцатая
КОЛХОЗНИКИ

Постепенно я познакомился с колхозной жизнью. Колхоз был разделен на четыре бригады, по числу входящих в него деревень: Новокривошеина, Ивановки, Гурьевки и Междуречина. Гурьевская комплексная бригада во главе с Шаповаловым состояла из трех частей: полеводческой бригады, подчиненной непосредственно Шаповалову, тракторной бригады со своим бригадиром и молочно-товарной фермы. Полеводческую бригаду и ее работу летом я уже описал, состояла она из тех, кто не был занят в тракторной бригаде и на ферме; заработок у нее самый низкий, особенно зимой, когда не получается по трудодню на день, зато больше свободного времени, за исключением посевной, сенокоса и уборочной. Механизаторы: трактористы, комбайнеры, шоферы, кузнецы — колхозная аристократия. Они авансируются на трудодень уже не тридцатью, а шестьюдесятью копейками и получают при окончательном расчете не один килограмм зерна, а два. Благодаря этому с начала посевной до конца уборочной их заработки для колхоза довольно высокие, у некоторых превышают сто рублей в месяц,

однако зимой они падают в четыре-пять раз. Поэтому тенденция идти в трактористы сейчас в деревне несколько ослабела. Из пятнадцати работоспособных мужчин в деревне восемь трактористов и комбайнеров (на три гусеничных трактора и два колесных, комбайны по бригадам не распределены), к механизаторам еще относятся кузнец и дояр-моторист на ферме, всего десять человек. Из пятерых остальных мужчин двое работали пастухами, один учетчиком, один бригадиром, и только один — девятнадцатилетний парень — в бригаде. На ферме летом, кроме пастухов и моториста, работали только женщины, но зимой и мужчины — рабочими и возчиками. Заработки там выше, чем в бригаде, особенно зимой, в несколько раз превышая зимние заработки механизаторов. Заведующей фермой была бойкая сорокалетняя баба, Степанида Алексеевна Боровинская; если сказать о ней в двух словах — хитрая лиса. Впрочем, все ее звали просто Стешка.

В Гурьевке вообще ни к кому не обращались: Степанида Алексеевна, или Мария Степановна, или Дмитрий Иванович, а говорили просто: Стешка, Манька, Митька. Или же давали прозвища: пятидесятилетнего Дмитрия Филимонова никто иначе не называл, как Филимон, а дети — дядька Филимон; пожилого тракториста Ивана Шиканова все звали просто Шикан. В деревне было несколько Марий, их называли кого Манька, кого Машка, кого Маруська, или же давали прозвища: Манька Пасториха, Манька Горбачиха и т. д. Иногда жену называли по имени мужа, например, жену старика Петра Антипенко звали Петиха, хотя имя ее было Анна, жену старика Сергея Разуванова — Разуваниха. Только к бригадиру большинство обращалось по имени-отчеству, а те, кто помоложе, говорили: дядька Шаповалов. Я буду тоже называть здесь всех колхозников Манька и Санька, не потому, что отношусь к ним без уважения, а потому что таков стиль отношений в деревне, который я хочу правдиво описать. Меня все называли Андрей, а также, как я узнал потом, дали еще прозвище Очкастый, которое в глаза, впрочем, никто ни разу не употребил.

Хотя за последние годы заработки колхозников в колхозе возрасли, все же они недостаточны для того, чтобы прожить на них. Основным источником дохода, как и раньше, остается свое собственное маленькое хозяйство. Все колхозники дер-

жат коров, а большие семьи по две коровы, и овец. Овец бьют на мясо, а также получают шерсть, но очень короткую, годится только на носки и варежки. Если корова перестает доиться, то иногда, но далеко не всегда колхоз мог продать колхознику новую корову на льготных условиях; купить корову с рук стоит около пятисот рублей. Бык только колхозный, но за случку колхозники ничего не платят. Телят обычно выращивают для продажи государству, закупочная цена более рубля за килограмм в живом весе, или же, гораздо реже, свежуют тушу и везут продавать на рынок. Так же все выращивают свиней на сало, которых обычно режут зимой. Двухнедельный поросенок стоит десять рублей. Все почти держат кур; яйца тоже можно сдавать государству через магазин, по цене 8 и 9 копеек за яйцо. Здесь нет той болезненной для личных хозяйств проблемы кормов, которую я видел позднее в центральной России. Когда кончался колхозный сенокос, колхозникам отводили индивидуальные покосы. Дело было только за временем и рабочими руками. Доярки, особенно безмужние, не успевают себе иногда достаточно накосить к зиме, однако зимой сено всегда можно купить. Каждый в конце года получает на трудодни несколько центнеров зерна, и, вместе с картошкой, которой засевали весь приусадебный участок, этого вполне достаточно, чтобы откармливать свиней и кормить кур. В Тульской или Московской областях, например, положение совсем другое. Хотя скот и здесь держать не воспрещается и налог не взимается, многие крестьяне чуть ли не с тоской вспоминают о сталинских временах, когда брали огромные налоги и заставляли бесплатно работать в колхозах, но зато давали покосы. Сейчас же покосов не дают, кормов тоже не дают в совхозах и колхозах. Сейчас никто не принуждает колхозника сдавать государству яйца, но если он хочет получить центнер комбикорма, он должен сдать государству 200 яиц. В деревне на Оке, где я сейчас отдыхаю, на тридцать с лишним дворов — 5 коров, и поросята далеко не в каждом доме; на противоположном берегу в большой деревне всего три коровы. Так что Сибирь находится в неизмеримо более выгодном положении.

Свое собственное хозяйство колхозники ведут столь же нерационально, как и колхозное, и не имеют ни малейшего представления, во сколько им самим обходится яйцо, литр молока

или килограмм свинины. Поскольку они не платят за них деньги, у них создается приятная иллюзия даровщины. Они ведь ценят свой собственный труд столь же низко, как его ценят колхоз и государство. Они не голодают, но зато обречены как бы на непрерывное служение собственной скотине. Едва они освобождаются от работы в колхозе, как тут же надо доить корову, кормить поросенка, окучивать картошку для того же поросенка и так далее.

Колхозники не прочь были пожаловаться на свою жизнь, на тяжелую работу, на те же «палочки». Но когда я их спрашивал, как бы они хотели жить, они отвечали: «А как иначе жить? Мы уж без этих палочек жить не умеем!» Мне было интересно знать, как относятся к колхозу те, кто еще хорошо помнит единоличное хозяйство. Отвечали по-разному. Некоторые хвалили очень то время, когда «каждый сам себе был хозяином». Гурьевка одной из последних подверглась коллективизации, уже во всем районе были колхозы, а гурьевские хуторяне держались. Тут, как рассказывают старики, «наехали уполномоченный за уполномоченным» — и дело пошло и поехало на отобранных конях. Другие говорили, что теперь зато работа полегче будет и — любопытный довод — постов соблюдать не надо. Все, однако, сходились в том, что к старому уже возврата быть не может, что к единоличному хозяйству колхозники вернуться не захотят, а главное, уже вести его не сумеют — «избаловались». Вспоминали еще, как жили богатые мужики: держали пасеки громадные, а сами меда и не пробовали — все на продажу, а в домах одни лавки голые стояли, теперь же самый нищий колхозник норовит купить железную кровать и радиопремник. Видимо, отсутствие своего хозяйства и неуверенность в будущем — сегодня есть, а завтра отберут — перевернули крестьянскую психологию. Сейчас, получив разрешение держать свой скот, получая хоть минимальную заработную плату зерном и деньгами, освобожденные от налога на личное хозяйство и от лесоповальной повинности, колхозники очень довольны своей жизнью. Все в один голос говорят: сейчас только и жить. И тут же начинаются жалобы на жизнь, тяжелую работу и низкую оплату труда.

Вообще, я думаю, это такой народ, из которого можно веревки вить. Если завтра власть решит из каких-либо оккульт-

ных политических или экономических соображений вернуться к единоличным хозяйствам, то каждый безропотно получит свой надел и начнет на нем пшеницу и лен сеять, если же власть решит вообще отобрать личные участки с избами вместе, поселить всех в бараках и кормить в столовых, то и это будет сделано без труда. Так что для подъема сельского хозяйства можно смело экспериментировать: повышать заработную плату и понижать, разрешать единоличный скот и запрещать. Однако, по-моему, только один эксперимент будет иметь успех: если создадут работника, который сам к себе будет относиться с уважением и не позволит над собой всякие шутки шутить, тогда он и работать будет как следует.

Пока что в колхозах существует, по сути дела, принудительный труд и колхозники находятся в совершенно бесправном положении. Так, они не имеют права уйти из колхоза иначе как в другой колхоз, их паспорта находятся в конторе, и на руки они их не получают. Отпустить могут какого-нибудь больного или увечного, или женщину одинокую, от кого уже толка нет. Для молодежи есть только две возможности вырваться из колхоза — это не вернуться домой после армии, что большинство и делает, или пойти учиться; тем, кто кончил школу, и смог поступить в техникум или институт, паспорт дается на руки. Внутри колхоза колхозники тоже находятся в совершенно бесправном положении: от них совершенно не зависит «выбор» председателя, объединение или разъединение колхозов, установление размеров оплаты и так далее. Они опутаны системой денежных штрафов и запрещений, а в спорном случае в суд на колхоз подать не могут. Это бесправие имеет обратную сторону. Колхозник знает, что его никуда из колхоза не отпустят, но зато и не выгонят, что бы он ни натворил. Сколько вреда ни принесет колхозник, его всё будут переводить с одной работы на другую или даже оставят на старом месте. Колхозников штрафуют — но делают вычеты с нищенской заработной платы, а нищему не страшен штраф, штраф страшен обеспеченному человеку. Вдобавок штрафуют так несправедливо, что это не поднимает чувство ответственности, а разлагает его.

Семей, которые были бы, по колхозной мерке, хорошо обеспечены, в деревне не так уж много, преимущественно это семьи трактористов. В самом трудном положении, пожалуй, безмуж-

ние женщины, которых на тридцать два двора приходится четырнадцать человек, или тринадцать дворов, так как две сестры держат общее хозяйство. Восемь из них живут с детьми, остальные уже старухи, дети их разъехались. У одних мужья умерли, другие развелись, третьи замужем не бывали, так как много мужчин их возраста погибло на войне. Что касается детей, то тут и ссыльные вложили свою долю, а также разные уполномоченные эпохи сталинских налогов, которые за сожительство обещали снизить налог или освободить от лесосплава. У женщин моложе сорока лет детей не так много, как бывало в деревнях раньше, обычно 2-4 ребенка. Это благодаря разрешению абортов. Один старик с усмешкой мне рассказывал, что вот у него было двенадцать детей, а теперь-де бабам много родить не дадут — «теперь детей в Кривошеине кочергой вышкребают». В деревне, где все знают жизнь друг друга, никакой аборт не остается в тайне, и деревенская общественность всегда его оживленно комментирует. Если женщина поехала в Кривошеино в районную больницу делать аборт, это называется «ехать на фестиваль» или «ехать на песни». На месте же медицинское обслуживание ограничивается фельдшером, который живет в соседней деревне, и в Гурьевку приезжает летом раз в неделю, а зимой раз в месяц.

К фельдшеру, молоденькой девушке, за помощью обращались довольно охотно, особенно женщины, ездить же в районную больницу почти ни у кого времени не было. О больницах и о врачах рассказывали друг другу самые жуткие истории: вроде того, что кто-то видел случайно в больнице, как врачи подвесили одного больного на железных крюках и поджаривали на медленном огне, а тот, кто увидел это, сам едва живым ноги унес. Какие-то другие врачи у больных кровь все время брали и за бешеные деньги продавали, пока больные совсем не окачурились и т. д. Объясняли же все это тем, что «не все врачи русские» — видимо, отголосок усиленно распространяемых при Сталине слухов о врачах-евреях, занимающихся вредительством. Вместе с тем, случись с кем-нибудь что-либо серьезное, все, конечно, обратились бы в больницу.

Несмотря на такое обилие внебрачных детей и легкость, с какой сходятся со ссыльными, в деревне есть свои твердые моральные нормы, переступать которые женщины не решают-

ся. Например, считается совершенно невозможным, чтоб женщина сама пошла в дом к мужчине, ни к местному, ни к ссыльному. Так, я стою возле своего дома, а мимо с дойки идет доярка.

— Манька, — говорю я, — ходи сюда. — В Гурьевке вместо «иди сюда» говорят «ходи сюда».

— Нет, не пойду.

— А что так?

— Ты меня обманешь, как в прошлый раз, — отвечает Манька, а надо сказать, что она отнюдь не невинная девушка, ей под сорок и у нее двое внебрачных детей. Может быть, она совсем не против, чтоб я сам зашел к ней, но она живет с сестрой.

Детей воспитывают здесь очень странно, так что это не дети, а какие-то маленькие взрослые, чуть ли не с младенчества посвящены они в отношения взрослых, самые интимные, в хозяйственные вопросы, в ссоры с соседями, в весь тот мир, который есть исключительно мир взрослых и которого ребенку так или иначе не миновать, когда он вырастет; в детстве у него должен еще быть свой собственный мир, которого не касались бы проблемы взрослых. В деревне вообще очень распространен мат, все мужчины и почти все женщины без матерной ругани двух слов связать не могут, так же почти все они, за немногими исключениями, ругаются при своих детях, будь им три года или шестнадцать лет, все равно. И какой-нибудь мальчишка лет четырех, который только едва выучился говорить, уже загибает такие выражения, что впору пьяному Филимону. Никто его не остановит. Так же грубо, а подчас и изощренно-грубо, ругаются и девочки пятнадцати-шестнадцати лет.

В деревне два детских учреждения: ясли и начальная школа. Ясли — туда ходят все дети дошкольного возраста — открываются только на время летней заготовки кормов и хлебоуборки. Персонал их состоит из няни и заведующей, которая в то же время повариха. Заведующей в то лето, когда я приехал, была бывшая телятница, маленькая женщина пятидесяти лет, тетка Просочка. Она очень эту работу проклинала, говорила, что в тысячу раз лучше за телятами ухаживать, чем за детьми, у нее самой детей не было. Вообще она была женщина хорошая и при детях никогда не материлась. Няней была горбатенькая Поля, старушка лет под шестьдесят, она все время материла

детей тоненьким голоском. Зимой ей тоже иногда давали доярки детей последить за ними. Помещались ясли в бывшей конторе, оставшейся от той поры, когда в Гурьевке был свой колхоз. В другой половине конторы помещался клуб, о котором я еще скажу.

В начальную четырехклассную школу с сентября ходило двадцать два школьника. Преподавал во всех классах высокий худой человек лет сорока с лишним, он же директор школы. В свое время он окончил учительский техникум, как и майор, вместе с которым я шел в ссылку. Учитель был вторым, после Шаповалова, коммунистом в деревне. Зимой недолгое время вместе с ним преподавала еще учительница, молоденькая девушка, которая только что кончила десятилетку в Кривошеине. Большинство детей училось очень медленно, то и дело оставаясь на второй год, а некоторые сидели в одном классе по три-четыре года. Не все, конечно. Приблизительно две трети после окончания начальной школы шли в восьмилетнюю школу в Новокривошеино, где был интернат, некоторые, недоучившись, возвращались потом назад. Десятилетка, тоже с интернатом, была в Кривошеине, из Гурьевки там училась только одна девочка.

Колхозники недоброжелательно относились к учителю, не потому, что он был плохой учитель или плохой человек, а потому что он был вне той системы принуждения, от которой они зависели, занимался, с их точки зрения, более легкой работой, чем они, получал за это больше денег, имел в то же время, как и колхозники, свое подсобное хозяйство. По этой же причине не любили продавщицу магазина, бойкую сорокалетнюю женщину, жену учителя, а также заведующую клубом. Вообще отношение к «городским» было подсознательно завистливое, колхозникам всё казалось, что в городе ничего почти не делают и припеваючи живут, пока они здесь в навозе ковыряются: своего рода комплекс социальной неполноценности. В деревне все почти были друг с другом в родне, но непрерывно враждовали, подсчитывали чужие заработки и болезненнее переживали чужой успех, чем собственную неудачу. К ссыльным тоже относились недоброжелательно, но, в отличие от отношения к учителю или продавцу, это было высокомерным недоброжелательством, хотя иной раз не прочь были сказать, что они-де

сами тут «в вечной ссылке». В ссыльных видели не только чужаков, но чужаков униженных, бесправных; если в советской иерархии колхозники занимали самую низшую ступеньку, то вдруг появились люди в еще более бесправном положении, чем они, и колхозники, которые на председателя смотрят чуть не как на земного бога, а выше районного начальства и вообразить ничего не умеют, получили возможность уже сами покичиться перед кем-то: я-де колхозник, а ты тунеядец, я свободный, а ты сосланный, я и прогулять смогу, если захочу, а тебя за это судить будут. Так забитая корова, которую шпыняли все в стаде, радуется случаю боднуть еще более забитую.

«Тунеядцы», действительно, находятся в самом жалком положении. На работу их ставили обычно ту, от которой отлынивали колхозники. За три дня прогула их ожидал суд, суд мог добавить года два к ссылке или же дать полтора-два года принудительных работ, которые ссыльный отбывал тут же в колхозе, но в срок ссылки они ему не засчитывались. Вовсе не нужно было для этого прогулять три дня подряд, достаточно было прогулять день раз, день через месяц и день через год; если бригадир подавал председателю докладные на эти дни, тот всегда мог передать их милиции, и дело переходило в суд; не всегда, конечно, бригадир и председатель так делали. Что до прогулов, то летом в колхозе вообще не бывает выходных, на ферме выходных не бывает и зимой, а большинство ссыльных зимой работает на ферме, работать же каждый день в течение нескольких лет просто невыносимо. На отсутствие выходных дней и отпусков жалуются и колхозники. Формально полагается выходной каждую неделю и двухнедельный отпуск раз в год, однако вместо отпуска и выходных колхозникам делается минимальная прибавка к заработной плате, что-то около 0,2 трудодня за воскресенье. Однако колхозники получают несколько свободных дней после посевной и перед заготовкой силоса, когда в колхозе нет горячей работы, а они сажают на своих участках картошку. Потом они получают несколько свободных дней после колхозного сенокоса и до хлебоуборки, чтобы накосить сена для своего скота. Зимой у полеводческой бригады выходной почти каждое воскресенье, а многим трактористам вообще нечего делать, они в бригаде работали — ездили за силосом или же просто дома сидели. Но все это не отно-

сится к ферме. Многие доярки годами работают без отпусков и выходных, в редких случаях их на день-два заменял кто-нибудь. Поэтому никто не хочет идти на ферму, несмотря на более высокие заработки там.

Как ни парадоксально, на отпуск в колхозе могут скорее рассчитывать ссыльные, чем колхозники. Если «тунеядец» года два поработает в колхозе без замечаний и ни разу не попадет в милицию, то он может получить зимний месячный отпуск, если он только не работает на ферме, и разрешение съездить к себе на родину. Милицией выдается ему маршрутный лист, с указанием места поездки, маршрута следования и срока возвращения. По прибытии и отбытии из родных мест ссыльный обязан заверить его в местных органах милиции. Однако это очень редкое исключение, сам я таких людей не встречал. Предусмотренная законом «половинка», цель которой, по-видимому, стимулировать у ссыльного желание хорошо работать, ставит «тунеядца» в еще более бесправное положение перед местным начальством, так как досрочное освобождение зависит не столько от хорошей работы, сколько от хорошего отношения с начальством, в данном случае с бригадиром, председателем колхоза, комендантом, начальником районного отдела милиции и, наконец, местным судьей, который и принимает окончательное решение о досрочном освобождении. Если кому-то из них ссыльный не угодил, нечего рассчитывать на «половинку». Главным звеном в этой иерархии начальников были, конечно, колхозные власти, с которыми «тунеядец» все время так или иначе сталкивался; тогда как отношения с милицией у живущих в колхозах ограничивались, за исключением чрезвычайных происшествий вроде драк, только тем, что они каждый месяц расписывались в книге у участкового уполномоченного. Даже тот, кого в колхозе примут решение отпустить по истечении половины срока, проработает еще несколько месяцев сверх срока, если его «половинка» попадает в разгар колхозных работ.

Хотя колхозники живут довольно сытно, но на редкость скучно, почти все их время, свободное от работы в колхозе, занимает работа в личном хозяйстве. Однако есть и маленькие развлечения. Главное — это выпивка. Летом, правда, пьют мало, зато зимой чуть ли не каждый день. Водку пьют в случаях осо-

бо торжественных, а больше самогон и брагу. Это также эквивалент платы за разные услуги: колку и пилку дров, косьбу и т. д. Самогон гонят из ржи, очень невкусный, какого-то мутно-зеленого цвета, крепостью градусов 20-25. В деревне самогонные аппараты не у всех, их берут друг у друга, чтоб нагнать самогону к какому-нибудь празднику или чтобы расплатиться с кем-нибудь за работу; гонят обычно зимой, когда есть снег для охлаждения. Сам аппарат весьма примитивен, состоит из корыта, где варится сусло, и змеевика. Брагу варят круглый год во всех домах. По-настоящему, это сырье для сахарного самогона, но самогон из нее не гонят, а пьют так. Кипятят воду, на ведро кладут три килограмма сахару, а те, кто поскупей, — два; когда вода остынет, кладут дрожжи и плотно закрывают в бидоне, иногда для цвета добавляют чай и для вкуса хмель. С хмелем брага скорее бьет в голову, и его добавляют в брагу, предназначенную «для угощения», чтоб угощаемый меньше выпил — характерная черта деревенского гостеприимства. Брага должна «походить» минимум три-четыре дня, прежде чем ее можно пить, вообще же, чем дольше бродит брага, тем она крепче. От трех кружек браги уже сильно пьянеешь, поэтому колхозникам выгоднее делать ведро браги, чем за те же деньги покупать поллитра водки в магазине. Поэтому самогоно- и браговарение преследуется законом как уголовное преступление, и предусматриваются наказания от сторублевых штрафов до нескольких лет лагерей. Многие колхозники платили штрафы, а один отбывал в лагере год, но никого это не останавливает.

Выпивка — развлечение для людей постарше. Для молодежи это клуб. Молодежь всё, впрочем, лет четырнадцати-шестнадцати, старше семнадцати лет только одна девушка и трое ребят. Летом в клубе почти каждый вечер танцы, особенно когда прибывают томичи, и примерно раз в неделю кино, зимой только кино, а весной и осенью, когда дороги растекаются в грязь, — вообще ничего, фильмы привозят вместе со всей аппаратурой двое механиков на мотоцикле из Кривошеина. Фильмы всё старые, шли частями, после каждой части зажигали свет и аппарат перезаряжали. На фильмы иногда ходили люди постарше и совсем старики, по ходу дела делались замечания. Так, когда показывали какой-то фильм, живописующий ужасы бухарского эмирата, один из стариков с интересом мне заметил:

«Из старобытной жизни фильм, когда каждый сам собой руководил». После кино начинались танцы, до приезда томичей танцевали главным образом девочка с девочкой, танцевали три танца: вальс, чарльстон и какой-то танец, видимо местный, с прискоками и прихлопыванием. Радиолы и пластинок не было, а местный баянист знал только эти три танца. Весь клуб — одна сорокаметровая комната в бывшей конторе, уставленная четырьмя неуклюжими скамьями для кино, которые сдвигаются к стенам во время танцев. Между колхозницами идет грызня за право быть уборщицей в клубе. Уборщица получает 26 рублей и освобождена от работы в колхозе.

Заведующая клубом, моя приятельница, ко всем этим клубным развлечениям никакого отношения не имела и в клуб почти не заходила, вся ее работа состояла в том, что она по районным шпаргалкам писала лозунги типа: «Механизаторы! Боритесь за уборку урожая во-время и без потерь!» Лозунги эти она писала неуклюжими буквами мелом на кусках красной материи и вывешивала в разных местах деревни для воодушевления колхозников. Так же она выпускала «боевые листки» на специально отпечатанных листах с рисунком, изображающим в профиль колхозника и колхозницу на фоне летящего спутника. Бригадир говорил ей, например, что на уборке сена хорошо работали такие-то, и она писала: «Честь и слава колхозницам Кабановой Марии и Горбачевой Анне, которые хорошо работали на заготовке сена» и т. д. Или же бригадир говорил, что такой-то пастух плохо пасет скот и надо его покритиковать. Тогда она писала: «В нашем колхозе им. Калинина работает некий Крицкий Михаил, который плохо пасет скот, но часто прикладывается к водочке», и всё в таком духе, перевирая фамилии и имена и с массой грамматических ошибок.

Своего рода клубом, преимущественно женским, был и магазин, куда заходили не только купить что-нибудь, но и поболтать, рассказать и услышать последние сплетни, кто с кем поругался, кто сколько выпил. За этим в деревне почему-то особенно следили и при встрече обстоятельно друг другу пересказывали, сколько они и по какому случаю вчера или сегодня выпили. Особенно хорошо была информирована продавщица, которая точно знала, сколько кому она продала бутылок водки, вина и сахара.

К достоинствам Сибири надо отнести, что там магазин есть в каждой деревне, видимо, из-за дальности расстояний между ними. Открыт он бывает рано утром и вечером, то есть в те часы, когда колхозники не работают. Обычно это довольно просторная изба, в передней комнате прилавок с полками, а в задней, поменьше, нечто вроде склада. В магазине продаются водка, вино, сахар, крупы, печенье, конфеты, растительное масло, консервы, мужская и женская одежда в небольшом выборе, посуда, а иногда по заказу привозили мебель и велосипеды. Благодаря энергии продавщицы наш магазин, применительно к деревенским условиям, снабжался хорошо.

Глава шестнадцатая
СТУДЕНТЫ

Власти энергично преследуют плотников, печников, вообще всех строителей, работающих по вольному найму, называют их «тунеядцами», «шабашниками», ссылают, сажают или заставляют сменить профессию. Кто же тогда строит в колхозах, которые не в состоянии создать строительные бригады или обеспечить их достаточным количеством рабочих рук, вдобавок квалифицированных? Из этого положения выходят довольно интересным образом: во время летних каникул из студентов формируют строительные бригады и направляют их в колхозы, где они работают по договорам, т. е. на тех же условиях, что и «шабашники», за ту же цену, только несколько хуже. Студентам зачастую не хватает опыта — да и откуда ему взяться, и построенные ими здания оказываются с большими изъянами. Так, построенный летом студентами коровник в Малиновке при вводе в эксплуатацию рухнул, задавив одну доярку до смерти и нескольких покалечив. Студенты тут, я думаю, мало виноваты, виновата такая организация труда, когда составляется техническая документация вне зависимости от тех условий, в которых будет эксплуатироваться помещение, добываются с трудом случайные материалы и привлекается неквалифицированная рабочая сила. В Гурьевке при мне студенческая бригада

поставила сруб для яслей и навела крышу. Сделали свое дело они, по-видимому, добротно, однако я видел, как они работали. Настоящими работниками у них были, пожалуй, только их бригадир, малоприятный рыжий парень, родившийся в большом селе и, видимо, там изучивший плотницкую работу, да еще один студент, из Восточной Сибири. В большинстве своем они поехали в колхоз под нажимом комсомольской организации: один вообще не работал, а только еле-еле постукивал топором, другие с большим азартом, но неумело и малопродуктивно. Ставили сруб они более месяца.

Само по себе привлечение студентов на летнюю работу в деревню и возможность для студентов подработать — дело хорошее. Но это не решение строительной проблемы для колхозов. А проблема капитального строительства стоит очень остро. В одной только Гурьевке надо строить ясли, клуб, сушилку, амбары, достраивать гараж и телятник, строить новый или коренным образом реконструировать старый коровник, а также ставить несколько новых изб для колхозников. В колхозе четыре таких деревни, как Гурьевка, а сколько тысяч таких колхозов в стране. Во многих местах до того уже дело дошло, что негде держать колхозный скот, его распределяют колхозникам по домам. Введена новая повинность: принимать колхозных коров на постой, а плотники, каменщики и штукатуры устраиваются куда-нибудь работать сторожами, чтоб избежать высылки. С другой стороны, и студентов можно было бы использовать в деревне гораздо разумнее, прежде всего студентов технических вузов, которые способствовали бы введению в колхозах малой механизации. Студенты гуманитарных вузов могли бы быть использованы для социологического исследования деревни, исследования, которое дало бы возможность научного подхода к перестройке сельского хозяйства. Если человек уже три или четыре года проучился, разумнее эксплуатировать его знания, чем силу его мышц для поднятия балок.

Десять студентов, приехавших в середине июля для строительства яслей, и одну студентку-повариху поселили у меня в доме. Это были молодые люди в основном двадцати двух-двадцати четырех лет, в этом году они кончили четвертый курс. Теперь я смог расшифровать загадочные буквы «ТИРиЭТ», вырезанные на моем столе. Это означало — Томский институт

радиоэлектроники и электронной техники, студенты которого приезжали в Гурьевку уже не первый раз. Они прожили до 20 августа, с первых же дней между нами распределились молчаливо обязанности: они назначали двух дежурных в помощь поварихе, которые носили воду и кололи дрова для печи, а я каждый день носил для всех молоко с фермы. Ел я вместе со студентами, иначе и не получилось бы, так как печка была одна и студенты пользовались моей кастрюлей, чайником и сковородкой. По договору с колхозом, каждый из них должен был получить около ста пятидесяти рублей, так что ели они очень обильно, беря в кладовой мясо, яйца, крупы, маргарин в большом количестве. Я тоже брал продукты в кладовой и вносил их в общий котел, однако тут резко сказывалась разница в наших заработках. Хотя я и стремился как-то не отстать от студентов, выходило все же, что частично я живу на их счет, а с другой стороны, я все же столько набирал продуктов, что основательно влез в долг колхозу. Помню, как мы садились за длинный стол, вынесенный на улицу, и наша повариха, белокурая и величественная, самая высокая среди нас, накладывала каждому полную миску пшенной каши.

Кроме студентов, в конце июля приехало человек пятнадцать томичей с одного из томских заводов. Их использовали в колхозе на разных работах, в том числе и на рытье ям для столбов, тут я у них был чем-то вроде бригадира. Им, как и колхозникам, начисляли трудодни, но на трудодень они получали гарантированные 90 копеек. Продукты тоже брали в кладовой и к концу своего пребывания ничего не заработали, но и ничего не задолжали. Прислали их в какое-то странное время между сенокосом и уборочной, так что делать им было особенно нечего. Вообще не знаю, оправдывает ли себя экономически мера присылать летом и осенью в колхоз рабочих из городов.

Студенты частным образом сговорились с одним трактористом срубить ему для скота, как здесь говорят, «стайку», и он пригласил их каждую неделю мыться в бане. С ним и я впервые помылся в сибирской бане, до этого я мылся в пруду. Потом я часто парился в бане у двух братьев-стариков. Баня такая же, какой, по рассказу «Повести временных лет», удивлялся апостол Андрей у новгородцев. Небольшая бревенчатая избушка с печкой; если печка с дымоходом, то это баня по-белому, если

трубы нет и дым идет прямо в баню, то это баня по-черному, все стены ее черны от копоти и сажи, так что надо мыться осторожно, чтобы не испачкаться снова. У стены напротив двери под потолком сделан поло́к, где можно париться. Баня топится березовыми дровами несколько часов, с открытой дверью и с открытой отдушиной в потолке, с дровами кладутся железяки, которые раскаляются до-красна. Когда баня хорошо протоплена, ее проветривают от угара, а потом закрывают дверь и отдушину в потолке, остается только маленькое окошечко для света, иногда оно застеклено. Раскаленные куски железа бросают в кадку с водой, вода разогревается, по всей бане идет пар. Время от времени ковшиком поддают горячей воды на раскаленную печь, ложатся на поло́к и хлещутся березовыми вениками. Дух в бане такой, что без привычки долго не выдержишь. Первый раз я несколько раз выскакивал на свежий воздух, прежде чем помылся. Потом привык. Так попарившись, хорошо бежать к пруду и сразу бросаться в холодную воду, а зимой прямо в снег. После бани чувствуешь себя, будто снова родился. В бане по-белому мне меньше понравилось.

Во всей деревне из-за аварийных столбов на месяц отключили электричество; когда снова дали ток, впрочем, так и не прикрутив столбы, студенты провели электричество и в мой дом. Пока же мы сидели по вечерам при свете керосиновой лампы, обычно несколько человек, в том числе и я, играли в карты. Как-то вечером у нас был любопытный спор, который, как я хорошо помню, был бы просто невозможен в студенческой среде пять-шесть лет назад, когда я учился в университете; тогда никто бы не решился так поставить вопрос. Мы, не помню уже с чего начав, заспорили: что лучше — социализм или капитализм? Спор, если можно так сказать, шел в технологической плоскости: какая система создает наиболее благоприятные условия для экономического развития? Я говорил, что в определенных рамках свобода частной инициативы создает гораздо большие возможности для хозяйственного прогресса, чем система строгого регламентирования свыше. Двое или трое студентов активно спорили со мной, остальные высказывались очень противоречиво, видно было, что этот вопрос их очень занимает, но определенного ответа на него у них самих нет. Впрочем, и у меня его тоже нет, я отстаивал капитализм

только потому, что кто-то же должен быть его защитником в споре. Один из студентов, кстати вовсе не враждебно относившийся к социалистической системе хозяйствования, очень резко высказался против коммунистов, сказав, что, если коммунистам не давать никаких преимуществ, будет «меньше вони», чем страшно разозлил другого студента, единственного коммуниста в группе. Еще у нас был разговор о принудительном труде. Хотя студенты хорошо относились лично ко мне, большинство из них находило правильной высылку «тунеядцев», считая, что тех, кто не хочет работать, нужно принуждать к этому насильно. Также я заметил у студентов, если не явно сталинистские настроения, то во всяком случае очень терпимое отношение к Сталину и стремление подчеркнуть, что это был выдающийся человек, не чета Хрущеву и нынешним руководителям.

Еще более сталинистские позиции занимали студенты, которых прислали в начале сентября на хлебоуборку и поселили в моем доме, пятерых мальчиков и пятерых девочек. Они были из разных сел и городков Сибири, в этом году поступили в Томский медицинский институт и сразу же были посланы в колхоз, так что студенческой жизни еще и не нюхали. Они сохранили в неприкосновенности весь воинствующий провинциализм вчерашних десятиклассников. Я слышал от них рассуждения вроде того, что Хрущев, мол, «распустил народ», все работают кое-как, нужен человек, который бы, как Сталин, держал всех в руках. К сожалению, так глубоко укоренилась в советских людях от мала до велика мысль, что добиться чего-либо можно только силой и принуждением. Впрочем, некоторые студенты, кто раньше не только учился, но и работал, ругали многие порядки на заводах, низкую оплату труда, тяжелые жилищные условия, но обвиняли во всем этом евреев, которые захватили все лучшие места. Все почти студенты были антисемитами, причем самого неприятного, «хохлацкого» толка. Не знаю, были ли антисемитские настроения в первой группе студентов — один из них был евреем, и этот вопрос прямо ни разу не поднимался.

Насколько хорошими были у меня отношения с радиоэлектрониками, настолько плохими с медиками, насколько я был огорчен отъездом первых, настолько нетерпеливо ждал, когда

уедут вторые и я останусь один. Может быть, нашим плохим отношениям способствовал эпизод, в котором принял участие «хозяин района» — тот самый первый секретарь райкома Пупов, покровительством которого пользовалась заведующая клубом. Он приехал вместе со студентами и, разыгрывая из себя гостеприимного хозяина, захотел посмотреть дом, куда их собирается поселить бригадир. Студенты из ТИРиЭТа, пока строили ясли, частенько выпивали, и в доме осталась целая батарея пустых бутылок, которую я не трогал. Пупов в сопровождении своей свиты, бригадира и студентов вошел в дом и сразу же увидел бутылки. Я в это время был на работе. «Кто здесь живет?! — вскричал Пупов. — Тунеядец? Выселить вон отсюда этого пьяницу!» Когда я вернулся вечером домой, я увидел, что на месте, где стояла моя кровать, сделаны топорные нары, а кровать отодвинута к самой двери, а наутро пришел бригадир и сказал, чтобы я перебирался в полуразрушенное здание старого клуба, где жили томичи с завода. Выходило так, что со студентами «тунеядцу» жить нельзя, а с рабочими, черной косточкой, можно. Однако я отказался куда-либо уходить, по моему настоянию студенты сломали свои нары, я поставил кровать на место, а они спали на нарах, сделанных еще первыми студентами. Бригадир махнул на все рукой, считая, что когда, мол, еще первый секретарь райкома заглянет в Гурьевку.

Глава семнадцатая
КОНИ И КОРОВЫ

В конце июля, как сенокос кончился, я смог немного отдохнуть. Правда, бригадир давал мне наряд каждый день: то я ходил ставить столбы, то пилил их и подвозил, то ездил на элеватор, но, за немногими исключениями, работа эта отнимала мало времени. Одиннадцатого, как я помню, августа я получил наряд ехать в Новокривошеино за семенами. Когда я подошел к амбарам, где должна была ждать машина, я увидел, как в толпе мужиков бригадир спорил с одним из ссыльных, Санькой.

Санька этот худой, горбоносый, с какими-то блеклыми свисающими волосами, выслан был откуда-то из-под Сочи, из Краснодарского края, вообще давшего самый высокий процент «тунеядцев». Рассказывал он мне потом о себе много, но как-то путано: он и шофером был, и плотником, и овец пас, и на Колыме был, и в тюрьме сидел... При случае, как я заметил, любил приврать, но без всякой выгоды для себя, а так просто. Сослали его, как он говорил, за то, что запил после смерти матери и сестры, и здесь он запивал частенько, но его подруга, Надя Кабанова, крепко держала его в руках. На словах он был человек очень решительный и храбрый, но в действительности, что называется, тряпка, положиться на него ни в чем было нельзя. Летом в колхозе он пас нетелей, то есть взрослых телок, еще не телившихся. Я во время сенокоса частенько встречал его со стадом, на коне, подобно техасскому ковбою, с бичом в руках и в накомарнике. «Я один пасти больше не буду, — кричал теперь Санька бригадиру, — ставьте второго пастуха, или пусть коровы в загоне стоят!» Действительно, ему приходилось очень трудно: если сто дойных коров пасли двое пастухов, то сто нетелей, с которыми, конечно, труднее управиться, все время ему приходилось пасти одному. «Где ж я тебе возьму пастуха? — разводил руками бригадир. — Видишь, никого в бригаде народу нет». «А вот пастух», — сказал один из мужиков, указывая на меня. Все рассмеялись, однако мысль стать пастухом не показалась мне странной. В детстве моя мама, укоряя меня за плохое ученье в школе, постоянно говорила: «Ты будешь пасти коров». «Что ж, — сказал я, — я могу пасти». Все очень удивились. «А справишься?» — спросил обрадованный бригадир. Я пожал плечами, не зная еще, что это за работа. Так, ради красного словца своей матери, я надел себе такой хомут на шею, который мне до сих пор вспоминается.

— Бери мою Егориху, — сказал Санька, — а я пойду себе искать седло и другого коня, — и он протянул мне поводья.

С трудом взобрался я на Егориху: до этого мне с конями дела иметь не приходилось, как, впрочем, и с коровами. Медленно переступая ногами, Егориха пошла в низину, где паслись остальные кони, я стал осматриваться: где бригадир и Санька? Никого не было видно. «Но!» — крикнул я на Егориху и попытался пришпорить ее башмаками, так как читал,

что лихие наездники пришпоривают коней. Но Егориха так же медленно вошла в пересохшее болотце посреди низины и на виду у всей деревни начала пощипывать травку. Сколько я ни кричал и ни тыкал в бок пяткой, она не двигалась. В довершение моего позора, к ней подошел жеребенок и начал сосать ее. Видя, что иного выхода нет, я слез с коня, взял Егориху под уздцы и пошел на гору, где увидел бригадира и Саньку. Тут я попросил другого коня, Санька дал мне молоденького мерина Бурого, и мы поехали выгонять коров.

Телки в этот день долго стояли в загоне, проголодались и, громко мыча, стучали рогами в ворота. Это были крупные уже телки, все они были покрыты быком и в следующую зиму почти все отелились. Стояли они в полуразвалившейся конюшне и пристроенном к ней невысоком загоне, чуть ли не по брюхо в густой грязи, смешанной с навозом. Санька, который был в сапогах, полез через жердину в загон подгонять их, а я верхом на коне следил, чтоб ни одна не свернула на пшеничное поле, которое шло сразу же за конюшней. Тяжело хлюпая копытами по грязи, коровы поодиночке вылезали из ворот конюшни. Мы их погнали задами по деревне, точнее, погнал Санька, потому что я еще плохо понимал, что к чему. Строившие ясли студенты побросали топоры и пилы, удивленно смотрели на меня верхом на коне и кричали: «Ура!» Так я начал пасти коров.

Если теперь мне дали молодого, почти необученного коня, то зато старое, видавшее виды седло на одной подпруге. В лесочке седло съехало на слабой подпруге, я очутился на земле, а нога в стремени — хорошо, что Бурый проволок меня совсем немного и остановился. Хуже вышла история, когда мы вернулись в деревню на обед. Один из студентов попросил у меня Бурого съездить за хлебом в кладовую. Едва он сел на него, как тот, испугавшись, видимо, рюкзака, понесся галопом, опрокинул студента в грязь и вдребезги разнес седло. Два дня мне пришлось пасти пешком, пока один старик седло не наладил, с седлами в колхозе тоже трудно, на всю бригаду было пять седел, да и то старых. После этого я почти все время пас на Егорихе, а Санька на старом мерине Цыгане. Егориха была кобыла уросливая, вдобавок недолюбливала меня. В колхозе на коне сегодня работает один, завтра другой, послезавтра оседлывает или запрягает третий — отсюда у лошадей без-

различие к своим хозяевам. Когда коням начали сыпать овес возле сушилки, она стала убегать от меня, если я иной раз слезал с нее в тайге и пускал пастись. Так же случалось, если я, напоровшись в тайге на сук, падал с седла. Не оглянувшись, что со мной, Егориха убегала с веселым ржаньем, как колхозница, которой удалось освободиться от тяжелой повинности. Проклиная ее в такие минуты, я все же утешал себя мыслью, что рано или поздно я уеду отсюда, а Егориха останется работать в колхозе до самой смерти. Все же я сохранил о ней теплые воспоминания. Ее имя — Егориха — объясняется вот чем. При основании колхоза, когда «обобществляли» коней, многим дали клички по имени прежнего владельца. Так, кобылу какого-нибудь Гаврилы назвали Гаврилиха, а кобылу Егора — Егориха. В Гурьевке был обычай называть молодую кобылу по имени ее матери, моя Егориха, была, вероятно, правнучкой или праправнучкой первой колхозной Егорихи.

Но вернусь к первому дню пастьбы. Еще до обеда нас застал дождь, и пришлось прятаться под деревом. Пастухам колхоз обязан был выдать плащи и сапоги. Плащ мне не был особенно нужен, у меня был хороший офицерский плащ, а потом один студент оставил свой старый плащ, но сапоги, хотя бы кирзовые, мне были очень нужны, у меня были только резиновые — и то дырявые. Я просил сапоги у бригадира, заведующей фермой, зоотехника и председателя. Все в один голос обещали мне их, но так я сапог в колхозе и не видел. Когда впоследствии зоотехник, девчонка, только что окончившая институт, предъявляла мне разные претензии, вроде того, что я поздно выгоняю коров и рано пригоняю, я всегда любезно отвечал ей: будут сапоги — тогда поговорим о коровах.

В первый же день я понял, что главная трудность — отсутствие выпасов. Мы пасли все время в каких-то узеньких коридорчиках, где слева была посеяна пшеница, а справа овес, и все время надо было следить, чтобы резвые телки не сделали потраву. Бич свой Санька где-то по пьянке потерял и управлял стадом с помощью непрерывного мата. Утром часть телок все же выскочила на пшеницу, а после обеда, когда мы стали пасти их на другой стороне пруда, — на овес. Когда к концу дня мы начали подсчитывать телок, оказалось, что нескольких не хватает, пришлось мне на Егорихе ехать далеко в овес искать их.

Я подогнал нескольких телок, и мы двинулись домой. Когда мы были уже возле деревни, сверху увидели, как на другой стороне разгуливают еще несколько. Санька поехал за ними, а я пешком погнал стадо к загону. Едва мы достигли овсяного поля за деревней, телки сразу же бросились на овес. Я сгонял одних, тут же набегали другие. Авторитетом я у них еще не пользовался, и крика моего они не боялись. Уже следом гнали дойных коров, я боялся, что смешаются оба стада, но подскакал пастух, тот самый Крицкий, которого клеймили в «боевых листках», помахал бичем, гаркнул — и моих телок с овса словно ветром сдуло. По деревне они уже шли тесным стадом, и я думал, что осталось самое простое — загнать их в загон. Но, дойдя до загона, они мирно разбрелись по лужайке: сколько я ни бился, ни кричал, ни гонял их — ни одна не хотела идти в свой грязный загон. Я присел на пенек, что делать, хоть плачь! Но тут я слышу издали топот и матерщину: Санька гонит отставших телок.

Загонять телок в загон всегда было делом очень трудным, особенно, когда мы стали пасти через день поодиночке, тут нам всегда помогали деревенские мальчишки. Коровы, побегав вокруг загона, наконец начинали заходить в распахнутые ворота, тут мы, чтобы ускорить дело, с матерной руганью лупили их чем попало по спинам, начиналась давка, как в метро в часы пик, задние напирали на передних, те увязали в грязи и не хотели идти дальше, другие шарахались в сторону и бежали от загона и забегали куда-нибудь в пустой коровник, где их долго приходилось гонять, скользя по мокрому полу. Наконец, мы припирали шаткие ворота колом и, облегченно вздохнув, шли по домам.

Коров надо было пасти с девяти до девяти, но мы иной раз нарушали этот порядок, выгоняя позже и раньше пригоняя. И все же уставали мы основательно, а также мучали коней из-за скверного характера телок. Трава в августе уже неважная, а со всех сторон ветерок доносил то запахи пшеницы, то зреющего овса, и хитрые коровы устремлялись на этот запах, иногда просто-напросто отставая от стада, особенно, когда мы продирались сквозь таежные заросли, где не только за коровами невозможно углядеть, но и друг друга не видишь. Однажды,

выйдя из лесу на луг, мы не досчитались половины стада. Я поехал искать — не нашел. Тогда поехал Санька, как более опытный. Пока мы с ним договаривались, где мы встретимся, ушло и остальное стадо. Я бросился за ним, набрел на двух отставших коров, поехал вперед — и потерял остатки стада окончательно. Вдобавок я плохо знал еще здешние места. Уже вечерело, до сих пор хорошо помню одинокое блужданье по угрюмой болотистой тайге, конь порой проваливался чуть ли не по брюхо. Насилу выехал я на большой луг и пустил Егориху, куда она хочет, надеясь, что она вывезет меня к дому. Вдруг вдали я услышал конский топот. Скорее погнал я Егориху галопом и увидел Саньку. Он сказал мне, что не нашел стада, а я ему — что и остальное потерял. Так и стояли мы, горе-пастухи, друг против друга, пока не услышали далекое мычание. Мы выехали на дорогу и увидели, как бригадир гонит всё наше стадо, которое он застиг на семенном клевере. Нам могли бы поставить потравленный клевер на счет, но хорошо, что бригадир не выдал.

Потравы, а так же падеж скота были той страшной опасностью, из-за которой никто не хотел пасти скот. Не потравить при существующей структуре посевов и выпасов было просто невозможно, а если какое-либо начальство застигло бы потраву, то весь возможный урожай с потравленного участка ставили на счет пастуху. Так же могли поставить на счет и сдохшую скотину, хотя это делали не всегда. Скотина подыхала, например, обожравшись клевера, если пустить ее сразу утром, голодную, на сырой клевер. Лезли же телки на клевер просто как оголтелые. У нас была еще одна трудность: возле нашего загона была сушилка, и перед ней насыпали все время кучи жмыха. Только мы выгоним нетелей — они сразу же на жмых. Сколько пришлось гоняться за ними и сколько нервов потрепать! Если бы поставили одну сдохшую корову на счет — это превысило бы заработок пастуха за весь сезон пастьбы. У Саньки сдохли две коровы до меня, но ему их «простили», учитывая, что он пас сто голов один. Несколько голов пало в дойном стаде, и там на счет пастуху, Крицкому, поставили одну, там двое пастухов пасли через день. Едва правление колхоза приняло это решение, как у Крицкого сдохла еще одна корова. Крицкий напился, бегал за женой с ножом по деревне и кричал, что сначала

жену зарежет, а потом сам повесится. Насилу его уняли. Конечно, все эти истории не прибавляли мне энтузиазма.

Мы тоже с самого начала договаривались пасти через день поодиночке, когда я немного привыкну, но я все боялся начать, видя, что у нас и вдвоем плохо получается. Делу помог случай. Как-то раз после обеда — а к обеду мы подгоняли коров в деревню, к пруду на водопой, потом загоняли их в загон для дойных коров у пруда, а сами шли обедать — я, подойдя к загону, увидел, что он пуст, возле на траве спит пьяный Санька, а коровы гуляют недалеко по пшенице. Насилу собрал я коров и погнал их, после чего мы стали уже чередоваться. Мне и раньше иногда приходилось пасти, по существу, одному, так как мертвецки пьяному Саньке едва удавалось в седле держаться. Хотя и хорошо было отдыхать через день, но и пасти одному было крайне сложно. Я строго следил, чтобы с утра у меня ни одна корова не вышла на клевер, и хотя к вечеру я мог потерять многих коров, все же за время моей пастьбы у меня ни одна корова не сдохла. А едва я бросил пасти, как в моем стаде сдохли две нетели, о чем я еще буду писать.

Пасти один я начал на десятый день. Теперь я хорошо узнал все окрестности деревни, в радиусе примерно километров пяти-шести. Так далеко заходили проклятые телки, больше бегали, чем паслись. В этом и пастухи виноваты. Пас я их обычно сначала на сжатом овсяном поле, потом на скошенных травяных и клеверных лугах по отаве. Луга эти тянутся хитрой цепочкой по тайге и очень красивы, проходишь один луг и сквозь узкий травяной коридорчик попадаешь на следующий, луг большой, а вдалеке уже виден проход в следующий луг, а кругом тайга — осины, березы, а местами кедры, других деревьев я не видел. Иногда попадались такие красивые и тонкие по цвету деревья, что невольно я вспоминал живопись и думал о Москве и своих картинах. Помню еще очень красивую дорогу в лесу, обсаженную старыми березами, она выводила на широкий травяной луг, обрывающийся оврагом, а дальше виднелось овсяное рыжее поле и узкая полоска тайги. Грибов было очень много: Егориха прямо-таки топтала их, никто их здесь не собирает, они разрастаются до невероятных размеров и почти все червивые.

Пока я мест еще не знал, я обычно ехал следом за коровами,

иной раз они сворачивали с лугов и шли прямо через тайгу более часа, вытянувшись длинной цепочкой: откуда-то они почуяли запах овса. Согнать их с овса стоило неимоверных трудов, особенно сначала. Помню, как после долгого блуждания по лугам и тайге, они вывели меня на маленькое овсяное поле возле дороги, тогда как мне казалось, что мы идем совсем в другую сторону. Я погнал их с поля, и они перешли через лесок на второе; когда я погнал их со второго, они опять пошли на первое. Весь ужас положения был в том, что это происходило рядом с дорогой, раза два проезжали машины, и если бы проехал кто-нибудь из колхоза, меня сразу бы уличили в потраве. Весь измучившись, согнал я их, наконец, на другую сторону дороги и долго блуждал затем по совсем мне незнакомым новокривошеинским полям, едва разминулся с чужим стадом, и пригнал их домой только часам к одиннадцати, измочалив бедную Егориху. Помимо овса, норовили еще мои телки пощипать озимую рожь, которая только-только начала пробиваться, а также поворошить стога. Стога эти были расставлены на всех почти лугах, причем не кучно, а вразброс, так что уследить за коровами было невозможно еще тогда, когда мы пасли вдвоем с Санькой. Хотя колхозники это хорошо понимают, из года в год они ставят стога вразброс и не огораживают их, а потом зимой жалуются, что все стога пообтесаны. Дело в том, что коровы сено из стогов не едят, но любят почесаться о стог рогами, выдирают клочья сена и с взбрыкиваньем отбегают, неся сено на рогах. Так день за днем сено стесывается, стесывается, и стога превращаются к зиме в какие-то оплывшие грибы. Недостача сена подсчитывается и потом ставится на счет пастухам, мне, например, поставили три центнера сена по 2 рубля за центнер, а другим пастухам по восемь-десять; сена для тех же нетелей, однако, от этого не прибавилось.

Иной раз во время таких блужданий по тайге у меня пропадало две коровы, иной раз десять, а однажды полстада, причем как раз в тот день, когда приехали зоотехник и ветеринар выбраковывать нетелей на мясо. Глядят, а намеченных коров как раз и нет — попрятались где-то в лесочке. Зоотехник ко мне с проклятиями, а я ей свое: вот когда будут сапоги, тогда и поговорим! Хотя я терял коров, зато и к моему стаду приблуждались потерянные другими пастухами коровы, телята, а не-

сколько раз даже стадо овец, которых растерял пьяный Федя. Овец пасти очень легко — они ходят плотной массой, и ни одна не отделяется в сторону. Обычно мои потерянные коровы или сами к вечеру приходили, или мне, загнав остальных, надо было ехать искать беглянок. Иной раз они даже ложились где-нибудь в лесу ночевать. В этом отношении с дойным стадом было легче: коровам надо было доиться — и отставшие всегда приходили к дойке. Тогда, когда я потерял полстада, очень многие не пришли к вечеру, и мне на следующий день пришлось, вместо того, чтобы отдыхать, ехать их искать. И тут не обошлось без происшествий. Отъехав довольно далеко от Гурьевки, я увидел: в ложбине пасется небольшое стадо. Несколько коров показались мне вроде бы знакомыми, другие нет, вообще их было больше, чем я потерял. Я осмотрелся: пастуха нигде не было, коровы паслись одни. Я решил, что это, видимо, мои потерявшиеся коровы, к которым приблудилось несколько чужих и, не долго думая, погнал все стадо в сторону Гурьевки. Вдруг за мной следом впопыхах бежит пастух и кричит: «Постой! Постой! Что ты делаешь!» Он, оказывается, куда-то отлучился не надолго, а тут я его стадо погнал, это было стадо вовсе чужого колхоза. Об этом случае еще зимой вспоминали колхозники с удивлением. А что удивляться — не надо ставить горожан пасти скот. Однако, хотя я пас коров с такими происшествиями, но всех своих коров нашел и ни одна у меня не сдохла, их потому еще было трудно пасти, что Санька за сезон не смог один приучить их ходить кучно. За время пастьбы я постепенно кое-чему научился, а главное научился тому, чтобы больше ни при каких условиях не соглашаться пасти скот. В деревне много посмеивались надо мной, как я пасу и как езжу на коне. Даже зимой один из пастухов, Пашка Кабанов, все время вспоминал, как я кричал на Егориху: «Пойдешь ты или не пойдешь?!» Что, дескать, кричать, стегануть раз — и хорошо.

Я так и не сумел до конца различать многих своих коров, но это вовсе не значит, что все стадо представляло собой неразличимую массу. У телок была довольно сложная иерархия, всегда можно было видеть, как одна корова поддает рогом другой, которая ей ответить боится, а порет еще более слабую, а та еще более слабую, так что каждая корова уже знает свое место в иерархии силы. Если же возникали спорные вопросы,

они решались просто: кто кого перебодает. Две телки били друг друга рогами до тех пор, пока не решали, кто из них сильнее, и это было уже надолго. При виде же крови все они зверели: стоило какой-нибудь корове, продираясь сквозь кусты, разодрать в кровь бок, чуть не все стадо бросалось на нее, издавая страшные утробные звуки; больших усилий стоило разогнать их. Так же, когда коровы шли по дороге или паслись на лугу, у каждой было свое место, которое не зависело от силы или слабости. Одни всегда держались впереди стада, другие в середине, а третьи позади. И никакими силами нельзя было телок, которые ходили сзади, заставить идти впереди или хотя бы в середине: если я их подгонял, они тотчас же опять отставали и занимали свое место сзади. Особо опасными были коровы-заводилы, это были вовсе не самые сильные коровы и не те, кто шел обычно впереди стада, но стоило почуять какую-нибудь потраву, как они были первыми и на какие только хитрости и обходные пути не пускались при этом. Этих коров я всех хорошо знал, надо сказать, что вид у них всех при этом был самый лукаво-добродушный. К приятной категории относились коровы-лежебоки, которые, более или менее наевшись, любили прилечь на травку, так что и пастух мог немного отдохнуть, тогда как коровы-ходоки не только сами не ложились, но и своих прилегших товарок норовили поддеть рогом. Были коровы-подружки, которые всегда ходили рядом, нежно лизали друг друга и никогда не разлучались и, наоборот, были коровы, которые находились друг с другом в непримиримой вражде. Если где-нибудь в тайге мы встречались с чужим стадом, чаще всего с дойными коровами, то тут тоже обнаруживалось два активных типа телок: телки-патриотки, которые, почуяв издали чужое стадо, сами скорее сворачивали в сторону, и телки-перебежчицы; они с взбрыкиванием бежали в чужое стадо, как будто там их ожидало спасение, и никакими силами невозможно было их оттуда выгнать, только вечером, когда стадо гнали домой, они возвращались в свой загон. Одним из худших типов были коровы-индивидуалистки, они шли не вместе со стадом, а где-нибудь в стороне, особенно корова по кличке Чокнутая (так ее прозвал Санька), которая, пока стадо шло по лугу, продиралась где-то сбоку по кустам, так что я ее не видел, а слышал только треск. Хотя она и не была шкодливой коровой,

но все время держала меня в напряжении, ведь я не знал, что она там одна выкинет. Так я понял, насколько вождям ненавистен индивидуализм, даже не сопряженный с активным протестом.

У меня в стаде ходил иногда молодой бычок Вермут, у телок он никаким авторитетом не пользовался, и они иной раз поддавали ему рогом, зато часто сами прыгали друг на друга. Вермут пасся очень мало, а больше отсиживался в коровнике, где скрывался от комаров. Один раз с нами ходил здоровый старый бык Гришка, который обычно пасся с дойными коровами. Он себя неуютно чувствовал в чужом стаде и, задирая морду, громко ревел, тоскуя по своим коровам. Зимой этот Гришка, до того смирный, «покатал», как говорят в деревне, несколько человек, в том числе и меня.

Пас я коров, действуя долгое время, как и Санька, только словом, лишь иногда приходилось слезать с коня, брать в руки палку и вразумлять непокорных коров. Потом Санька сплел бич, которым мы пользовались по очереди, но для меня в нем было мало проку; сидя на коне, я чаще попадал по себе или по Егорихе, чем по корове, так что для острастки мне опять приходилось слезать с коня, и коровы уже знали, что это дело плохо пахнет. С одной телкой, впрочем, у меня установились даже приятельские отношения. Я кормил ее из рук хлебом, а иногда мы играли в простую коровью игру: кто кого перебодает. Я упирался ей руками между рогов и давил со всей силы, а она в свою очередь упиралась.

Пастухам дойного гурта начисляли трудодни с надоя, а нам с привеса, шесть трудодней за центнер привеса, это выходило три с половиной трудодня за рабочий день, когда мы пасли поодиночке, и около двух, когда пасли вдвоем. В июне и июле заработок Саньки был несколько выше, потому что трава была свежей и привес больше; еще ему должны были заплатить за каждую покрытую и тельную корову, но заплатили меньше половины. Чтобы определить привес, в начале каждого месяца телок взвешивали, в сентябре в присутствии зоотехника и ветеринара из города. Для этого телок загоняли в пустой телятник и по одной выгоняли через тамбур, там были установлены весы, на которых стояло нечто вроде деревянной клетки. Испуганные коровы эту клетку по большей части опрокидывали,

так что дело шло с большим трудом. Этот день вообще выдался очень тяжелый. Когда приехали зоотехник и ветеринар и нужно было скорее гнать стадо в деревню, к моей Егорихе привязался пасшийся поблизости молодой жеребец Серый. Прижав уши и скосив глаза, он со страстным ржаньем носился вокруг, а Егориха, жалобно взвигвивая, взбрыкивала ногами, так что я едва мог удержаться в седле. Если Егориха, которой не нужны были сейчас ухаживанья жеребца, поворачивалась к нему крупом, чтоб ударить его задними ногами, я наоборот, стремился развернуть ее мордой, чтоб хлестнуть жеребца прутом по ушам. Жеребенок Егорихи, тоже защищая мать, лихо взбрыкивал длинными ножками под самой мордой Серого. Наконец, подъехал Санька на Цыгане и мы заняли нечто вроде круговой обороны. Пока мы воевали с темпераментным жеребцом, телки наши разбрелись кто куда, и стоило больших усилий подогнать их к телятнику.

Выскакивая из клетки, они жалобно кричали: «Му-у-у...» — вытягивая вперед и слегка задирая морду, и бежали от этого страшного места подальше, потом я долго собирал их под дождем на кукурузе и пшенице. Едва мы их загнали, и я вернулся домой и снял просушить сапоги, плащ и пополам разорванные брюки, как вошел возбужденный бригадир и стал ругаться, что наши телки гуляют на кукурузе. Оказалось, они выломали загон и опять разбрелись, пришлось уже ночью собирать их снова. Вскоре после этого им огородили новый загон с другой стороны конюшни.

Пасут скот в Сибири примерно до середины октября, до первого снега, и я нетерпеливо подсчитывал, сколько дней мне еще осталось пасти. Спасение, однако, пришло раньше, чем я думал. Бригадир давно поговаривал, что в колхозе сейчас самая горячая пора, все на уборке льна, а тут каждый день один человек отдыхает, ничего не делает — нужно, чтоб нетелей попрежнему пас один Санька, а мне он найдет другую работу. Когда в середине сентября началась уборка кукурузы на силос, бригадир, несмотря на протесты Саньки, поставил меня опять буртовщиком. Санька долго ругался и заочно бригадиру грозил с ним «расквитаться», но, как все безвольные люди, все же пошел пасти. Хотя я ему и сочувствовал, все же был откровенно доволен, что смогу отдохнуть несколько дней от коров.

Мне они снились даже во сне, мне казалось, что они куда-то разбрелись, нужно их скорее сгонять, и я, путая сон с действительностью, с криком вскакивал с постели, натыкаясь на стол и скамью.

Кукурузу начали косить на силос с большим опозданием, когда она вся уже засохла, початков здесь кукуруза вообще не дает и, видимо, дать не может. Косили ее двумя кукурузоуборочными комбайнами дня, кажется, четыре и подвозили к той же бурте недалеко от коровника, куда уже закладывали травяной силос, а также ко второй бурте рядом. Машины на уборку присылались с разных предприятий Томска, обычно на все время уборочных работ; сейчас грузчиками на них поставили студентов. У меня были прежние обязанности, вдобавок я отдельно должен был считать, сколько рейсов сделала каждая машина, и передавать эти данные учетчику. Со мной сразу же переговорил один из комбайнеров, что шоферам, мол, надо немного приписывать число рейсов, чтоб «не было обидно», и я сам от этого выгадаю, потому что мне тоже начисляются трудодни с числа машин. За каждую машину я получал 0,06 трудодня, а грузчики 0,1 трудодня. В день у меня получалось около двух, а у них немногим более половины трудодня, так как каждая машина делала не более 5-7 рейсов в день.

Когда кукурузу засилосовали, один день я лопатил зерно в амбаре, а один день просто отдохнул дома, потом, по Санькиной просьбе, бригадир поставил меня снова пастухом. За то время, что я стоял на бурте, Егориха вместе с жеребенком отбилась от коней и ушла в поля, и 23 сентября я погнал своих телок на скошенные кукурузные поля на Цыгане. Это был конь лучше Егорихи, но все время спотыкался, так что я чуть не вылетел из седла. Блуждая на Цыгане по желтозеленым, блеклым от опавших кукурузных листьев полям, я по-прежнему подсчитывал: сколько дней осталось до середины октября. Я не знал тогда, что пасу коров последний раз.

По дороге домой в деревне мне встретился сынишка почтальонши и сказал, что мне телеграмма.

Глава восемнадцатая
СКОРЫЙ «ВЛАДИВОСТОК-МОСКВА»

С недоумением вскрыл я желтый служебный конверт и прочел: «Заверенный факт. Кривошеино Томской обл. Деревня Гурьевка. Амальрик Андрею Алексеевичу. Отец крайне тяжелом состоянии. Павел. Факт крайне тяжелого состояния заверяет врач Удельнинской поликлиники Сударева, твердит телеграф Одинушкина».

Еще в первом письме из Гурьевки я просил отца, чтобы он в середине октября прислал мне телеграмму, заверенную врачом, что состояние его здоровья тяжелое, — по существу оно все время было тяжелым. С такой телеграммой я рассчитывал получить отпуск в колхозе, разрешение милиции и съездить в Москву как-то устроить отца. Я рассчитывал, что до октября он сможет прожить у своей приятельницы на даче; с другой стороны, в октябре, когда закончатся уборочные работы, мне легче дадут отпуск в колхозе. Так что я не знал, поспешил ли немного отец и попросил живущего неподалеку своего двоюродного брата отправить телеграмму раньше, чем мы с ним условились, или же действительно его состояние резко ухудшилось. Какие-то смутные чувства охватили меня: и страх за отца и неясная надежда вновь увидеть Москву.

Тотчас же пошел я к бригадиру. Его еще не было, и я долго гулял по размытой дождем грязной дороге, думая о полученном известии. Бригадир сказал, что от него ничего не зависит, нужно ехать в контору к председателю. Впрочем, он обещал рано утром, когда будет давать сводку, переговорить с председателем. Утром на попутной тракторной тележке я поехал в Новокривошеино, рассчитывая, если я получу разрешение, вернуться в Гурьевку и собрать кое-какие вещи. Председатель встретил меня довольно дружелюбно, спросил, старый ли отец и хватит ли мне двенадцати дней отпуска. Я сказал, что только дорога займет дней восемь, тогда мне дали восемнадцать дней. Теперь нужно было думать, на какие средства ехать, у меня ведь не было ни копейки. Председатель распорядился выдать мне аванс, и бухгалтер, малоприятный старик с козлиной бородкой, недовольно ворча, выписал мне тридцать рублей. С тридцатью рублями и бумажкой об отпуске я пешком добрался до Криво-

шеина. Первым, кого я встретил, едва зашел в районный отдел милиции, был комендант.

— Ну, Амальрик, чего здесь делаешь? — сурово спросил он.

Я сказал, что колхоз предоставил мне отпуск.

— Какой там отпуск?! — поразился комендант. — У нас тунеядцы по два года отпуска ждут!

Я сказал, что тяжело болен мой отец, и показал телеграмму.

— Ну и что! — возразил комендант, однако пошел к начальнику милиции.

Вышел подполковник, курчавый, с довольно большой плешью и начал просматривать мое дело.

— Вы говорите, что хотите ехать ухаживать за отцом, — наконец, сказал он, — а вот в постановлении суда сказано, что вы за ним не ухаживали, а ухаживали соседи.

Я возразил, что это все вранье, что соседи, наоборот, преследовали отца и доносили на меня.

— Что ж, — сказал наконец начальник, — пусть едет.

Однако, когда все почти было улажено, поездка чуть не сорвалась. Комендант спросил меня, на какие деньги я думаю ехать, зайцем что ли. Он хорошо понимал, что в колхозе никаких денег заработать я не мог. Чтобы его успокоить и не затруднять мой отъезд, я сказал, что колхоз даст мне авансом деньги на дорогу. От волнения я как-то забыл сказать, что колхоз мне уже дал деньги, но не стал поправляться, считая, что это в общем-то безразлично — дал или еще даст. Но, к моему несчастью, комендант решил помочь мне и позвонил в колхоз попросить, чтоб мне дали деньги. Как же он разозлился, когда ему ответили, что деньги я уже получил! Он хотел мне помочь, а я его обманул! «Никуда не поедешь!» — закричал он и сгоряча чуть не разорвал маршрутный лист. Я страшно расстроился. Насилу уверил я его, что в моей лжи не было никакой корысти, напротив, я обманул его даже себе во вред, ведь скажи я, что деньги уже получил, он не беспокоился бы, что я поеду зайцем, что просто от волнения я оговорился и не стал поправляться, не придав этому большого значения. Комендант еще раз сходил к начальнику, велел мне написать объяснение, которое подшил к делу, и только тогда подписал и дал мне маршрутный лист. Это был белый листок бумаги, даже без фотографии,

где было сказано, что Амальрику Андрею Алексеевичу, находящемуся на высылке в Кривошеинском районе Томской области, разрешен проезд в город Москву по маршруту Кривошеино-Томск-Новосибирск-Свердловск-Москва с 25 сентября по 12 октября 1965 года. При отклонении от указанного маршрута листок терял силу. На прощание комендант посоветовал мне не опаздывать с возвращением, так как от этого зависит, уйду ли я «по половинке» и не устроить скандала своим соседям в Москве, «чтоб не попасть в историю еще хуже», и сказал, что ближайший катер отходит через полчаса. Тогда я решил, чтоб не тратить драгоценное время, не возвращаться в Гурьевку, а сразу ехать в Москву. С дороги я написал бригадиру письмо, попросил пока куда-нибудь сложить мои вещи.

В милиции, еще ожидая своей участи, я увидел вдруг знакомое лицо: это был Борис, с которым мы вместе проделали путь с Красной Пресни до Кривошеина. Оказалось, что и его отпускают в Москву, причем окончательно. Еще в июле я слышал в Гурьевке разговоры, что кого-то из недавно прибывших «тунеядцев» в драке зарубили топором, а кого-то зарезали, потом еще я слышал, что двое ссыльных ограбили магазин в какой-то деревне, очень глупо: украли несколько бутылок водки, шоколад и сгущенное молоко, тут же недалеко напились в кустах от радости, что «сделали дело», и заснули. Утром их кто-то будит: вставайте опохмеляться! Они глядят — а это милиция.

Вот что рассказал мне Борис. Его вместе с Толей, москвичом, который шел в ссылку уже второй раз, прислали в колхоз на следующий день после нас и оставили в Новокривошеине. Вскоре там Толя подрался по пьянке с одним местным мужиком, и тот топором рассек ему бедро. Едва Толю отвезли в больницу, как туда же угодил Борис. Он выпивал в Кривошеине в столовой с одним ссыльным, блатным из провинции, и по пьянке начал слегка куражиться: я-де москвич, а вот кто ты такой? Тот смолчал, а когда они вышли из столовой, за обиду вонзил ему нож в спину. Бориса окровавленного без сознания доставили в больницу, где сразу же сделали операцию. Блатному, который его порезал, дали два года. В больнице Толя, по словам Бориса, подружился тоже с блатным, дружком Надьки из Сочи, который лежал там с больным от лагерной пищи же-

лудком. Он и подбил Толю на это глупейшее дело с магазином, за которое Толя получил три года. Был он, как я думаю, человек неплохой, но на редкость безвольный и легко поддающийся чужому влиянию. Пока мы шли по этапу, он всё хотел попасть куда-нибудь вместе со мной, и я думаю, если бы так случилось, он не попал бы опять в тюрьму. Я не хочу оправдать тут Толю или сказать, что он был осужден невинно, но мне кажется, что система непрерывного административно-судебного давления создает у людей, раз оступившихся, сознание обреченности и отверженности и шаг за шагом сама толкает их ко все более серьезным правонарушениям.

Что до Бориса, то, выйдя из больницы, он получил бюллетень и ничего не делал, понемногу беря продукты в колхозной кладовой. От нечего делать он заходил то в милицию, где зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, так что ему предложили даже стать осведомителем, то в больницу. Наконец, пробыв несколько недель на бюллетене, он уговорил хирурга, который делал ему операцию, дать справку, что в результате ранения он непригоден к физическому труду. С этой справкой милиция, как полагается, передала дело на рассмотрение суда. На суде Борис с пафосом рассказал, что он пострадал за то, что сделал своему неудавшемуся убийце замечание: нельзя-де приносить с собой и распивать в столовой водку. Его тут же разоблачили, что он пил вместе с ним, но, конечно, на основании медицинского заключения суд принял решение о его освобождении. Борис уже предвкушал, как он удивит своим скорым возвращением местную милицию, особенно радовала его мысль о предстоящей расправе над женой, которую он считал виновницей своей высылки. «Сперва я поведу себя тихо, — объяснял он, — а когда пропишусь — тогда поговорим». Но прежде ему предстояло как-то доехать до Москвы. Он, как и я, не только ничего не заработал в колхозе, но и сильно задолжал Правда, председатель «простил» ему долг за продукты, которые он брал после операции, но ехать все равно было не на что. Борис долго вымогал деньги то в милиции, то в исполкоме, то в собесе, приравнивая «тунеядцев» к пенсионерам, но везде, разумеется, получал отказ. В милиции ему посоветовали ехать Христа-ради, предъявляя вместо билета справку об освобождении. На свою беду, он тащил с собой еще два огромных

мешка с теплыми вещами, которые ему прислала на зиму жена, не ожидая столь скорого возвращения мужа. У него было всего семь рублей, добытых довольно хитроумным способом: он брал в колхозной кладовой яйца якобы для поправки после операции и сдавал их по девять копеек в кривошеинские магазины под видом сочувствующего советской власти колхозника.

На катер Бориса провожал еще один ссыльный, со светлыми пшеничными усами. Это был Санька Глазов, пастух из Новокривошеина, тот, с кем я разговаривал в день приезда. Вчера он получил заработанное за год зерно, продал его и сегодня уже все деньги успел пропить. Его дружба с Борисом началась, когда он купил у него часы, история которых началась в столыпинском вагоне. Колхоз дал Саньке пятнадцать рублей авансом для покупки часов, потому что пастуху без часов трудно, десять рублей получил Борис, а пять они вместе пропили. На следующий день Санька уже кому-то продал часы и пропил деньги уже в одиночестве, как Борис, надо полагать, пропил в одиночестве свою десятку.

На катере Борис решил билет не брать, иначе с семью рублями далеко не уедешь. В случае контроля он, вместе со справкой об освобождении, собирался предъявить справку, что в 1947 году несколько месяцев плавал рулевым на канале Москва-Волга, значит сам речник. «Уволили меня, как ты сам понимаешь, за пьянку», — добавил он мне. Я тоже решил ехать без билета, он стоил как-никак три рубля, а я не знал еще, сколько будет стоить дорога от Томска до Москвы. Мы медленно шли вверх по Оби, то и дело останавливаясь у маленьких пристаней, уже темнело, впереди стали зажигаться огни бакенов. Народу в катер постепенно набралось очень много, я заснул внизу на полу между чьими-то ногами и тюком.

В Томск прибыли в середине ночи. На трапе у сходящих пассажиров стали проверять билеты. Перепрыгнув на стоящую рядом баржу, а с нее на следующую, мы с Борисом перебрались на берег, и, минуя пристань, вышли на пустую улицу, к трамвайным путям. Трамваи еще не ходили. Ночной Томск показался мне красивым, но очень провинциальным, вроде старых замосковных городов, даже с деревянными тротуарами.

Часа через два подошел первый трамвай, и мы через весь

город доехали до вокзала Томск-I. Поезд «Томск-Москва» отходил только вечером, однако уже утром можно было доехать до станции Тайга на Транссибирской магистрали, а там поезда на Москву шли часто. Едва открылась касса, я взял до Москвы бесплацкартный билет, то есть билет без права на постельное место. Стоил он, к моему счастью, всего двадцать три рубля, на оставшиеся семь рублей я ел в дороге. В ожидании поезда до Тайги мы сидели в буфете, где разговорились с человеком лет сорока пяти, с каким-то серым изможденным лицом. Он сидел за столиком один и пил сухое вино. Оказалось, что денег на водку у него уже нет: все пропил. Как нам рассказала буфетчица, он двадцать лет просидел в лагере, и едва вышел, как пропил все заработанные деньги, пьяный потерял только что полученные документы и допивает последнюю бутылку сухого вина без надежды уехать отсюда на родину. Судя по столь долгому сроку заключения и тому, что он сидел с 1945 года, это был, вероятно, бывший власовец или бендеровец.

Подошел поезд. Я с билетом в руках втащил на себе мешки Бориса, а тот влез с толпой студентов, возвращающихся из колхоза; многие из них, надо думать, сами ехали без билетов. Станция Тайга стоит на Транссибирской магистрали на месте отхода ветки на Томск, вокзал здесь больше и оборудованнее, чем в Томске. Я закомпостировал в кассе свой билет на ближайший поезд в сторону Москвы — это был скорый «Владивосток-Москва». Борис не знал, как ему быть, не надеясь сесть в поезд без билета. Я посоветовал ему взять билет до ближайшей станции, садиться на первый поезд западного направления и ехать на нем, пока не ссадят, а там садиться на следующий. Он взял билет на киевский поезд, который подходил раньше моего, и мы расстались. Борису не очень хотелось расставаться со мной, но он думал, что если его ссадят с киевского поезда, то как раз в следующем он встретит меня. Я же был даже рад, что остался один, потому что чувствовал себя смутно и мне было порой тягостно общение с Борисом.

Почти перед самым прибытием моего поезда меня задержала милиция: внушил подозрение мой вид — пиджак, выглядывающий из-под ватника, грязные резиновые сапоги, черный берет, бородка и очки. Пришлось предъявить маршрутный лист. В вагоне мне удалось захватить самую верхнюю полку,

куда обычно ставят чемоданы, и три ночи я проспал на ней, положив под голову ватник. Утром и вечером я пил чай, а обедать ходил в вагон-ресторан, так что обратное путешествие совершил с несколько бо́льшим комфортом, чем путешествие в Томск. Радости, что я еду в Москву, я, как ни странно, не чувствовал; чувствовал все время какую-то неясную тоску.

Вечером двадцать седьмого сентября поезд подходил к Москве. Прижавшись к окну, я мог видеть, как мелькают знакомые мне пригородные платформы. На Ярославском вокзале я остановился у киоска и на последние деньги выпил молока. Всего четыре месяца меня не было в Москве, а как все для меня изменилось!

Поезд прибыл около одиннадцати, на дачу к отцу ехать было уже поздно, домой я не хотел и через час разбудил и очень удивил моих друзей.

Глава девятнадцатая
СМЕРТЬ ОТЦА

Друзья сказали мне, что были у отца неделю с лишним назад и собирались снова ехать дня через два. Они ничего не знали о телеграмме. По их словам, отец чувствовал себя не плохо, но очень беспокоился, где он будет жить. Он уже не мог оставаться далее на даче и очень боялся ехать в Москву и жить один, в вечном страхе перед соседями. Да он и не мог бы жить один: кто бы приносил ему продукты, готовил еду, мыл его; кто бы, наконец, вызвал врача, если бы с ним что-нибудь случилось? Мои друзья предполагали, что либо отец сможет жить у них, что было бы очень сложно и для них и для отца, либо дома, но к нему будет ежедневно кто-нибудь заходить. Я мало верил в осуществимость обоих этих проектов.

На следующее утро я вдвоем со своей приятельницей поехал к отцу. Мы ошиблись и сели не в тот поезд — не доходя до нашей станции, он свернул на другую ветку, и нам пришлось идти пешком. Я хорошо помню этот солнечный сентябрьский день, сосны на краю дороги. По маленькому бетонному тунне-

лю для ручья мы прошли под железнодорожной насыпью. Я много раз навещал здесь отца в прошлые годы, обычно он сидел на крыльце, в нетерпении ожидая меня, или же у окна. На этот раз я не увидел его в окне. Хотя я понимал, что застану его, вероятно, лежащим, однако болезненное предчувствие остро сжало мне сердце. Из соседней комнаты, заслышав наши шаги, с растерянным лицом вышла и обняла меня хозяйка. Так я узнал, что отец умер. Он умер, не приходя в сознание, 23 сентября, в тот же день, когда я получил телеграмму о его болезни. Дядя послал мне вторую телеграмму, но она меня уже не застала. Пока я был в дороге, не получая от меня известий, отца похоронили.

Значение каждой утраты осознаешь постепенно. Я хотел бы сказать здесь немного об отце и об истории своей семьи, о чем мне много рассказывал отец, когда я был еще маленьким мальчиком.

Наша фамилия не безразлична для истории, в несколько искаженном виде она упоминается еще в Библии, по-видимому, это было имя арабских шейхов. Оно снова появляется в эпоху крестовых походов, когда имя Амальрик носили двое кипрских королей. Так же звали папского легата, который во время похода против альбигейцев, на вопрос, как при взятии города отличить еретика от католика, ответил знаменитой фразой: «Режьте всех, Бог узнает своих». В другом отношении к католицизму был Амальрик из Вены, знаменитый средневековый философ-пантеист. Его учение было осуждено католической церковью, а его останки вырыты и сожжены. Однако он имел много последователей, особенно на юге Франции, где существовала секта амальрикан. Возможно, что фамилия нашей семьи произошла от кого-либо из последователей этой секты, потому что мой прапрадед Жан Амальрик приехал в середине прошлого века в Россию из южнофранцузского города Авиньона, бывшего когда-то резиденцией пап.

Жан Амальрик приехал в Россию с целью разбогатеть и открыл в Москве кружевную мануфактуру. Однако он отличался пристрастием к бутылке и в пьяном состоянии сгорел вместе со своей женой, домом и фабрикой. Чудом спасся только его четырехлетний сын, тоже Жан, которого по-русски стали называть Иван Иванович, мой прадед. Заботу о мальчике взяла

на себя французская колония в Москве, особенно полюбил его один старичок-француз, перед смертью открывший ему секрет составления красок. Благодаря этому Иван Иванович стал впоследствии старшим мастером на ситценабивной фабрике Гюбнера, которая существует и поныне. Женился он на дочери московского купца первой гильдии Белкина, против воли ее родителей: он умыкнул ее из Новодевичьего монастыря, где она находилась на воспитании. От этого брака у него родилось три сына и одна дочь; старший сын, Сергей Иванович, был моим дедушкой. Прадед отличался характером суровым и вспыльчивым: если, возвращаясь с фабрики, он заставал жену, попивающую чай с кумушками, чего он не любил, то сразу же выбрасывал за окно скатерть вместе со всеми чашками и вазочками. Так же доставалось от него и рабочим, которых он в ярости мог колотить палкой. Правда, он тут же давал рубль, так что некоторые рабочие даже старались специально вывести его из себя. Тем не менее среди рабочих он пользовался уважением, и когда начались забастовки, его единственного из мастеров не вывезли на тачке. Был обычай во время беспорядков нелюбимых мастеров вывозить на тачке с фабрики или завода. Сам прадедушка был социалистом, но прудонистского толка, и Маркса крайне не любил. Кончил он трагически. Он ослеп, и доселе независимому и властному человеку пришлось бросить работу и жить у своих сыновей. Вдобавок он не мог читать, к чему привык с детства. Не вынеся этого, он перерезал себе горло, чуть ли не на глазах своего внука, моего маленького отца.

Дедушка мой, Сергей Иванович, был фигурой во многих отношениях менее замечательной, чем его отец. Был он человек довольно ограниченный, но решительный. В детстве он захотел доказать, что он «ни в огне не горит, ни в воде не тонет»: разжег у себя во дворе костер, поставил в него бочку с водой и сам залез в нее. Насилу его удалось спасти. Он отличался необычайной физической силой. Воинскую повинность он отбывал в Преображенском полку, и, пораженный его силой, император Александр III согнул руками и подарил ему серебряный рубль. Александр III, как известно, тоже отличался необыкновенной физической силой. Рубль этот долго хранился у нас в семье, пока не пропал во время последней войны. Де-

душка никогда не болел, может быть, именно поэтому его сразила первая же болезнь. Он умер от тифа в 1921 году на Украине.

Бабушка была лет на десять моложе деда, но отличалась характером взбалмошным и властным и забрала его в свои руки. Брак этот, как можно думать, был не очень удачным, и всю любовь бабушка перенесла сначала на своего единственного сына, моего отца, а потом на единственного внука. И для меня мое детство делится на две половины: светлую — до смерти бабушки в 1947 году, и более темную, после ее смерти. История ее семьи тоже очень любопытна. Ее дед, мой прапрадед Тит Ложечко, был небогатым украинским помещиком. Незадолго до освобождения крестьян он приревновал свою крепостную любовницу к одному дворовому, топором убил обоих и, чтобы скрыть следы преступления, замуровал обоих в стену своего дома. Однако дело открылось, он был лишен дворянства и сослан в Сибирь на каторгу. Он, видимо, вообще отличался садистскими наклонностями — еще до этого убийства двое его детей мальчиками бежали от него в Америку. Не знаю, что стало с младшим, но старший брат, Онуфрий Титович, мой прадед, работал там машинистом на железной дороге. Впоследствии он вернулся в Россию, как раз когда у нас начался железнодорожный бум, и стал начальником Курского вокзала. По дороге в Россию он женился в Швеции на дочери пастора из одной маленькой деревушки. Все жители этой деревни, включая пастора и его дочь, страдали летаргическим сном, будто бы даже прадедушка нашел дочь пастора полузамерзшей, спящей в снегу и, пораженный ее красотой, спас ее от смерти. Мой отец проспал в детстве целую неделю, а его двоюродный брат до сих пор постоянно носит с собой открытку, что он не умер, а спит летаргическим сном, на тот случай, если он вдруг заснет, а его по ошибке вздумают хоронить. От этого украинско-шведского брака родилось трое детей: сын Николай и две дочери. Старшая, Клавдия, моя бабушка, родилась под колесами поезда: ее мать, уже на сносях, переходила железнодорожные пути у Курского вокзала и, чтобы не обходить товарный поезд, решила пролезть под вагоном. В этот момент поезд тронулся, и, пока над ее головой пробегали вагоны, от страха она родила. С детства бабушка отличалась характером независи-

мым, поссорилась со своей матерью и несколько лет жила у одинокой карелки. Двадцати одного года она вышла замуж за моего деда, который познакомился с ней на балу в Благородном Собрании, закружил в вальсе, подхватил на руки и увез в карете.

В 1906 году у них родился сын Алексей, мой отец. Он рос в московской обеспеченной семье, в квартире на Разгуляе, в атмосфере среднего достатка, либеральных разговоров и зимних поездок к дедушке на извозчике через всю Москву, минуя Спасские ворота, где вспоминался известный стишок:

Кто царь-колокол поднимет,
кто царь-пушку повернет,
шапку кто, гордец, не снимет
у Кремля седых ворот?!

Восьми лет его отдали в коммерческое училище. Родители работали в акционерном страховом обществе «Россия» и хотели, чтобы сын стал коммерсантом или инженером. Бабушка была страховым агентом, ее кабинет находился в большом угловом доме на Лубянской площади, где сейчас одно из управлений КГБ.

Внезапно привычный порядок, который казался таким прочным и незыблемым, перевернулся вверх дном. Рухнуло и страховое общество, да никто и не стал бы страховать или страховаться: человеческая жизнь утратила всякую цену. Трудно стало понять, что хорошо и что плохо: в Учредительное собрание бабушка голосовала за кадетов, а дедушка за большевиков. В доме не было куска хлеба, зато большие запасы шоколадного какао и черной икры, которые спешно распродали Эйнем и Чернышев. Перезимовав в Москве, семья решила ехать на юг, навстречу двигавшейся с юга Добровольческой армии. В маленьком городе Обояни под Харьковом дедушка, год назад голосовавший за большевиков, расплакался, увидев трехцветный флаг и броневик с надписью: «За Русь святую!» Однако броневики с трехцветными флагами снова повернули обратно на юг. Сгоряча дедушка и бабушка хотели эмигрировать во Францию, «на старую родину», но, к счастью, решили остаться в России.

Когда кончилась гражданская война, отцу шел пятнадцатый

год. Нужно было искать работу. Отец добровольцем вступил в Красный гусарский полк по борьбе с бандитизмом, привлеченный, видимо, его романтическим названием. Полк этот ликвидировал остатки многочисленных банд на Украине. Однако спустя год бабушка с сыном и племянником поехали назад в Москву. Вскоре по их прибытии пришла телеграмма о смерти деда.

В Москве бабушка начала работать в Госстрахе, и они с отцом поселились в той же комнате на Никитстком, впоследствии Суворовском бульваре, где прошли мои детство и юность и где делали обыск Бушмакин и Киселев. После долгих мытарств отец устроился работать осветителем на кинофабрику, впоследствии с кинохроникой он объездил всю страну. В 1928 году он женился на моей матери, которая работала в то время ассистентом режиссера. Она была старше отца на шесть с половиной лет, но до самой войны сохранила необычайную моложавость. Я родился в 1938 году и был долго ожидаемым и желанным ребенком.

Отец, которого революция застала в третьем классе коммерческого училища, никогда не оставлял мысли учиться дальше. Особенно повлиял на него в этом отношении старший брат моей матери, Евгений Григорьевич Шаблеев. О семье моей мамы и о дяде я уже говорил ранее. Дядя был человек очень разносторонний, окончил он Коммерческий институт, а также историко-филологический и юридический факультеты университета. Дядя очень любил поэзию, был другом нашего великого поэта Велимира Хлебникова. Заниматься ему пришлось разными вещами: он был художественным руководителем студии мультфильмов, директором музея в Донском монастыре, следователем прокуратуры по особо важным делам. В 1937 году он был арестован, ему собирались дать пять лет, что по тем временам было минимальным сроком и давалось просто «на всякий случай», но дядя, видимо, был идеалистом: слишком отвратительным вблизи показалось ему то, что он долгое время считал нужным или хотя бы закономерным для России, на суде он вышел из себя, сказал, что «это не советский суд, а фашистский застенок», и поплатился за это жизнью.

Не без влияния моего дяди отец окончил рабочую аспирантуру Института кинофотоискусства и в 1935 году поступил на

исторический факультет Московского университета. Не успел он поступить, как тут же был отчислен: надо было освободить места для людей с партийными рекомендациями. С огромным трудом, дойдя до министра, отцу удалось отстоять свое право учиться.

В 1939 году советские войска вступили в Польшу, и отца призвали в армию. Во время краткосрочной кампании он получил чин лейтенанта. В 1940 году он служил на Северном флоте. В июне 1941 года отец закончил университетский курс и сдавал экзамены, когда началась война. Он был обязан явиться в первый день мобилизации.

Войну отец начал опять на Северном флоте. Когда немцы стояли под Москвой, отец в офицерской компании сказал, что в неудачах первых месяцев войны виноват Сталин. На следующий день его арестовали и вскоре он предстал перед трибуналом. Трибунал осудил его на восемь лет. Отец рассказывает, что перед тем, как судья зачитал приговор, толстомордый сотрудник НКВД, сидевший сбоку, протянул ему какой-то пакет, но тот, махнув рукой, сказал: «Это потом». После суда отца поместили в барак смертников, каждый день нескольких человек выводили на расстрел, и отец ждал своей очереди, думая, что в пакете, который передали судье, было распоряжение о его казни. Однако его опасения не оправдались, через несколько дней он был перевезен на остров Ягры в Белом море, в концлагерь, построенный еще англичанами во время оккупации Архангельской области в гражданскую войну. По-видимому, трудно представить себе более жуткое место: заключенных почти не кормили, и часты были случаи людоедства, а когда привозили хлеб, некоторые заключенные, отталкивая охрану, хватали буханку, с жадностью набрасывались на хлеб и тут же умирали от заворота кишек. Свирепствовала цынга, у отца до смерти сохранились на ногах черные пятна. Когда началась сталинградская битва и нужда в офицерском составе была исключительно высока, отца реабилитировали и послали на сталинградский фронт. Однако из-за железнодорожной путаницы состав, в котором он ехал, попал на Урал. Около года отец пробыл на Урале, командуя ротой особого полка резерва офицерского состава, а в 1943 году был послан на фронт. В чине капитана он командовал сначала ротой, потом батальоном и

весной 1944 года был тяжело ранен осколком мины. Сутки пролежал он в болоте, пока не был подобран связистами. В полевом госпитале отцу сделали операцию, осколок пробил печень, сорвал диафрагму и повредил легкое. Не было хлороформа, и операцию пришлось делать без наркоза. Отец держал за руку сестру, и у той к концу операции остался черный след от сжатых от боли пальцев отца. Вскоре он получил инвалидность.

После войны вся страна жила в ожидании перемен, я хорошо помню долгие ночные споры отца с бабушкой, мало понятные мне, они сводились к одному: что будет дальше? Казалось, что к прежнему страшному времени не может быть возврата. Но все было совсем не так. Отец зашел в университет, чтобы сдать оставшиеся экзамены и получить диплом, однако академик Тихомиров, бывший тогда деканом исторического факультета, зная об антисталинских взглядах отца, начал обставлять это такими бюрократическими препятствиями, что отец не выдержал, стукнул своей инвалидной палкой по столу Тихомирова, так что треснула дубовая крышка, и больше в университет не ходил. Долго он занимался тем, что устанавливал и красил бульварные решетки. В это время отец начал много пить. По ночам ему снилась война. Он вскакивал с постели и с криком, который леденил меня, так что я застывал в своей кроватке, пытался опрокинуть стол или буфет. Мать и бабушка повисали на нем с обеих сторон и как-то успокаивали его.

В 1950 году отцу удалось найти работу по исторической картографии, позднее он стал писать статьи по истории, а затем вместе со своим университетским товарищем опубликовал две научно-популярные книги по археологии. Однако отцу недолго пришлось заниматься тем делом, к которому он готовился в университете. Сказались все тяжелые последние годы. В 1957 году у него был первый маленький инсульт, и его здоровье начало катастрофически ухудшаться, а весной 1960 года были полностью парализованы правая рука и нога и он полностью лишился речи. Долгое время он пробыл в больнице, ему стало немного лучше, но он не мог уже работать, почти не мог читать, почти не мог говорить, мучительно подыскивая и неправильно выговаривая каждое слово. Тяжелым ударом была для него смерть жены. Моя мама умерла в январе 1961 года от рака мозга, и мы с отцом остались одни. С тех пор мы все вре-

мя прожили вместе, почти всегда дружно, хотя нам и тяжело было жить. После смерти матери отец перенес еще один инсульт, а потом инфаркт. С огромным трудом удалось мне выхлопотать ему пенсию. В собесе тянули полгода, не давая определенного ответа: трудность заключалась в том, что после войны отец работал не в штате, а по договорам. Как ни парадоксально, помог получить пенсию КГБ. Когда там со мной разговаривали по поводу моей работы о Киевской Руси, которую я хотел отправить в Данию, я думал, что меня вышлют из Москвы. Поэтому я попросил как-то позаботиться о моем отце, кокорый никак не может получить пенсию. Когда после этого я зашел в собес, меня приняли там с большим почтением и через день оформили пенсию. Так что я не могу поминать КГБ только черными словами.

Пока отец жил со мной, у него всегда была уверенность, что о нем есть кому позаботиться. Внезапно он остался один. Состояние отца совершенно не было безнадежным. Он не умер бы, если бы не выслали меня или если у него хотя бы была уверенность, что о нем кто-то позаботится, пока я не вернусь. По существу его убили судья Чигринов и чигриновщина, убили в самый разгар демагогической кампании за помощь фронтовикам.

На даче отец часто плакал и повторял: «Жалко Андрюшу». Его приятельница хотела утешить его: Андрей скоро вернется. «Нет, я Андрея больше не увижу», — говорил отец. Перед его отъездом на дачу мы с ним немного поспорили. С недовольным лицом подсаживая отца в машину, я не думал тогда, что вижу его последний раз. Я хорошо помню его в старости: высокого, широкоплечего, с совершенно белыми волосами и пристальным взглядом синих глаз.

Глава двадцатая
МОСКВА

Через несколько дней после приезда я встретился со своим адвокатом. Адвокат произвел на меня впечатление человека культурного и дружелюбного, а главное, в данном для меня случае, человека, понимающего ход административно-судебного механизма и, возможно, знающего какие-то выходы из лабиринта, который я считал безысходным.

— Убили-таки они вашего отца, — сказал адвокат. Однако он находил, что не следует прекращать борьбу. — В Московской городской прокуратуре сначала очень сочувственно встретили мою жалобу, — объяснил он, — но, видимо, она наткнулась на противодействие Московского управления КГБ, поэтому надо передать дело в республиканские инстанции.

Он предложил мне по тому образцу, который он мне даст, написать самому жалобу, уже в прокуратуру РСФСР, и с ней самому пойти в приемную прокуратуры. В его ходатайстве, которое он дал мне как образец, основной упор делался на то, что я постоянно не работал, ухаживая за отцом, и потому не могу считаться «тунеядцем».

— Хорошо, — сказал я, — но в прокуратуре РСФСР мне могут возразить: может быть, вы и ухаживали за отцом, но раз теперь он умер, значит он не нуждается больше в вашем уходе и вы можете оставаться в ссылке.

— Тогда сделайте вот что, — сказал адвокат, допуская такое толкование прокуратуры, — пометьте вашу жалобу числом ранее смерти отца.

Адвокат рассказал мне еще о своей встрече с судьей Чигриновым.

— Ну, как вы находите дело? — спросил Чигринов.

— По-моему, возмутительное, — сказал адвокат, — человека выслали совершенно необоснованно.

— Ну, нет, — возразил судья, — вы бы почитали, что он пишет в своих пьесах, тогда бы так не говорили.

Лишний раз я увидел, что все упирается в мои пьесы, и самые веские доказательства, что я не «тунеядец», делу не помогут. Поблагодарив адвоката за хлопоты, я все же, по размышлении, не пошел в прокуратуру. Я чувствовал себя очень

подавленным, общение с чиновниками было бы для меня крайне тяжело, а главное, я нисколько не верил, что прокуратура захочет объективно разобраться в моем деле. Единственной для себя надеждой я считал — добиться на месте освобождения «по половинке». Я перед отъездом попросил своих друзей извиниться за меня перед адвокатом, что я не выполнил его инструкций и не позвонил ему.

Другим делом было получить назад изъятые при обыске вещи, поскольку я был осужден без конфискации имущества. Я разыскал делавшего обыск капитана Бушмакина, который направил меня к моему следователю Новикову. С трудом нашел я его в следственном отделе МООП. Увидев меня, он удивился и, выставив какого-то старика, которого допрашивал, пригласил в кабинет. Сразу же он попросил маршрутный лист и заговорил со мной уже без той официальности и торжественной печали, с какой говорил пока я был его подследственный. Прежде всего он подчеркнул, что ни он, ни его ведомство не имеют никакого отношения к моей ссылке.

— Как ты сам понимаешь, — сказал он, — тебя сослали не мы, а Комитет. Они только хотели действовать нашими руками, от чего мы всячески отбивались. — Вообще же он несколько удивлялся той сравнительной либеральности, с какой со мной поступили. — Не тот теперь Комитет, раньше бы ты исчез лет на двадцать глухо.

Прекращение уголовного дела он приписывал исключительно себе, говоря, что экспертиза всегда бы дала требуемые заранее результаты. В этом я с ним полностью согласился; что же касается того, он или не он прекратил дело, я приписывал ему все же более скромную роль. Новиков добавил, что Московская прокуратура затребовала у него мое дело и намеревалась сначала опротестовать его в суде, но натолкнулась на противодействие начальника Московского управления КГБ Светличного, который сказал: «Пусть посидит». Поэтому Новиков считал для меня дело довольно безнадежным.

— Тунеядцы — темный лес, — заметил он, — тут могут сделать что хочешь.

Про картины и пьесы он сказал, что все они целы и через день я смогу получить их у него в Районном управлении милиции. В указанный срок я зашел туда вместе со своим това-

рищем. Новикова пришлось довольно долго ждать. Наконец он появился, размахивая толстым портфелем, и мы прошли в комнату, где хранились мои вещи. Там сидели какой-то мужчина в штатском и толстая вульгарная тетка. Картины мне были возвращены все; правда, некоторые акварели Зверева в крайне попорченном состоянии. Когда я развернул рулон с его работами, там оказалась пустая водочная бутылка.

— Этого у меня не изымали, — сказал я.

Все милицейские были крайне смущены, толстая тетка, которая перед этим потешалась над картинами Зверева, взяла четвертинку двумя пальцами, как бы изображая гадливость, и выбросила ее в мусорную корзину.

Тут же Новиков показал мне заключения экспертов. Заключение графической секции МОСХ'а было очень кратким: было сказано, что рисунки Зверева — «рисунки ненормального человека, в некоторых наличествуют элементы эротического бреда». Заключение Татьяны Сытиной было гораздо более пространно и очень грубо по тону; так, она называла меня «двадцатилетним оболтусом». Меня это удивило, потому что пьесы я начал писать в двадцать пять лет, а ко времени ареста мне исполнилось двадцать семь. Но, может быть, столь пренебрежительное заключение было даже лучше для меня.

Из-за рисунков Зверева вышел спор.

— Это порнографические рисунки, — сказал Новиков, — я оставлю их здесь и сожгу.

— Но экспертиза ведь показала, — возразил я, испугавшись, — что это не порнография, а эротический бред.

— А зачем советским зрителям показывать эротический бред? — в свою очередь парировал Новиков.

— Ну, — примирительно сказал я, — в таком случае я не буду показывать их советским зрителям.

Удовлетворенный таким ответом, Новиков вернул мне рисунки. Он также вернул мне рукописную биографию Зверева, а оба ее машинописных экземпляра с рисунками пропали. Папка с моими рукописями уменьшилась раза в два. Новиков сказал, что это все, что он получил из КГБ от Гончаренко. Впрочем, было по экземпляру каждой моей пьесы, пропали варианты и копии. Также пропал машинописный сборник моих стихов,

чего я сразу даже не заметил, потому что был обеспокоен судьбой пьес. Впоследствии я получил его у Новикова.

Но каковы же были мое удивление и ужас, когда Новиков открыл сейф и достал оттуда иконы. Одна икона, правда, была моя, зато вместо двух икон XVII века — Богоматери московской школы и Федора Стратилата северных писем — Новиков протянул мне две никчемных деревяшки даже не XIX, а начала XX века. По размеру они точно соответствовали моим, причем на одной действительно была намалевана Богоматерь с младенцем, а на другой — безымянный святой, который мог сойти и за Федора Стратилата.

— Это подлог, — сказал я, — это не мои иконы.

Новиков, казалось, был искренне удивлен случившимся.

— Эти иконы я получил от Гончаренко, — сказал он, — и сам ничего не подменивал, мне это не нужно.

Он дал мне телефон Гончаренко, чтобы я позвонил ему и выяснил, в чем дело, однако потребовал, чтобы я расписался в протоколе обыска, что получил назад все вещи; в противном случае он отказывался вообще что-либо возвратить мне. Подумав, я решил подписать протокол, так как лучше потерять две иконы, чем рисковать вообще всеми картинами и пьесами. Две поддельные иконы я брать отказался и оставил их у Новикова.

По телефону, который он мне дал, я позвонил Гончаренко. Человек с любезным до приторности старческим голосом сказал, что Гончаренко здесь больше не работает и он замещает его. Я объяснил, в чем дело, и новый оперуполномоченный попросил меня позвонить на следующий день. На второй день еще более любезным тоном он сказал, что разговаривал со своим начальством и начальство ответило ему, что к моему делу КГБ не имеет никакого отношения и потому никаких претензий принять от меня он не может. Как я узнал впоследствии, Гончаренко перевели из КГБ в Министерство культуры, где он, видимо, мог использовать опыт, накопленный во время моего дела. Вскоре после моего отъезда он звонил Новикову и просил дать ему мои вещи для какой-то выставки, но, к счастью, я уже забрал их, иначе мне ничего бы не видать.

Я еще решил разыскать своего школьного товарища, с которым вместе сидел в Могильцевском переулке, чтобы узнать,

кто он в действительности. С трудом я нашел его квартиру, но мне сказали, что он рано утром уходит на работу и поздно вечером приходит, а где работает — неизвестно. Так я ничего и не узнал. Зато неожиданно я встретил другого своего товарища — Толю Зверева. Совершенно случайно мы столкнулись друг с другом как раз возле Московского управления КГБ. Но не стоит думать о нас плохо — просто в доме напротив, в бывшей французской богадельне, жил наш общий знакомый. «А у меня был обыск по поводу тебя», — сообщил мне Зверев, на что я мог ему ответить, что у меня был обыск «по поводу» него. Зверева огорчило заключение экспертов МОСХ'а, что в его работах «наличествуют элементы эротического бреда». Желая переубедить экспертов, он придумал явиться в МОСХ с какой-нибудь женщиной, совершенно не способной вызвать вожделение у кого-либо, низкорослой, тощей и плоскогрудой, и тем самым доказать мосховцам, что у него нет никаких эротических поползновений. Однако он отказался от этого плана, рассудив, что и в плоской груди заключена своя эротика.

Вскоре после нашей встречи в Москву снова приехал Маркевич.

— Толечка, какая грустная новость, — сказал он Звереву, — умер твой друг Андрей.

— Как умер? — удивился Зверев. — Я сам его видел не так давно и слышал, что он сейчас в Сибири.

— Нет, он умер, — продолжал Маркевич, — я послал ему из Парижа письмо и получил обратно с пометкой о его смерти.

Так почтовые чиновники «похоронили» меня в глазах Маркевича.

Адвокат и следователь указали мне на новую большую трудность, которая меня ожидала. Поскольку я был выписан из Москвы, со смертью отца я терял все права на нашу комнату и ее должны были заселить другими жильцами, а все наши вещи в присутствии нотариуса описать, оценить и вывести куда-то на склад. Потом мне могли вернуть или вещи, или, в случае их пропажи, установленную оценщиком стоимость. Я терял не только комнату, но и возможность жить в Москве, хотя «тунеядцы», по отбытии ссылки, имеют право на прописку в Москве, меня просто некуда было прописывать за неимением близких родственников. Я говорил с начальником отделения милиции,

но он только руками развел, также и следователь считал, что дело почти безнадежно при существующих законах. Так что мне оставался сто первый километр.

Как единственный выход, мои друзья посоветовали мне фиктивный брак с какой-нибудь девушкой, которая согласилась бы прописать меня у себя, когда я вернусь в Москву. Самому мне пришлось бы снимать где-нибудь комнату. Такие фиктивные браки, связанные с пропиской или получением комнаты, довольно обычное явление в Москве. Не знаю, нашли ли бы мои друзья мне «невесту», но все вышло по-другому.

Незадолго до своего ареста я познакомился с молодой художницей Гюзель, которая мне очень понравилась. Случайно мы встретились за день до суда надо мной. К сожалению, я не знал ее адреса и не смог написать ей из Сибири. Когда я ехал в Москву и думал, как устроить отца, я надеялся, что, быть может, она согласится жить в моей комнате и помогать ему. Вскоре по приезде в Москву я разыскал ее, и мы виделись почти каждый день. Незадолго до отъезда я попросил ее стать моей женой, и она ответила согласием. Узнав, что она хочет выйти замуж за русского, вдобавок за «каторжника», и ехать с ним в Сибирь, ее родители, фанатичные и недалекие татары, пришли в ужас. Мать умоляла дочь одуматься, плакала, пыталась спрятать ее паспорт и вещи, а суровый отец торжественно проклял ее, и она ушла из дома, провожаемая плачем матери и проклятиями отца.

Регистрацию нашего брака пришлось отложить до Сибири, поскольку у меня не было никаких документов, кроме маршрутного листа. Если отпал, таким образом, вариант фиктивного брака и связанные с ним надежды на прописку, поскольку родители моей жены никогда не согласились бы прописать меня у них в квартире, я решил спасти все же свои книги и картины от «оценки и хранения» их властями, уже убедившись, что это такое. Кроме того, мне крайне не хотелось, чтобы кто-то опять рылся в наших вещах. Но перевозить вещи к моим друзьям, на что они дали согласие, уже не было времени. 12 октября кончался срок маршрутного листа, и 13-го я должен был уже предъявить его кривошеинскому коменданту. Для этого нужно было выехать из Москвы по крайней мере 9-го, между тем, подавленный смертью отца, я почти ничего не делал, и к 9-му

октября все мои вещи еще оставались на Суворовском бульваре. Я решил тогда попросить в своей старой поликлинике бюллетень на три дня, воспользовавшись легким гриппом. Наш прежний участковый врач, пожилая толстая женщина, отнеслась к моей просьбе сочувственно, но сказала, что как же она сможет дать мне бюллетень, раз я уже не прописан в их районе? Она позвала на помощь заведующую отделением, и та на свой страх и риск выписала мне бюллетень. Каково же было удивление канцеляристки, ставившей на бюллетенях штамп поликлиники, когда вместо паспорта с пропиской я протянул ей свой маршрутный лист. Кое-как она все же поставила мне штамп, и теперь я мог пробыть в Москве лишних три дня. Тут же я позвонил начальнику Жилищной конторы и попросил не опечатывать комнату до моего отъезда 12-го октября.

Вечером девятого я начал разбирать вместе со своей приятельницей бумаги. Просматривая, я рвал многие на куски и с криком: «Пропади все пропадом!» — разбрасывал их по комнате, так что весь пол стал белым от бумажных обрывков. Позднее зашли Гюзель и муж моей приятельницы, и мы вчетвером выпили за наш невеселый брак и конец дома на Суворовском бульваре. Мы завели пластинки, и я помню, как моя пьяная жена танцевала в красных сапожках испанские танцы, поднимая вихрь белых бумаг среди разгромленной комнаты.

Перевоз вещей оказался делом хлопотливым. Когда мы перевезли на грузовом такси книги, картины и кое-что из одежды, оказалось, что все это некуда деть на новом месте, и через день пришлось еще нанимать машину с грузчиками, чтобы перевезти книжный и платяной шкафы, куда все можно было бы сложить. Мы долго искали машину с грузчиками. Мой товарищ по ошибке попал на автобазу, занимающуюся перевозкой строительных грузов, и начальник, не понимая, что он хочет от него, толкуя о каких-то шкафах, долго рассказывал ему о выполнении плана, показывая многочисленные графики, пока мой озадаченный товарищ не покинул столь же озадаченного начальника. Только 12 октября, к середине дня, все было закончено.

Уже заранее я взял билеты на пассажирский поезд «Москва-Томск», который отходил с Казанского вокзала в одиннадцать часов вечера. Я так устал от Москвы, что даже хотел уехать скорее. Но за три часа до отъезда я сообразил, что нас ожидает

новая трудность. У меня в Москве хранилось немного денег, но я жил на них две недели, перевез вещи и купил два билета до Томска. Теперь же у меня не осталось ни копейки: неизвестно, что бы мы ели в дороге и как добрались бы от Томска до Гурьевки. Уже за час до отхода поезда мы с нетерпением ожидали моего товарища, который обещал достать двадцать рублей. Наконец он появился, мы наскоро выпили бутылку вина на дорогу и поехали на вокзал. Так мы отправились в свадебное путешествие, окрашенное в мрачные тона смерти, ссылки и полной неопределенности нашего будущего.

В день нашего отъезда в Москве пошел снег, но чем дальше мы ехали на восток, тем становилось теплее. Поздно вечером 15 октября мы прибыли в Томск. Оказалось, что ближайший пароход идет только завтра в двенадцать дня. Мы сдали вещи в камеру хранения на пристани — кроме одежды, мы взяли этюдник и рулон бумаги для Гюзель и мою пишущую машинку, — и через весь город пошли пешком обратно на вокзал, на пристани зал ожидания на ночь закрыли. На вокзале все скамьи были заняты, мы сели на пол возле группы цыган в ярких одеждах и так провели всю ночь.

Днем должны были идти быстроходная «ракета» и пароход. Денег на «ракету» у нас не было, и мы сели на пароход, в душном трюме мы тащились по реке целый день. Когда мы подходили к Кривошеину, была ночь, в кромешной темноте горели только неяркие огни на пристани. Кажется, мы были единственными, кто сошел здесь. В полной тишине шли мы по деревянному мостику, еще таща свои вещи. Мы спешили в милицию, чтобы отдать дежурному маршрутный лист и бюллетень. Нам некуда было идти, и я попросил у дежурного разрешения переночевать в милиции. Придирчиво рассмотрев паспорт Гюзель и заметив, кто брак наш не зарегистрирован, он все же разрешил нам остаться и даже напоил фруктовым чаем, какой я пил в камере в мою последнюю тюремную ночь.

Ночь мы проспали на полу в коридоре, а рано утром пошли на окраину села, в надежде поймать попутную машину. Уже начинались сибирские холода, деревья были покрыты инеем. До Новокривошеина нас подвез на телеге мужик из соседней деревни, а там мы сели на грузовик, который шел в Малиновку. По странному совпадению, в кабине сидел Жарков, который

отвез меня в Гурьевку первый раз. Миновав сжатые овсяные поля с пасущимися коровами, дорога повернула, и на миг с горы открылись разбросанные по косогорам избы: Гурьевка.

Глава двадцать первая
ГУРЬЕВКА

Перед своим отъездом обе группы студентов прибили к наружной стороне моего дома старые ботинки, брюки и кепки, так что нам с Гюзель дом издали напомнил какое-то произведение американского попарта. Внутри было пусто и холодно. Едва мы сложили вещи, как появилась Аксинья, та самая, у которой жил Лева. Аксинья эта была вроде деревенской газеты и первая узнавала и разносила новости. Она сказала, что Лева ушел от нее, и настойчиво приглашала нас жить к себе, говоря: как же вы будете зимовать в гнилой избе, да еще без дров? Гюзель, которая от непривычки растерялась и испугалась холодной избы, хотела было пойти жить к Аксинье. Однако я уже твердо решил ни к кому не идти на квартиру, а жить самостоятельно. Вслед за Аксиньей зашла наша соседка, Сонька, и пригласила нас поесть с дороги. Раньше я своих соседей совсем не знал.

У кладовщицы мы забрали свои вещи, которые она свезла в кладовую после моего отъезда, и начали устраиваться в доме. Я разобрал студенческие нары, затопил печь, Гюзель подмела пол и постелила на кровать клетчатый плед. Наша изба приобрела даже уютный вид. Я развел глину, обмазал и укрепил потрескавшуюся печку, потом замазал кое-где щели в стенах и оконные рамы, но толку от этого было мало. И впоследствии, когда начались сильные морозы, нам приходилось затыкать щели соломой, тряпками, замазывать глиной и даже залеплять вареными макаронами. Вскоре мы набили соломой сшитый из мешков матрас, и могли спать уже не на голых досках. Гюзель вымыла окна. Несмотря на октябрь, стояли солнечные дни. Сквозь окно мы видели лошадей, медленно идущих по коричневато-зеленой от жухлой травы земле.

В первый же день я зашел представиться бригадиру. Тот доложил мне, вроде как районному начальству, что все полевые работы закончены. Меня гораздо больше волновало, что мы с Гюзель будем есть. Так как томичи уехали, в кладовой не было уже ни мяса, ни яиц. Был еще сахар, подсолнечное масло, пшенная крупа и макароны. Я спросил бригадира, не могут ли мне, раз нет ни яиц, ни мяса, давать вместо одного два литра молока. Бригадир сказал, что сам он решить не может, надо запрашивать правление, но едва ли разрешат — я и без того колхозу много должен. Так я это и оставил. Зато он сказал, что я могу, пока не засыпали на зиму хранилище, взять картошку. На второй или на третий день мы с Гюзель набрали десять мешков картошки, отвезли на телеге домой и засыпали себе в подполье. Благодаря этой картошке мы зимой и не умерли с голоду. Хлеба в кладовой уже не было, и я взял муку, из которой нам согласилась печь хлеб наша старая соседка, свекровь Соньки. Когда отношения с соседями испортились, Гюзель сама пекла хлеб на соде. Духовки у нас не было, и приходилось печь маленькие пышки прямо в топке.

Первое время к нам часто заходили гости: посмотреть на Гюзель и вообще на то, как живут москвичи. Молча, без стука входили, садились на порог, долго чесали в затылке и с трудом развязывали языки, потому что сказать было нечего. Мы так же молча смотрели на них со скамьи за столом. Одним из первых зашел Лева, который теперь вместо меня пас коров с Санькой. Лева тоже был молодожен. По приезде в Гурьевку он все время осуждал Саньку и Леньку, что они сошлись с женщинами почти на десять лет их старше, повторяя: какой позор, как-де это можно терпеть! Но по мере того, как надвигалась голодная зима, Лева забеспокоился. В мое уже отсутствие он сошелся с горбатенькой Полей, старше его лет на двадцать, и перешел жить к ней. Правда, Аксинья была немногим старше Поли, но у нее не было ни свиньи, ни коровы. Чувствовал себя Лева превосходно: вместо тощего летнего рациона из колхозной кладовой он ел сало, запивая его бражкой, и, будучи от природы человеком непосредственным, пьяным ходил по деревне и рассказывал: вот как я живу — сало ем, мясом закусываю, бражкой запиваю, в Москве я так не жил. А чтобы как-то скрасить брачные развлечения со своей престарелой подругой,

он по пьяной лавочке устраивал такие спектакли: приглашал к определенному часу к окнам мужиков со всей деревни, зажигал в доме свет и показывал со своей Полей разные незамысловатые фокусы.

Заходил еще Санька, почти всегда пьяный, за ним иногда приходила его подруга Надя, костистая, с вислыми губами и необыкновенно громким крикливым голосом. Она объясняла свой голос тем, что у нее мать глухая и всем детям приходилось с детства кричать. Она была женщина решительная и неплохая, к Саньке же относилась как к маленькому ребенку у нее на попечении. Заходили два брата-старика: дядя Гриша, контуженный на войне, с постоянно трясущейся рукой и заикающийся дядя Петя. У них я потом часто мылся в бане. Зимой дядя Гриша заходил чуть не каждый день, как он говорил, «в карты гулять». До карточной игры он был большой охотник, хотя из-за контузии не мог удержать карты в руке и они рассыпались по всей избе. И многие еще заходили.

Первое время часто у нас бывали наши соседи: маленькая краснощекая Сонька и ее муж тракторист Митька, очень похожий на Чарли Чаплина, только с рыжими усами, или, еще лучше сказать, на Иванушку-дурачка. У них было три дочери, самой старшей около пяти лет, жили они вместе с Митькиным младшим братом и их матерью, которая пекла нам хлеб. Митькин брат, Гоша, тоже работал трактористом, он отслужил уже в армии и к остальным деревенским относился немного свысока, паспорт свой в контору не отдавал и говорил, что скоро уедет отсюда. Митька с Сонькой хотели в ноябре отмечать день рождения одной из дочерей, заварили бражку и попросили, нельзя ли спрятать ее пока у нас. Летом Сонька подралась со своей старшей сестрой Катей, той самой, которая жила с «тунеядцем» Федей, и пожаловалась на нее в милицию. Нагрянула милиция, а Катя как раз гонит самогон. Ее оштрафовали на сто рублей, и Катя поклялась отомстить сестре. Вот Сонька с Митькой и боялись держать брагу у себя дома, два больших бидона простояли у нас до ноября за печкой. Один бидон распили на гулянке, а другой довольно еще долго стоял у нас в подполье, и мы с Гюзель несколько раз совершали преступление: отливали себе бражки и доливали простой воды, пока Митька не забрал бидоны. В благодарность за хранение бражки Сонька пригла-

сила нас на день рождения. Гости расселись за составленными в ряд столами, было человек двадцать. Сначала почти в молчании пили самогон, потом бражку, закусывали холодной бараниной, студнем и печеными пирожками с мясом, все в очень небольших количествах. Некоторое разнообразие вносил только пьяный Лева, приглашенный вместе с Полей, он шумел, пытался произносить тосты и все время попрекал остальных гостей: вы-де колхозники сиволапые, не умеете двух слов правильно сказать, то ли дело мы, москвичи! Потом женщины запели хором, довольно красиво, но усталый после работы и от непривычки пить бражку я вскоре уснул прямо за столом. Гулянка продолжалась и на следующий день.

17 октября мы приехали в Гурьевку, а 19-го я начал работать. Бригадир послал меня на сушилку, где пересушивали льняное семя. Лен — основной источник дохода для колхоза, как и вообще для многих сибирских колхозов. Между тем колхоз недостаточно хорошо просушил льняное семя, и Кривошеинский льнозавод отказался его принять, семя просушили вторично — и снова плохо, теперь его сушили уже третий раз. Сушил молчаливый и рассудительный кузнец Иван, моей обязанностью было подтаскивать мешки с семенем, высыпать и подгребать семя к вытяжной трубе. Если семя рано или поздно все же приняли, то гораздо хуже получилось с льносоломкой. Соломку нужно теребить, а теребить ее некому. Потом бригадиру удалось все же набирать в день по пять-шесть баб, которые вручную теребили соломку в конюховке; часть этой соломки, которая хранилась в сушилке, зимой разметали выпущенные на прогулку коровы, а большая часть вообще не тербленая сгнила на полях. Единственный, по-видимому, выход — чтобы завод принимал лен в сыром виде по пониженным ценам и сам его механически обрабатывал, иначе при низкокачественной ручной обработке в колхозах потери очень велики.

На сушилке я проработал несколько дней, и бригадир послал меня подвозить корма коровам. Оба стада еще пасли, но дойных коров решили подкармливать силосом, потому что на осенней траве стали резко падать надои. Мне дали старого саврасого мерина Сокола, когда-то самого сильного коня в деревне, но теперь от старости едва живого: когда он шел в оглоблях, то

покачивался от дряхлости из стороны в сторону. Было ему лет двадцать, и вокруг него уже начала складываться легенда: что якобы жеребеночком он бежал из соседней деревни от татар, которые его хотели резать на мясо, и так появился в Гурьевке. Я узнал потом, что легенда эта неверна: Сокол родился в Гурьевке от кобылы Кадушки и с детства отличался той же флегматичностью и неторопливостью, что и в старости, заставить бежать его рысью было невозможно, а обычно он шел, еле перебирая ногами и грустно помахивая своей старой головой. Теперь мне предстояло запрячь его; не умея запрягать, я провозился около часа: несколько раз Сокол удивленно оглядывался на меня, пока я возился с гужами, но терпеливо стоял на месте. Тут я порадовался, что мне дали такого смирного коня. Наконец я как-то запряг его и поехал за силосом.

Кукурузный силос надо было брать в бурте за коровником, куда я сам засыпал его когда-то. Морозы еще не наступили, силос не замерз, и мне не трудно было выковыривать его вилами и накладывать в железное корыто на телеге. Накладывая понемногу, я делал всего четыре рейса за день. Дня через три пошел снег, пастьба кончилась, дойных коров и часть нетелей поставили в коровник, или, как его называли, в базу, а остальных — пока в большой загон на открытом воздухе, где они стояли, прижавшись друг к другу, все покрытые белым инеем. Ездить было уже нужно не на телеге, а на санях.

Возить корма поставили теперь еще двух человек, я должен был подвозить ежедневно двум дояркам 10 центнеров силоса и еще два воза соломы, а также часть силоса нетелям в загоне. На своем медленном Соколе я въезжал в бурту: рубить мерзлый силос было тяжело, яма всё углублялась, и выбрасывать силос наверх становилось трудно, нагружать воз как следует я тоже не умел, да и то, что мне удавалось нагрузить, Сокол тащил еле-еле. Вытягивая воз из бурты, он несколько раз падал и, задыхаясь в хомуте, тяжело хрипел, лежа на боку. Мучился я с ним изрядно. Потом надо было тащиться метров пятьсот до базы, где меня уже встречали матом и проклятиями мои доярки, что скотина до сих пор не кормлена, а им еще надо домой сходить со своими домашними делами управиться. С саней я переваливал силос на весы, потом с весов сбрасывал на пол,

доярки начинали вручную в бачке разносить его своим коровам, а я ехал за следующим возом. Когда же я вез солому, то от моей неумелости воз едва не разваливался в дороге, вдобавок я привозил меньше, чем другие. Привычные деревенские мужики управлялись с этой работой гораздо лучше, мои доярки ругали меня, и бригадир перевел меня возить корма только нетелям.

Но с нетелями было еще труднее. Если дойные коровы стояли на привязи, то нетеля свободно бродили в своем загоне. Едва я въезжал туда с возом, как они окружали меня со всех сторон и хватали силос прямо с саней. Давка стояла невообразимая, я лупил их вилами по спинам, чтобы как-то доехать до двух больших деревянных корыт и скинуть туда силос. Некоторые от возбуждения чуть на Сокола не влезали.

Меня опять очень удивляла крайняя нерациональность подвозки кормов. Две бурты были прямо за коровником. Не проще ли было, говорил я колхозникам, по прямой врыть столбы, протянуть по ним железный рельс с подвешенной на него большой тачкой, нагружать тачку на бурте и с помощью электромотора быстро перебрасывать силос в коровник. Отняло бы все это сооружение меньше сил и средств, чем бессмысленная установка пасынков. Остальные бурты с силосом были расположены километрах в трех-четырех от деревни, а некоторые вообще в десяти, зимой туда ездила каждый день бригада на больших тракторных санях, грузила силос на сани, и трактор подволакивал их к базе, где возчики перегружали его на конские сани и развозили своим дояркам. Ездить далеко было очень трудно, особенно же в пургу и мороз. Опять же, говорил я, не проще ли все бурты рыть возле коровника: дешевле и удобнее сразу подвозить силос при его уборке по летним дорогам, когда в колхозе много машин, чем с таким трудом доставлять его зимой. Колхозники на меня только рукой махали: так, мол, всегда было, какой умный приехал нас учить! Нежелание колхозников облегчить свой труд происходит, по-моему, от воспитанного в них сознания, что их дело — делать, что им велят, а улучшать что-либо в работе или ухудшать — об этом начальство подумает. Если же мы что-то полезное и сделаем, рассуждают колхозники, мы за это все равно ничего не получим, только попадет

еще за самоуправство. Я не хочу тут во всем обвинить власти, дело еще в вековой крестьянской косности.

Работа на ферме меня очень изматывала, вдобавок есть было почти нечего. По ночам я несколько раз просыпался: мне все снилось, что я везу силос и надо торопиться. Поэтому я очень обрадовался, когда 30 октября бригадир перевел меня на новую работу: чистить телятник. Телятник располагался параллельно коровнику, в длину метров пятьдесят с лишним, в обоих концах были ворота, между ними посредине шел проход, а по краям — загончики для телят. В одной половине стояли маленькие телята, а в другой, по обеим сторонам прохода, потом привязали остальных нетелей. В октябре и ноябре телятник энергично достраивали лишившиеся на зиму работы трактористы: накрывали крышу шифером, застилали пол, делали загончики и кормушки, кое-как навесили ворота, приехал печник и сложил печь с вмазаным туда котлом — поить телят. Тем не менее все стены и потолок были в дырах, кое-где их заткнули соломой, в морозы с потолка свисали белые клочья соломы на подобие сталактитов, а спины коров покрывались инеем. Потом в середине телятника сделали еще ворота, и маленьким телятам от печки было теплее.

За нетелями смотрела скотница, крикливая Аксинья, от которой уехал Ленька и которая от злобы на меня набрасывалась, что я поздно вычищаю ее участок. За телятами смотрели две телятницы поспокойней. Я работал сначала на Соколе, потом на Резвом, или, как его еще звали, Спиридоне, потому что на нем когда-то ездил ветеринарный врач по имени Спиридон. Спиридон был старый конь, старше Сокола, но гораздо резвей, потому его так звали. И характер у него был не такой флегматичный. Когда я запрягал его, он каждый раз норовил меня укусить, не столько чтобы сделать мне больно, а чтобы показать свое отношение к той работе, которую я заставляю его делать. В его походке было что-то кошачье, а своей седой гривой и умными старыми глазами он напоминал мне Эйнштейна. Еще я работал на здоровенном коне Лысом, о котором расскажу дальше.

Между стойлами и проездом были устроены канавки, куда скотницы и телятницы соскребали навоз, а я должен был выгребать оттуда, нагружать на сани и вывозить на поле за те-

лятником, где были уже горы навоза. Навоз этот так и пропадал, никто его как удобрение не использовал. Вывозил я отсюда в день примерно шесть возов и еще воз мокрой соломы из пристройки к коровнику, где стояли совсем маленькие телята, получая за это полтора трудодня в день. Мерзлый навоз выковыривать из канавок и нагружать на сани было очень трудно, заведующая фермой Стешка Боровинская дала мне какую-то игрушечную лопатку, которая тут же сломалась, она дала другую — еще хуже. Сама же она ходила по телятнику, приговаривая: «Ну и работника к нам прислали, целый день г.... чистит — вычистить не может». Когда и эта лопатка сломалась, я пошел к бригадиру, и тот сказал мне, что хорошую лопату Стешка забрала себе домой. Я пошел к ней домой, взял хорошую совковую лопату — и дело пошло быстрей; потом я канавки заложил досками, чтобы не выковыривать навоз, а чистить по ровному полу.

Мне приходилось плохо еще вот почему. Сапог мне колхоз так и не дал, я работал в летних ботинках, а морозы в ноябре стояли уже свыше 20° С; мои замшевые перчатки, которые я привез из Москвы, очень быстро порвались, и я работал голыми руками, от этого у меня всю зиму по ночам так сводило пальцы, что я утром не мог их разогнуть сразу и не в силах был даже крючок с двери откинуть. Денег никаких в колхозе я не получал, купит ничего не мог и просил председателя, парторга и бригадира, чтобы колхоз выдал мне авансом рукавицы и сапоги или валенки, но ничего не добился. Ветеринарный врач увидел проездом, как я чищу телятник в ботинках, пожалел меня и подарил свои старые рваные кирзовые сапоги. Я проносил их всю почти зиму, обматывая ноги мешковиной; когда морозы доходили до 30-50 градусов, мешковина примерзала к сапогам, так что оторвать было трудно. В феврале они развалились у меня прямо на ногах, но тогда у нас было немного денег, и Гюзель купила мне новые за двенадцать рублей. К середине ноября в кладовой кончилась мука, мы оказались без хлеба, а хлеб, наряду с картошкой, был основной нашей пищей. Когда тут Стешка заныла опять, что я плохо работаю, я не выдержал, кинул в нее лопатой, сказал, что работать больше не буду, пусть телята в г.... утонут, распряг коня и пошел домой. Это был единственный случай, когда я сорвался. Вообще

же сколько раз до этого и после этого мне хотелось бросить все к чертовой матери, но я крепился, чтоб уйти скорее «по половинке», а не завязнуть здесь еще глубже.

Часа через два ко мне зашел бригадир, держался очень миролюбиво. Принес свои старые заплатанные рукавицы и сказал, что сегодня едет в Ивановку, так захватит с собой мешок зерна, чтобы смолоть мне там на мельнице муку. Эти рукавицы я носил до весны; они все время рвались, и Гюзель обшивала их мешковиной, так что в конце концов они приобрели размеры и вес боксерских перчаток. От холода нам с Гюзель вообще пришлось помучаться. У нас была одна пара старых валенок, которые носила Гюзель, но они очень скоро продырявились, потом сестра прислала ей валенки из Москвы, тоже, впрочем, мало приспособленные к сибирским морозам. Митька оставил нам рваный бараний тулуп, которым накрывали бражку; Гюзель зашила его и в нем ходила, а ночью мы им укрывались. Я ходил в ватнике и старых лыжных брюках. Гюзель собиралась в такой спешке и отличалась столь малой долей практичности, что на зиму в Сибирь взяла почему-то купальный костюм, зато почти ни одной теплой вещи.

С самого начала большой проблемой для нас стали дрова. После строительства яслей осталось много чурок, и в конце августа, пока я пас коров, бригадир попросил одного из шоферов подвезти к моему дому машину этих обрезков. Частью их сожгли студенты в сентябре, а остальными топили мы с Гюзель. Летом поблизости от Гурьевки заготовляли дрова для Кровошеинского промкомбината, можно было нанять рабочих и машину, напилить и привезти дрова, но у меня не было денег. Я просил друзей прислать мне двадцать пять рублей; однако эти деньги пришли, когда сам я уже уехал в Москву. По возвращении я смог их получить, но все пильщики уже разъехались. На эти же деньги нам нужно было просто есть, а также мы купили разные хозяйственные принадлежности — будильник, чайник, материю для занавесок и т. д. Короче говоря, умно или глупо, но эти деньги мы растратили в первые же дни после приезда. Занавески на окна, например, были просто необходимы, потому что утром я иногда находил чьи-то следы под нашими окнами, в деревне народ очень любопытен, и потом даже

продавщица предупреждала меня, что некоторые подслушивают и подсматривают под нашими окнами.

Недалеко от деревни в тайге лежали сваленные стволы с обрубленными уже сучьями: там в позапрошлом году заготовляли дрова для промкомбината. Когда кончились наши обрубки, я подумал, что мы с Гюзель можем там напилить себе дров. В один из дней я освободился пораньше, и мы поехали туда на верном Соколе. Снегу еще выпало мало, и лежащие стволы было хорошо видно. Мы начали пилить, но либо пилить мы не умели, либо пила была плохая, но дело двигалось с трудом. Насилу отпилили мы несколько двухметровых бревен и сложили на сани, а ведь дома еще предстояло пилить их на небольшие чурки. Мы, действительно, не умели пилить, но все же, как выяснилось потом, дело было в пиле: пилу мне дали в кладовой короткую, совершенно тупую и без нескольких зубьев. К тому же козел у нас не было. Так что у нас хватило сил напилить себе чурок дня на два, а потом снова надо было пилить. К тому же под снегом нам все труднее становилось находить сваленные деревья.

Недалеко от того места, где мы обычно пилили, я заметил в лесу уже распиленные и расколотые поленья, сложенные в ровные поленицы. Я решил, что это тоже заготовленные для промкомбината дрова, и было бы неплохо, пользуясь тем, что промкомбинат далеко, свезти домой часть этих дров. Ближе к вечеру, когда стало темнеть, я подъехал туда на Соколе и начал накладывать дрова на сани. Я наложил полные сани, но они зацепились за пенек под снегом. Я нагнулся, чтобы поправить их, а когда поднял голову, неожиданно увидел, что в нескольких метрах от меня стоит какой-то старик и молча целится в меня из ружья. Я опешил. Старик, увидев, кто я, тоже. Оказалось, что это Говязов, старик из нашей деревни, и дрова эти его. Он охотился поблизости, и услышал, как кто-то возится возле его дров. Подойдя поближе, он с крестьянской жестокостью решил уложить вора на месте, благо в тайге потом улик не найти. К счастью, я поднял голову, и он узнал меня. Я сказал, что не знал, чьи это дрова, и, чтобы как-то уладить дело, согласился отвезти уже нагруженные сани к нему домой. Я боялся очень, что теперь по деревне пойдет молва, что я вор, однако, хотя Говязов, изрядно приукрасив, и рассказал про

это всей деревне, колхозники отнеслись ко всему скорее юмористически и отношение ко мне не изменилось. С дровами у нас было по-прежнему тяжело.

Еще тяжелее у нас было с едой. Очень скоро в кладовой кончился сахар, потом макароны и подсолнечное масло, на котором мы жарили картошку. Так что у нас оставался только литр молока в день на двоих, пшенная крупа и картошка, которую мы, к счастью, запасли в изобилии. По нескольку дней, как я уже говорил, нам пришлось сидеть без хлеба. Без мяса было очень тяжело, а без сахара еще тяжелее. Мы продали потом мою рубашку за рубль и плащ за три рубля и купили сахару; за плащ мы получили еще кусок сала. Еще раньше небольшой кусочек сала дал мне Лева взамен рубля, который был должен с лета. Мы этому салу обрадовались, как дети. Лева иногда заходил к нам, всегда пьяный, довольный сытой жизнью, и говорил мне: «Извини, Андрей, что я живу лучше тебя». Вообще же он считал, что я нарочно прибедняюсь, что у меня много денег. Зная, что сослали меня не за пьянку, как его, и что я сидел в тюрьме, он почему-то решил, что я спекулировал золотом, рассказывал колхозникам, что якобы у меня золотые клады припрятаны в Москве, а когда Гюзель проходила к колодцу мимо его дома, в чужом тулупе, рваных валенках и моей шапке, Лева, стоя на крыльце, громко кричал: «Не верю! Не верю!» — то есть не верю этому маскараду, доставайте ваше золото из кубышки и покупайте меховые шубы.

Я несколько раз говорил колхозному начальству, чтобы в кладовую завезли какие-нибудь продукты, что надо же меня чем-то кормить, раз хотят, чтоб я работал, но толку было не больше, чем в случае с рукавицами и сапогами. А колхозники, видя мой истощенный вид, весело подшучивали: «Вот что значит жить с молодой женой, одни кожа да кости остались». Некоторые нам, впрочем, немного помогали: кузнец Иван дал несколько кочанов капусты, которую мы поквасили и ели с картошкой, а дядя Гриша всю зиму давал лук. Я им за это писал письма.

Когда в Гурьевку в начале декабря неожиданно приехал районный прокурор, я решил ему пожаловаться, что колхоз оставил меня без продуктов. Прокурор, здоровенный седой мужчина, с жирным лицом и тонким голосом от заплывшего

жиром горла, сказал мне на это, что колхоз, мол, платит мне деньги, на них я могу покупать все, что хочу в магазине, он удивляется, что вообще колхоз взял на себя такую миссию — «кормить тунеядцев». Я возразил, что колхоз не платит денег полностью, а только авансирует и потому предоставляет продукты через кладовую, за что я рассчитываюсь в конце года; пока же я хочу есть.

— Ну, колхоз не Морозовская фабрика, — сказал прокурор, вспомнив уроки политграмоты. В политграмоте фабрика Морозовых всегда приводилась как пример тяжелой эксплуатации рабочих при царизме: рабочие брали в фабричной лавочке продукты до выплаты жалованья, а при расчете оказывались еще должны фабриканту.

— Колхоз в десять раз хуже морозовской фабрики, — сказал я, — раз я работаю, я должен есть.

На это прокурор мне ответил: «С вашим братом вот как надо поступать: дать вам лопату потяжелей, да грунт померзлей, да норму повыше, выполнил норму — тогда и поешь черного хлеба». Так моя жалоба, к большому удовольствию кладовщицы, осталась безрезультатной.

Прокурор же приезжал в Гурьевку вовсе не для того, чтобы слушать мои жалобы. Я расскажу подробно о деле, которое его привело, это хорошая иллюстрация к тому, что я говорил раньше о положении пастухов.

После моего отъезда нетелей пас один Санька. Пьяный он налетел на сук, разбил в кровь голову и остался лежать дома. Бригадир тогда велел, пока Санька болен, пасти моему соседу, Митьке, так как трактор его был в ремонте. Митька пас один день, а на второй отказался и вместо этого, по указанию бригадира тракторной бригады, начал ремонтировать молотилку. Голодные нетеля, которым надоело стоять в загоне, стали пролезать сквозь металлические трубы, которыми были заложены ворота. На свою беду мимо проходил пастух дойного стада, уже известный Крицкий, тоже пьяный. Увидев, что одна нетель защемилась между труб, он все трубы вынул, коровы выбежали и разбрелись кто куда, в тот же день две из них по неизвестной причине сдохли. Как говорили, объелись на ржи, но вскрытия никто не делал. Правление колхоза само не смогло разобраться во всем этом и передало дело в суд, с тем чтобы

взыскать с виновных шестьсот с лишним рублей, в какую сумму были оценены павшие коровы. Вот прокурор, представляя интересы колхоза, и приехал в Гурьевку выяснять обстоятельства дела. Допросив Митьку, Саньку, Крицкого, бригадира, Стешку, зоотехника и бригадира тракторной бригады, он уехал. Теперь оставалось ждать суда. Меня удивило, как гурьевцы пытались очернить друг друга перед прокурором, даже если это и не помогало им выгородить себя. Особенно усердствовала Стешка Боровинская, всячески оговаривая Крицкого, хотя ей самой ничего не угрожало. Я же благодарил Бога, что меня в это время в Гурьевке не было.

Обычно наш день с Гюзель проходил так. Утром Гюзель топила печь и готовила завтрак — чаще всего жареную картошку. Я уходил на работу, Гюзель приносила воду и обычно садилась рисовать, потом опять топила печь и готовила обед. Я приходил часов в пять, мы обедали толченой картошкой и начинали пилить дрова. Перед ужином мы иногда занимались французским языком: сразу оговорюсь, что успехи наши были ничтожны. Несколько зимних вечеров я писал письмо начальнику Московского управления КГБ Светличному с просьбой не препятствовать моему освобождению, но посылать его раздумал, покаянного письма я не хотел, а в другом смысла не было. На ночь мы опять топили печь, ели картошку и ложились спать на шаткую деревянную кровать. Хотя я и пишу все время «топили печь», но ночью в доме было очень холодно, в углу и на двери был снег; потом я навешал на двери мешковину и набил соломы, а окна загородил вторыми стеклами, которые взял в коровнике.

По ночам раздавались громкий писк и шуршанье: по комнате бегали мыши, их было так много, казалось, они водят хороводы вокруг стола. Мыши нас раздражали, вдобавок они прогрызли мешок с мукой, который мы неосторожно оставили на полу. У Гюзель было с собой две пары чулок: светлые и черные, и мыши утащили и обгрызли по одному чулку от каждой пары, так что всю зиму Гюзель ходила в разноцветных чулках. Это истощило наше терпение, и мы решили завести кота.

Я взял у кладовщицы маленького черного котеночка, которого мы назвали Димой в честь Димы Плавинского. Котенок

был тощенький, дохленький, с больными глазами, он все время лежал сжавшись на кровати и не интересовался мышами. Вдобавок он гадил где придется. Я хотел приучить его ходить на улицу: ткнув его носом в сделанную им кучку, я выкинул его за дверь. Котенок стал проситься обратно, полез наверх, забрался на чердак и пищал там. Сколько я его ни звал, он боялся спуститься вниз и бегал по чердаку, жалко мяуча. Тогда я обошел дом с другой стороны, где было отверстие под крышей, и, цепляясь за обледенелые бревна, с трудом забрался на чердак. Но кот в это время вылез на крышу. Мне пришлось карабкаться по крыше; а так как спускаться с котом мне было бы очень неудобно, я бросил его вниз прямо в снег. Пока я спускался вниз, он лежал в снегу не шевелясь и громко кричал. Дома я положил его на печку, он насилу отогрелся — и продолжал гадить в комнате. Борьба между нами продолжалась, с жестокостью с моей стороны и с безнадежным отчаяньем со стороны кота, так что мне это стало напоминать борьбу власти с беглецами-ссыльными. Тогда я уступил и снял одну доску, закрывающую люк в подполье, чтоб кот мог ходить туда. Кот согласился на этот компромисс, но иногда продолжал безобразничать, тут же скрываясь в подполье, откуда кричал то угрожающим, то просительным и жалобным голосом. Постепенно он привык к порядку, однако беда была в том, что мы по неосторожности могли провалиться под пол, однажды Гюзель так и провалилась, больно ушибив ногу.

Котенок немного оживился, первый раз попробовав принесенного Левой сала. Постепенно он начал играть, потом поймал мышонка, который настолько обнаглел, что вылез даже днем, потом еще нескольких, и мыши из нашего дома исчезли. Вообще он стал котом очень отчаянным и самостоятельным, даже на собак бросался летом, не говоря уже о других кошках, но особенно не вырос, будучи гораздо меньше других деревенских котов. Хотя я и больно наказывал его, он почему-то привязался ко мне гораздо больше, чем к Гюзель, и особенно любил сидеть у меня на плече. Гюзель даже начала писать мой портрет с котенком на плече.

Гюзель стала работать примерно в середине ноября, когда нам удалось достать большую доску, на которую мы смогли укреплять бумагу. Гюзель писала сухой кистью на больших

листах шероховатой бумаги, потому что холста у нас не было. В солнечные дни в доме было довольно светло от снега, хотя одно окно было заделано фанерой, а два других покрыты толстым слоем инея. За все время Гюзель сделала только три законченных работы: мой портрет, автопортрет и двойной портрет, где она писала себя обнаженной, что было настоящим подвигом, потому что холод в доме стоял адский. Некоторые колхозники хотели сначала заказать ей свои портреты, но техника сухой кисти им мало нравилась, им хотелось, чтоб портреты были поярче и с блеском, вдобавок они хотели платить за портрет не больше пяти рублей, так что из этой затеи ничего не вышло.

Тогда деревенские бабы стали поговаривать, что вот-де она живет у них в деревне, а в колхозе не работает, да еще неизвестно, «законная» ли она мне жена. Чтобы зарегистрировать брак, нам нужно было ехать в Кривошеино, получить для этого мой паспорт, который хранился в милиции. Недели через две по приезде я пораньше кончил работу, запряг вместо Сокола рыженькую кобылу Кошку, и мы с Гюзель поехали в Кривошеино. Но дорога оказалась слишком долгой, комендант уже ушел домой, и мы ни с чем поехали назад сквозь черную сибирскую ночь. Неспешно бежала наша усталая Кошка, а мы поочередно бежали рядом с ней, чтобы немного согреться. Потом мы все откладывали и откладывали эту поездку, потому что времени не было, и жили «во грехе».

В начале декабря, когда я получил первый выходной и как раз Гюзель начала мой портрет с котом на плече, на пороге неожиданно появился Митька и с глупым лицом торжественно сказал: «Вас требует милиция». В избушке при коровнике сидел участковый уполномоченный и человек в штатском, о котором я подумал, что это районный уполномоченный КГБ. На лавках вдоль стен сидели любопытные бабы в ожидании суда над нами. Участковый попросил паспорт у Гюзель и сразу же передал его штатскому, который переписал все данные. Затем участковый сказал, что если она хочет здесь жить, нужно прописаться и работать в колхозе. Прописаться здесь значило бы выписаться из Москвы — и тем самым навсегда потерять и для Гюзель надежду вернуться в Москву. Поэтому я ответил, что Гюзель приехала сюда на короткий срок, только с тем, чтобы

мы зарегистрировали наш брак, и после этого она уедет. Участковый сказал, что в таком случае нам нужно ехать к коменданту за паспортом. Я ответил, что мы уже ездили и снова поедем в ближайшее время. Человек в штатском усомнился, зарегистрируют ли нас, если Гюзель здесь не прописана, но я ответил, что это было бы уж слишком, если власти разрешали бы только браки между жителями одного района. После этого нас отпустили, но было ясно, что медлить дальше нельзя.

Мы отправились в Кривошеино 16 декабря, едва я кончил работать. Зимой через Гурьевку раз в день после обеда ходил автобус, и мы хотели доехать на нем, чтобы переночевать в Кривошеине на автобусной станции и утром идти к коменданту. Автобуса почему-то в тот день не было, и мы добрались на попутной машине. Оказалось, что зал ожидания на автобусной станции уже в восемь часов закрывается. Мы поужинали в столовой и гуляли по улицам. Тем временем надвигалась ночь, становилось все холоднее. Мы пошли на почту и сидели на скамье в уголке, в надежде, что нам разрешат провести здесь ночь. Но нас прогнали. Идти проситься переночевать в милицию я не хотел, потому что Гюзель уже два месяца жила без прописки. Мы вновь дошли до автобусной станции и повернули назад. Мы хотели, было, гулять так всю ночь, но тут я вспомнил, что в селе есть гостиница. При свете фонаря мы подсчитали наши деньги — было около рубля. Гостиница была в большом деревянном доме в переулке недалеко от главной улицы. Дежурная встретила нас очень дружелюбно; оказалось, что постельное место стоит всего 78 копеек. Гюзель она отвела в номер, а мне, так как денег у нас хватило только на одно место, разрешила переночевать в прихожей на скамье и даже дала одеяло. Утром мы с Гюзель пошли в милицию.

Здесь ждала неприятность: оказалось, что комендант в командировке. Оставив Гюзель ждать в коридоре, я пошел к начальнику отдела. Подполковник Коротких, который помнил меня, принял меня очень любезно, расспросил, как я живу в колхозе, посочувствовал, что нечего есть, а насчет паспорта сказал, что все дела в сейфе у коменданта, а ключ он увез с собой. Однако наше положение, видимо, тронуло его, и он сказал: «Вот что. Вы поезжайте в ваш сельсовет и попросите секретаря,

чтобы мне позвонил, а я скажу, чтобы вас без паспорта зарегистрировали. А уж потом поставят штамп на паспорте».

К середине дня на попутной милицейской машине, с сержантом за рулем, который уже знал нас, мы с Гюзель добрались до Новокривошеинского сельсовета. Секретарь сельсовета, кстати жена нашего председателя колхоза, очень удивилась.

— Как же это я буду регистрировать без паспорта? — сказала она, но позвонила все же начальнику милиции. К счастью, тот был у себя.

— Регистрируйте без паспорта, — сказал начальник, — мы вам паспорт потом завезем.

— А если он уже женат? — возразила секретарь. — Мне нужно посмотреть, нет ли у него отметки в паспорте.

— Потом посмотрите, — сказал подполковник, — расписывайте их.

Секретарь начала выписывать брачное свидетельство, но тут выяснилось, что за регистрацию нужно платить полтора рубля, а у нас осталось всего несколько копеек. Я пошел в контору колхоза опять просить аванс.

— Большой ли у него долг? — спросил председатель бухгалтера, однако решил проявить широту натуры и сказал: — Ну, ради такого события можно дать аванс.

И мне торжественно вручили два рубля.

Теперь дело было за свидетелями. Как свидетельница жены расписалась случайно зашедшая в сельсовет местная учительница, а как мой свидетель — председатель сельсовета, разговорчивый старик лет шестидесяти. Вслед за тем он вышел в другую комнату, изменил выражение лица и вышел к нам уже как представитель власти. Высокопарно поздравив нас, он вручил мне свидетельство о браке. Это была последняя церемония, в которой он участвовал — через несколько дней его сняли за денежную растрату.

Вечером мы вернулись домой, приветствуемые криками нашего проголодавшегося кота. На оставшиеся от аванса пятьдесят копеек мы еще в Новокривошеине купили сахару, и впервые за много дней выпили сладкого чаю. Так мы справили нашу свадьбу.

Глава двадцать вторая
ПРИКОВАННЫЙ К ТАЧКЕ

Едва я наловчился чистить телятник, как бригадир снял меня с этой работы. Чистка телятника считалась в колхозе лакомым куском, и на мое место попросился один из подростков, который до этого работал конюхом вместо уехавшего Леньки. Теперь конюхом стал наш сосед Митька. Но если убрать меня из телятника было просто, то труднее было найти какую-нибудь работу. Послать меня в бригаду ездить за силосом бригадир не решался, хорошо понимая, что нельзя провести несколько часов на открытых санях на морозе без тулупа, без валенок и на скудной пище. Один день бригадир дал мне выходной, а с первого декабря поставил чистить коровник, который уже чистили Федя и Катя.

Всего на ферме зимой работало двадцать два человека: шесть доярок, три телятницы, три подвозчика кормов, четыре чистильщика, водовоз, отделенщица, которая сепарировала молоко, возчик сливок, который отвозил их на маслозавод, дояр-механик, сторож и заведующая фермой — она же вешала корма. А если учесть, что полеводческая бригада занималась только подвозкой корма с бурт, выходит, что зимой вся деревня работала на ферму.

Коровник был длиннее и шире телятника, всего там стояло 150 с лишним голов, сначала дойных коров и нетелей, потом нетеля телились. Тогда вместо четырех доярок стало шесть, у каждой примерно по 25 голов. Дойка была механическая, только додаивали вручную, но зимой трубы непрерывно замерзали, и несколько раз в неделю вручную приходилось доить всех коров, также и доильные аппараты часто ломались. Коровник был очень плохо утеплен, в сильные морозы — а морозы доходили в ту зиму до 50° С — телята замерзали прямо в чреве у коров, падеж молодняка был очень велик. Работа у доярок зимой просто каторжная — первая дойка в шесть часов утра, потом нужно подскребать за коровами и разносить сено, затем небольшой перерыв до дневной дойки, в час снова дойка, снова подскребать за коровами, потом ждать, когда привезут корма, разносить вручную силос, муку, поить вручную, а в семь часов снова дойка. Кроме того, несколько раз в месяц надо выгонять

коров гулять и снова потом привязывать их, да часто доить всех коров вручную. Те доярки, которые жили на другом конце деревни, зимой в шесть приходили на ферму и только поздно вечером уходили домой; те, что жили поближе, часа на два успевали сбегать домой между дойками. И так каждый день, потому что ни выходных, ни отпусков у доярок не было. Поэтому, хотя заработки доярок зимой раза в три выше, чем в бригаде, на ферму идти никто не хочет. Из-за такой изнурительной работы доярки все раздражительны, то и дело на ферме начинались скандалы, матерщина, друг друга обвиняли в краже сена, в том, что молоко водой разбавляют, а когда матерных слов уже не хватало, то задирали юбки и показывали друг другу голый зад. Я не думаю, чтоб действительно крали друг у друга сено, но вот вилы или лопату нельзя было оставить, тщательно не припрятав: они сразу же пропадали.

Такая же непрерывная грызня шла между доярками и заведующей фермой, Стешкой. Это была маленькая хитренькая женщина лет сорока, с голоском певучим и мелодичным. Из-за своей малограмотности она для такой работы никак не годилась: постоянно путалась с отчетами, неверно начисляла трудодни; на нее несколько раз писались жалобы, оставшиеся, впрочем, без последствий. Однако, если говорить честно, она все же была наиболее приемлемой заведующей: поставь какую-нибудь другую доярку на ее место — было бы еще хуже. Малограмотность в соединении с нежеланием учиться и мнением, что для колхозной работы от учения толку нет, что главное — практика, это, по-моему, большой бич для сельского хозяйства.

Моя новая работа была очень малоприятной. Через весь коровник, как и в телятнике, тянулся длинный проход с канавками по бокам, по обе стороны стояли на привязи коровы, с одной стороны сзади стоял еще ряд коров, оставляя узкий проход между стойлами и стеной коровника, тоже с канавкой. Так как в этот боковой проход заехать на коне было почти невозможно, здесь подвесили скользящую по рельсу тачку, на которую нужно было нагружать навоз. Вот меня к этой тачке и поставили: я должен был опускать тачку и, постепенно подталкивая вперед, нагружать навозом, который я выгребал из канавки. Когда тачка наполнялась, я катил ее по рельсу через весь коровник, скользя ногами по жидкому дерьму, заворачивал и у

ворот выкидывал навоз в сани Феде, который чистил главный проход. Федя вывозил навоз на поле рядом с коровником и выкидывал там. Вывернув тачку, я гнал ее назад нагружать снова. Канавки были очень узенькие, в мороз выковыривать замерзший навоз страшно трудно, а в более теплые дни нужно было бесконечно вычерпывать лопатой жидкий навоз пополам с мочей, да при этом смотреть, чтоб на меня в тесноте не нагадила какая-нибудь корова. Иногда в пути тачка опрокидывалась, и ее приходилось нагружать снова. Я часто вспоминал виденный в детстве рисунок из школьного учебника истории: прикованного к тачке римского раба.

Мне еще затрудняла работу Катя, которая приходила не во время, так что Федя один не успевал не только вывезти мой навоз, но даже убрать свой и Катин участок, а если приходила, то чаще всего пьяная и, размахивая лопатой, кричала: «Чего я это буду здесь возиться, пусть тунеядцы г.... убирают, а я колхозница, я лучше отдохну». Катя эта была женщина скорее неплохая, но страшная пьяница, потому она в колхозе почти не работала, летом за нее пас коров один Федя, а зимой она тоже хотела, чтобы Федя за нее чистил базу. Еще хуже было, когда Катя и Федя запили вдвоем и остался я один на базе. Тогда, чтобы с ними больше не связываться, я отобрал у Кати коня, несмотря на ее протесты и ругань, и стал сам вывозить навоз. Сначала я нагружал тачку, а мой конь Спиридон стоял в сеновале и ел коровье сено, потом я въезжал в коровник на коне, вываливал навоз в сани, сбрасывал на поле, ставил коня снова в сеновал и шел опять грузить тачку. В день я вывозил пять-шесть тачек, получая за это полтора трудодня. Одно время мне помогала Гюзель: я нагружал тачку, а Гюзель на коне вывозила навоз в поле.

Управляться с конем было очень трудно, в узком проходе разъехаться было невозможно, а в базу по нескольку раз должны были заезжать трое подвозчиков кормов, водовоз и я с Федей. Конечно, мы очень мешали и очень задерживали друг друга: то подвозчикам приходилось ждать, пока мы подгребем навоз, то нам, пока доярки напоят коров и водовоз с бочкой уедет. Еще хуже было, когда двое заезжали из разных ворот и кони сталкивались морда к морде. Хорошо, если удавалось свернуть в ворота посредине коровника, а то иной раз прихо-

дилось ехать прямо на коров; беда, если полозья саней проваливались в канавки. Все видели, что коровник совершенно не пригоден для эксплуатации, тем на менее из года в года с ним ничего не делали; в эту зиму, там прогнулось несколько балок и вообще грозили обвалом. В Новокривошеине начали строительство нового коровника, с разной механизацией, даже навоз собирались убирать транспортером. Все это хорошо, но можно ведь было и коровник в Гурьевке хоть немного реконструировать: сдвинуть стойла, чтобы расширить проход, где могли бы разъехаться лошади, расширить канавки и сделать их менее глубокими, чтобы можно было быстро убирать навоз совковой лопатой, а для мочи прорезать узкие стоки. Даже не механизируя уборку коровника, этими ничтожными мерами можно было бы облегчить ее раза в полтора и сберечь много времени. Но никто этого не делает, люди настолько не хотят и не умеют облегчить свой труд, что тем более они не сумеют эксплуатировать механизированный коровник — для этого нужно не только умение скрести лопатой, но более серьезные знания и навыки.

Никто не только не поднимал вопрос о реконструкции коровника, но даже выломанную в полу доску не хотел прибить, хотя здесь у всех кони проваливались: зачем ее забивать, коровник не мой, а денег мне за это заплатят пять копеек, стоит ли стараться. Теперь меня спросят, почему же я сам ее не забил, если так охотно даю советы, что надо сделать то да это. Если бы ко мне, когда я чистил г.... и с матерной руганью понукал своего коня, который скользил копытами по наросшему в тамбуре льду и не мог вытянуть сани с навозом, подошел бы какой-нибудь советчик и стал говорить: ты-де смени гнилую доску или обруби лед, я бы ему ответил примерно так: «Иди ты к е.... матери! Пусть здесь вообще весь коровник сгниет и все кони и коровы передохнут! Я человек подневольный, мне все равно!» Так, примерно, и колхозники рассуждали. «Труд раба нерадив» — учил я в свое время в университете стишок Овидия.

Вообще в колхозе работают не так уж много, а кажется, что много, потому что работают с надрывом, в таких тяжелых условиях, что простое дело превращается в непосильную работу, при этом колхозники непрерывно хвастают: вот какие мы замечательные работники, горожане потрудились бы в таких ус-

ловиях, как мы! Я им на это всегда отвечал: наоборот, вы очень плохие работники, раз не хотите хоть немного облегчить и упростить свой труд.

Взяв на себя дополнительную обузу — не только нагружать тачку, но и вывозить навоз на поля, я поступил не зря. Дело в том, что нам с Гюзель был нужен конь, чтобы ездить за дровами. С дровами у нас стало совсем плохо. Пока еще не было снега, мы, как я говорил, пилили сваленные для промкомбината деревья, да я еще подвозил большие чурки, валявшиеся около яслей, но потом под глубоким снегом ничего невозможно стало найти, а заготовленные нами чурки быстро кончались, а часть из них и возле дома так глубоко засыпал снег, что я их обнаружил только весной. Я привез воз гнилых досок, валявшихся возле телятника с тех пор, как там перестилали полы, но их хватило не надолго, вдобавок они очень плохо разгорались и давали мало тепла. Хорошо хоть, что они были очень тонкие и мы могли пилить их нашей пилой. Мы стали топить всего два раза в день, и в доме стоял страшный холод. Еще летом через продавщицу я дал пять рублей одному шоферу за три кубометра березовых дров: они были сложены в поленицу в тайге километрах в трех от деревни и в полукилометре от проезжей дороги. С трудом добрался я туда на Спиридоне и за несколько ездок вывез их. Оставалось только распилить большие поленья надвое, но с нашей тупой пилой было даже страшно взяться за это. Мы попросили пилу на день у нашего соседа, дяди Гриши, и были поражены — как, оказывается, легко пилить хорошей пилой. После этого я выпросил на более долгий срок хорошую пилу у жены бригадира, и мы решили запастись дровами на всю зиму, трех кубометров при сибирских морозах нам хватило бы не надолго.

Сначала мы решили запасти вдоволь осиновых дров, потому что они были у нас под боком. Мы с Гюзель пораньше вычистили коровник, захватили пилу и начали пилить прямо под снегом длинные осиновые бревна, которые валялись вокруг новых яслей, нащупывая их под снегом палкой. Отпиливая двух-с-половиной-метровые бревна мы тут же ставили их на-попа или валили друг на друга, так чтобы их не замело снегом. Всего мы напилили их около тридцати и еще несколько коротких чурок нашли под снегом. На следующий день я все их подвез к дому

на Спиридоне, сделав шесть, кажется, ездок. Но осиновые дрова горят плохо и дают мало жару; ими хорошо топить только вместе с березовыми.

Еще летом на расстоянии нескольких километров от деревни я видел поразившую меня картину: большими группами стояли среди болота стволы берез без листьев и почти без сучьев, одиноко возносящие к небу свои голые вершины. В этих высохших, но устремленных ввысь огромных деревьях было что-то поэтичное и жуткое. Теперь же я решил подойти к ним с практической точки зрения: валить сушняк на дрова. Березы стояли метрах в трехстах от проезжей дороги, которую ежедневно расчищал бульдозер, надо было проложить путь по снежной целине. Я притоптал ногами нанесенный бульдозером бугор у края дороги, и Спиридон, проваливаясь по брюхо в снег, двинулся вперед. В дальнейшем мы довольно хорошо укатали эту дорожку, но ездили уже не на Спиридоне, а на рыженькой Кошке, или, как ее еще звали, Сикушке, на которой я с конца декабря чистил коровник. Это была кобыла выносливая, но довольно упрямая, в снег идти она никак не хотела и просто приседала в оглоблях.

Стоя почти по бедра в снегу, мы с Гюзель пилили березу, пока она не начинала крениться — мы отскакивали, и с громким уханьем береза падала в снег, совершенно в нем пропадая и оставляя на поверхности только рыхлый след. Тогда, барахтаясь в снегу, как пловцы в воде, мы шли вдоль упавшего ствола и пилили его под снегом на двух-трехметровые бревна; всего их получалось из каждого ствола пять-семь. Валили мы и березки поменьше, которые резали на две-три части. Сикушка тем временем покорно стояла на нашей самодельной дороге и жевала сено, которое я каждый раз брал из сеновала при коровнике. Потом я подкантовывал бревна к саням, штук шесть накладывал на сани, а остальные складывал в одном месте друг на друга, и мы трогались в обратный путь. Березы мы валили три дня, а потом еще раз пять я ездил один подвозить уже напиленные бревна. Мы выбирали дни потеплее, но в Сибири погода меняется быстро, и нам случалось возвращаться при сильном морозе. Помню, что у меня однажды так замерзли руки, что я не мог взять вожжи: едва я до них дотрагивался, меня точно током ударяло. Рукавицы и штаны намокали в снегу

и на морозе покрывались ледяной коркой; когда я шел, было такое ощущение, что кто-то все время бьет меня по заду. Особенно же плохо пришлось Гюзель.

Вообще эта зима выдалась особенно лютая, говорили, что давно такой не было. Температура обычно стояла около 20-30° С, а несколько раз опускалась ниже 50° С. Кто сам таких морозов не знал, тому их и не опишешь. Как я запрягу коня на морозе, а запрягать приходилось голыми руками, потому что в своих ледяных рукавицах я и супони не смог бы затянуть, заведу коня в коровник, чтоб конь не мерз, а сам полчаса по крайней мере отогреваю ноги и руки возле печки, прежде чем могу взять лопату в руки. Меня поражало, как стоят кони в совершенно открытой всем морозам и ветрам развалившейся конюшне. Я прихожу утром запрягать — они стоят все белые от инея, тесно прижавшись друг к другу. Бывали, конечно, дни, когда температура поднималась и до —10° С. Вообще в Сибири климат суше, чем в России, и потому морозы переносятся легче, кроме того, они по большей части без ветра. Если же дует ветер, тогда совсем невыносимо. Настоящие бураны начинаются в конце февраля — в марте, когда уже морозы не такие сильные.

Возле дома мы воткнули в снег скрещенные колья, залили их водой, и таким образом получились козлы, на которых мы распилили все наши дрова, и теперь в нашей избе было хоть и голодно, зато не холодно. Колоть дрова я тоже постепенно научился, хотя и сломал несколько топорищ. Я со смехом теперь вспоминал, как пытался колоть дрова летом у Веры, так что топор только застревал в чурбане. Постепенно у нас во дворе выросла целая стена из сложенных друг на друга чурок.

К концу декабря жизнь стала не только теплее, но и сытнее, и вот почему. Числа двадцать пятого Гюзель неожиданно получила почтовый перевод на сорок рублей и письмо из дома, что ее мать тяжело больна, лежит в больнице и чтобы она скорее возвращалась в Москву. Гюзель было уже собралась ехать, но заподозрила, что это обман, что мать здорова и просто ее родители хотят, чтобы она от меня уехала. Гюзель осталась, и мы стали жить на присланные ей на дорогу деньги. Как потом оказалось, она была права.

Благодаря этим деньгам мы смогли купить по дешевой цене несколько килограммов сала. Лева поругался со своей Полей, разодрал ей зубами платье, пригрозил, что сожжет дом и убежал, тайком захватив несколько кусков сала. Сало это он нам тут же за полцены продал, чтоб достать деньги на водку. Уже весной мне так же продал десять килограммов сала другой ссыльный, Валентин, пока его местная сожительница на несколько дней уезжала из деревни. Кроме того, я вскоре привез домой коровью голову, ножки и внутренности: зарезали заболевшую корову, и я купил сбой у колхоза, тушу же отправили в Кривошеино в столовую. Мы счистили и натопили коровьего сала, а кишки выбросили. Немного позднее, уже в феврале, на ферме зарезали маленького хромого теленка и тушу отправили в Кривошеино на птицеферму, кормить мясом кур. Поскольку мясо шло не на продажу, его никто не взвешивал, и бригадир приказал отрубить для меня телячью ногу; почти месяц мы с Гюзель ели телятину.

Первый раз при мне резали корову, когда я еще чистил телятник на Соколе. Ей прикрутили веревкой шею к столбу и так сильно стянули, что она упала на передние ноги, тут Митька неожиданно быстро перерезал ей ножом горло, корова захрипела, полилась густая кровь. Сокол испуганно заржал и отпрянул назад. Я коров сам никогда не резал, зато помогал им телиться, обвязывал веревкой едва показавшиеся передние ножки теленочка и тянул со всей силы, обмотав веревку вокруг пояса. Некоторые коровы телятся с большим трудом, и без посторонней помощи им пришлось бы туго. Коровы, особенно первотелки, часто относятся к своим новорожденным телятам очень равнодушно, иной раз даже не облизывают их, а отворачиваются. Телят у них тотчас же отбирают, впрочем, и держат отдельно, молоком их поят доярки в течение, по-моему, двух недель, после чего отдают телятницам. Специального помещения для новорожденных телят нет, их держат в избушке при коровнике, где отдыхают доярки и возчики.

За зиму с нами познакомилось несколько окрестных «тунеядцев», которые, бывая в Гурьевке, к нам потом всегда заходили. В начале декабря, кажется, к нам зашли двое ссыльных из Ивановки, один из которых раньше жил в нашем доме и очень удивился, что дом не пустует. Это был высокий крепкий

мужчина лет сорока с лишним; рабочий-металлист из Краснодара, он был сослан около пяти лет назад, работал в колхозе при старом еще председателе Игловском, потом в Кривошеине в райпотребсоюзе возчиком, потом опять в колхозе пас скот, потом опять перешел в торговую сеть. Фамилия его была Шапошников. В Ивановке он «подженился» на одной местной латышке, которую иначе как сука не называл, от нее у него была маленькая дочь. Пил он очень много, и впоследствии чуть не замерз у нас в Гурьевке, свалившись пьяный с саней. Он был, можно сказать, старожил среди ссыльных, много рассказывал нам о первых годах ссылки и о прежнем председателе, у которого теперешний был парторгом. Тот «тунеядцев» крайне не любил и повторял все время: «Бейте их, мужики сибирские!» Сам он имел привычку бить и ссыльных, и местных. На него из страха никто не жаловался. Однажды он до полусмерти избил шестнадцатилетнего парнишку прямо в колхозной конторе, в это дело вмешались студенты, которые в то время работали в колхозе, Игловский был отдан под суд и исключен из партии. Суд приговорил его к году принудительных работ, т. е. к году работы на свободе, только с вычетом 20% зарплаты, и он был назначен директором маслозавода в Шегарке, большом селе на Оби. Там он года через три проворовался, вновь был судим и на этот раз попал в тюрьму. Это было уже при мне, об Игловском я слышал не от одного только Шапошникова. Еще он крайне не любил латышей, которых в Гурьевке до 1957 года жило около двадцати семей в ссылке, нескольких из них он посадил в тюрьму за «вредительство». Гурьевцы же о латышах очень хорошо отзываются, как о людях очень трудолюбивых и умелых, но сами за десять лет от них ничему не научились, даже коптить или хотя бы как следует солить сало. После Игловского председателем стал бывший парторг Герасимов, который был председателем и при мне. «Скажи, почему ты всегда пьяный?» — обратился он как-то к Шапошникову. «А почему ты всегда горбатый?» — спросил в свою очередь тот. Обиженный председатель пожаловался в милицию, и Шапошникову дали пятнадцать суток за «мелкое хулиганство», после чего с согласия милиции он перешел работать в райпотребсоюз. Милиция вообще ревниво следила за авторитетом председателей колхозов и других начальников в районе: оскорбивший началь-

ника должен был отсидеть по крайней мере две недели, тогда как сами они материли колхозников почем зря. Вскоре после нашего знакомства Шапошников из колхоза опять перешел в райпотребсоюз работать возчиком, я как-то встретил его на лошади, настолько изнуренной, что он уже не стегал ее, а бросал в нее здоровым поленом, чтоб она немножко бежала.

С Шапошниковым вместе к нам зашел человек поменьше ростом, молчаливый, с лицом глуповатым и круглым, но хитрыми глазками. Звали его Коля, он тоже с Кубани, по образованию инженер и выслан на пять лет как «тунеядец». Обстоятельств его высылки я не знаю, но видно было, что он сослан не из-за пьянки, да и Шапошников на него жаловался, что он человек непьющий и с колхозным начальством портить отношения не хочет. Впоследствии ему дали месячный отпуск, он съездил домой и там добился пересмотра дела, городской суд снизил ему срок до двух лет. В колхозе его милостиво решили отпустить «по половинке», но держали до конца посевной и отпустили в самом конце мая, когда у него через месяц и без того кончался срок.

Как-то зимним вечером у нас появился человек небольшого роста, очень черный, с громадным загнутым носом и страшными ушами. Оказалось, что это Вартан, тот самый армянин, который когда-то зарезал здесь Толю Резаного. Он отсидел уже свои два года в лагере под Томском и вернулся в Кривошеинский район отбывать остающийся срок ссылки; теперь он работал в промкомбинате на заготовке дров. Он очень удивился, что я зимой хожу в сапогах, и подарил мне свои валенки, правда дырявые, в которых я потом ездил за дровами. Он мне очень советовал проситься у коменданта из колхоза в Кривошеино, но я решил этого не делать, надеясь на «половинку». Впоследствии он заезжал к нам еще несколько раз, как я думаю потому, что ему нравилась Гюзель. Он рассказывал, что по тюрьмам сидел с шестнадцати лет, с обычным блатным пафосом рассказывал, что он «пережил». Он был артистическим шулером, мы с ним играли в двадцать одно, и он на много ходов вперед предсказывал мне результат игры, причем, как я ни следил, не мог уличить его в передергиваньи; также и фокусы он показывал замечательные. Был он наркоман и чифирист, а водку совсем не мог пить. Как-то он выпил немного вод-

ки и впал в агрессивное состояние, начал угрожать мне и полез в драку. Тут я пожалел, что не умею драться; правда, мне удалось зажать его голову, но он был сильнее меня раза в два, и мне пришлось бы плохо, если бы он вдруг как-то разом совершенно не обмяк. Я отпустил его голову, он повалился и сразу же заснул, а когда проснулся, то сказал, что ничего не помнит.

Несколько раз бывал у нас Санька Глазов, новокривошеинский пастух, о котором я уже писал. Более кроткого и беззлобного человека я не видел; он из Липецка, сослан был на пять лет и уже получил здесь два года принудительных работ за прогул. Мы несколько раз выпивали у нас дома, с ним и с гурьевским Санькой, и тогда он очень любил петь песни, голосом хриплым, но не лишенным приятности. Особенным успехом пользовалась песня собственного его сочинения, на мотив старой воровской песни, как «жулик молодой начальника молит». А у Саньки было так:

Бежит речка по камушкам
и песочек моет,
тунеядец молодой
горбатого молит:

Ты горбатенький, ты убогенький,
отпусти до дому,

потому что дома плачет и тужит молодая жена. Но неумолимый председатель отвечает:

А пускай себе плачет,
а пускай тужит,
тунеядец молодой
пять годков послужит.

О своей же собственной жене Санька сказал, что она «скурвилась», но сам он жил один в «цыганской избушке» и ни с кем из новокривошеинских женщин не сходился. Сильно пьяный, он несколько раз как-то загадочно говорил мне, что он «обиженный судьбой», а потом рассказал, что в двадцать с чем-то лет попал в автомобильную катастрофу, и после операции бедра остался импотентом; с тех пор он начал сильно пить и был сослан в Сибирь. Здесь он пьет еще больше, и видно, что

отсюда ему не выбраться, разве только в тюрьму. В марте он опять прогулял и обругал председателя по-матерному, его снова судили и дали еще полтора года принудработ. Он ночевал у меня перед судом, за день до этого он получил расчет в колхозе и сразу же все деньги пропил. Грозился, что больше в колхозе работать не будет, но после суда опять пришлось вернуться в Новокривошеино и работать на ферме.

Поскольку все эти гости часто у нас бывали, про меня даже написали в «боевом листке», что я пьяница и плохо влияю на колхозников, но никаких последствий это не имело. Позднее, в апреле, про меня, наоборот, написали, что я хороший работник и могу служить примером для колхозников.

Накануне Нового Года ходили слухи, что якобы предстоит общая амнистия, но они не подтвердились. Как будто более верным оказался другой слух, что решено более никого не высылать за «тунеядство» из провинции, а принудительно трудоустраивать тут же на месте, сохраняя те же меры наказания за прогул, что и в ссылке. Высылка сохранялась только для Москвы и Ленинграда. Этот слух мне подтвердили и в милиции. В конце января кончалась половина срока у Феди, и он подал в контору просьбу о досрочном освобождении. Мне было интересно, коснулись ли нашего колхоза новые веяния, отпустят Федю «по половинке» или нет. Однако проходила неделя за неделей, а Феде никто даже ничего не отвечал, сам же у председателя он спросить боялся, а в конце концов кончил тем, что с горя запил и три дня прогулял. Правда, заведующая фермой пожалела его и не стала писать докладную. Никаких нарушений дисциплины ранее у него не было, но в сентябре произошло столкновение с председателем. По пьянке Федя упустил свое стадо на рожь, а тот как раз проезжал мимо. Председатель рассвирепел, набил Феде морду и еще пригрозил судом. Федя его потом просил в суд не подавать: я-де не жалуюсь ведь, что вы мне по морде дали.

Судили при мне не одних «тунеядцев», но и колхозников. В феврале под суд попал наш сосед Митька, который в то время работал конюхом. Бригадир и учитель пришли к нему в конюховку за конем: ехать учителю на школьный съезд в Кривошеино. А пьяный Митька схватил оглоблю и с криком: «Вот теперь я с тобой посчитаюсь! Помнишь, как ты меня на коне

топтал!» — бросился на бригадира. Тот вместе с учителем еле ноги унесли. Когда Митьке было пятнадцать лет, значит лет пятнадцать назад, Шаповалов, тогда еще председатель, гнал его на работу, а он не хотел идти. Шаповалов с руганью стал наезжать на него конем, так что Митьке пришлось удирать на карачках, мимо ехали малиновские мужики, насилу его отбили у Шаповалова. Вот за это он и решил «отомстить» теперь. Бригадир подал жалобу в милицию, и Митьке дали пятнадцать суток за мелкое хулиганство, вернулся он присмиренный. Вообще колхозники суда очень боятся, хотя сами судом друг другу все время грозят и суд им все время мерещится: за хулиганство, за самогон, за потраву, за прогулы. Людей более забитых я не видел, и действительно, за год в маленькой деревне было пять судебных дел: два о мелком хулиганстве, два о самогоноварении и одно о падеже скота. Я буду далее писать об этом.

Между тем морозы сменялись вьюгами, снегом занесло наш маленький дом почти до крыши, и в жаркой печке, где на приступке лежал черный котик, горели березовые дрова. Наступил 1966 год. В конце января в колхозе были подведены итоги прошлого года, и предстояла окончательная расплата. В этом году на трудодень полностью выходили запланированные 60 копеек и килограмм зерна, так что колхозникам предстояло получить остающиеся 30 копеек, зерно же, за редким исключением, они могли получить только осенью из нового урожая.

За полгода я заработал 278 трудодней, иными словами 166 рублей 80 копеек, из них мне, следовательно, еще причиталось 83 р. 40 к., и я надеялся, что этих денег хватит на покрытие долга колхозу, а может быть, что-нибудь даже останется мне. Но когда учетчик привез расчетный лист, там против моей фамилии стояла только черточка. Я попросил бригадира выяснить, в чем дело. Оказалось, что 30 рублей я брал на дорогу в Москву, 2 рубля на свадьбу, 6 рублей штраф за потраву сена, 16 рублей за картошку, 5 рублей за коровью голову, 6 рублей каждый месяц за молоко, да еще за разные продукты в кладовой, так что я оставался должен колхозу еще 26 рублей. Правда, мне полагалось еще почти три центнера зерна по государственной цене 12 рублей за центнер. Вычитая центнер, который я взял мукой, мне все же выходило зерна почти на 24 рубля,

то-есть с колхозом я все-таки рассчитался. Теперь я решил в колхозной кладовой больше ничего не брать.

Колхозники же получили сразу по сто пятьдесят, а кто и по двести рублей, хотя и с них много удержал колхоз за трактора, которыми вспахивали приусадебные участки под картошку и зимой подтягивали стога к дому. Для людей, привыкших получать в месяц рублей пятнадцать-двадцать, это были колоссальные деньги, сразу же началась пьянка. Три дня магазин не закрывался с раннего утра до позднего вечера, продавщица совершенно сбилась с ног, но перевыполнила январский план раза в четыре. Покупали не только водку, брали отрезы на платья, тюль, выходные брюки, банки консервированного компота, по несколько килограммов пряников и вообще все, что год лежало в магазине и никому до этого не было нужно. Не обошлось и без несчастных случаев: пьяный Крицкий пошел к нам в гости, по дороге свалился в снег и заснул, отморозив обе руки. Более месяца лежал он потом в больнице, на одной руке ему отняли два пальца, а на другой три. Со всех концов деревни доносились пьяные крики и женский визг.

В начале февраля ожидалось отчетное собрание, поговаривали, что собрание будет отчетно-выборным, райком будет снимать председателя, потому что план опять не выполнен. Колхозники с некоторым злорадством этого ожидали, председателя никто не любил. Однако председателя никто снимать не собирался, и собрание свелось к обычной колхозной говорильне. План в этом году действительно опять не был выполнен, хотя колхозники и получили запланированную зарплату. Денежный доход колхоз получил, главным образом, благодаря льну, молочно-товарные фермы дали очень небольшую прибыль, а зерновые, как кажется, одни убытки: центнер пшеницы, которую государство принимало по двенадцать рублей, самому колхозу обошелся в пятнадцать.

Колхозники пропивали последние для Гурьевки трудодни. Еще в декабре ходили слухи, что с Нового года в колхозе перейдут на денежную оплату и будут ежемесячно платить всю зарплату сразу, как в совхозах. Колхозники очень боялись этих нововведений, думая, что будут получать только деньги, а зерно получать не будут и кормить скот будет нечем. Все ругались и печалились, говоря: «Как же дальше быть?! Это

все специально для нашего обмана делается, ведь без скота мы помрем». Тем не менее все терпеливо ждали своей участи.

Опасения эти оказались напрасными. С января колхоз, действительно, перешел на деньги, но сделано это было, в соответствии с новыми экономическими веяниями, как раз в интересах колхозников, с тем чтобы несколько больше заинтересовать их в работе. По новым нормам та работа, которая раньше оценивалась в трудодень, т. е. в 72 копейки (60+12 за кг зерна), теперь оценивалась примерно копеек в восемьдесят, а то и в рубль, причем четвертая часть заработка выдавалась не деньгами, а зерном в конце года, так что колхозники могли теперь получить даже больше зерна. Постепенно к новой системе привыкли, и почти все были ею довольны.

Это не значит, конечно, что заработок колхозников на много повысился. Доярка зимой получала теперь в среднем рублей 80 (2,2 руб. за центнер надоенного молока и 5 руб. за новорожденного теленка), летом меньше, потому что снижали расценки; примерно столько же получала телятница; в бригаде на вывозке силоса с полей выходило каждому рублей 20-25, летом на заготовке кормов немногим больше; тракторист за рейс зимой получал меньше рубля, так что в месяц не выходило и 30 рублей, если только не было далеких рейсов; еще меньше получал дояр-механик, который при введении новой системы даже забастовал на три дня. Деньги за январь заплатили в самом конце февраля, а затем стали платить в середине каждого месяца за предыдущий.

Ввести такую систему оплаты колхоз смог благодаря новому, более широкому и гибкому методу государственных кредитований, и под прямым государственным нажимом, а не потому, что колхозное начальство хотело этого. Вообще, как я слышал, намечены крупные государственные капиталовложения в сельское хозяйство, чтобы сделать его более эффективным и хоть как-то сократить его катастрофическое отставание от других отраслей народного хозяйства.

Как мне кажется, поспешная коллективизация и форсированное развитие промышленности за счет разорения сельского хозяйства были большой ошибкой, которая дорого обошлась стране как в политическом, так и в хозяйственном аспектах. Конечно, отсюда единственно правильным выглядит вывод — де-

лать обратные крупные денежные вливания в сельское хозяйство. Однако очень важный вопрос, как они будут использованы.

Я не специалист по сельскому хозяйству, никакой почти экономической литературы не читал, но за время работы в колхозе накопил кое-какие наблюдения, которые хотел бы здесь обобщить. Первой необходимой мерой для разумного использования капиталовложений и вообще для рационального ведения сельского хозяйства мне кажется предоставление широкой самостоятельности колхозам. Необходимо отказаться не только от мелочной опеки колхозов, но и вообще от планирования сверху. Пусть каждый колхоз сам составляет свой план и представляет его государству не для утверждения, а только для информации, чтобы государственные органы могли составить общую картину; нужно поднимать сельское хозяйство не для «отчета», а для дела. Регулировать же производство государство может за счет пересмотра тех или иных оптовых цен. Кстати, установление разумных оптовых цен — тоже большая задача. Жесткие требования, как мне кажется, государство должно применять, устанавливая не количество, а качество принимаемой продукции. Самостоятельность колхозов, я думаю, должна быть тесно связана с самостоятельностью колхозников. Если председатель колхоза должен быть независим от районного начальства, от которого он целиком зависит сейчас, то, наоборот, он должен действительно выбираться колхозниками и действительно отчитываться перед ними. Нужно не «далее развивать колхозную демократию», которая пока что существует только на страницах газет, а действительно создавать чуть ли не на пустом месте демократичные отношения в колхозах. Без этого невозможно будет создать из колхозника человека, который сознает, что развитие сельского хозяйства зависит прежде всего от его труда. Только тогда люди что-то сделают, когда у них появится чувство собственного достоинства и ответственности за свой труд. С этим, как мне кажется, связана и проблема образования. Капиталовложения в народное образование окупаются, может быть, наиболее медленно, но зато и наиболее верно. Необходимо поднять уровень преподавания в сельских школах, а также ввести связанные с сельским хозяйством специальные предметы. Кроме того, необхо-

димо ввести курсы и для взрослых колхозников, прежде всего для тех, кто занимает какие-то командные посты: бригадиров, заведующих фермами, звеньевых и так далее. Доярки должны быть хоть элементарно знакомы с ветеринарией, трактористы — с агротехникой, и все пройти хотя бы простейшие курсы экономического расчета. Вот тут можно использовать и студентов. Нужно также гарантировать минимальный уровень оплаты в колхозах и повысить ставки пенсий хотя бы до самого низкого городского уровня, что создаст бо́льшую уверенность у колхозников в завтрашнем дне. Наиболее льготные кредиты, как мне кажется, колхозам нужно предоставлять для капитального строительства и оснащения сельского хозяйства малой механизацией, нужно также создавать передвижные строительные специализированные бригады, которые переезжали бы из колхоза в колхоз и по договорам строили там. Нужно постепенно ликвидировать маленькие деревни и строить большие поселки с домами, снабженными бытовыми удобствами, магазином, хорошим клубом и т. д. С этим же связана и ликвидация личных хозяйств, которые отнимают у колхозников много времени и сил и являются крайним анахронизмом, потому что ведение своего крошечного хозяйства с экономической точки зрения крайне нерационально. Однако ни в коем случае не нужно добиваться их ликвидации какими-то административными мерами, что опять свелось бы к голоданию колхозников и упадку хозяйства; нужно отпускать колхозникам продукцию колхозов по себестоимости, чтобы им дешевле было покупать у колхозов молоко и свинину, чем держать дома корову или выращивать поросенка. Если колхозники увидят выгоду этой меры, они добровольно откажутся от обременительных для них личных хозяйств. А кто хочет держать личное хозяйство, особенно пенсионеры, так пусть и держат. Далее, не следует административными мерами удерживать людей в колхозах и не пускать в города. Постоянный отлив из деревни в город — естественный процесс, он происходит во всех странах, а у нас совершенно необходим, поскольку у нас соотношение сельского и городского населения все еще не отвечает уровню экономически развитой страны. Если так можно выразиться, сельское хозяйство нужно поднимать «не числом, а уменьем», и тем более не принудительным трудом «антиобщественных

элементов». Еще во времена Петра I не оправдала себя мера ловить на дорогах бродяг, пьяниц и других опустившихся людей и заставлять их работать на мануфактурах. И еще одно: сельское хозяйство прежде всего нужно развивать вглубь, а не вширь, как это делается сейчас. Для увеличения молочной и мясной продукции нужно не столько увеличивать поголовье, сколько повышать его продуктивность, для увеличения продукции зерна — не столько расширять посевы, сколько повышать урожайность с каждого гектара.

Главное же, как я уже несколько раз писал здесь, это создание в деревне как можно более демократичных форм хозяйственного управления и появление у колхозников уверенности в том, что они настоящие хозяева колхоза. Может быть, здесь создается своего рода порочный круг: экономическая демократизация невозможна без политической, а политической мешают бедность и невежество.

Глава двадцать третья
ОТЪЕЗД ЖЕНЫ

Заготовив на зиму дрова, я решил под каким-нибудь предлогом отказаться от чистки коровника. Во-первых, мне была уже невыносима сама эта работа; во-вторых, надоело пререкаться с Федей и Катей. В феврале я стал проситься у Шаповалова в бригаду, говоря, что стало теплей, но он был против: это-де посылать меня на верную смерть, я на открытых санях в легком ватнике быстро обморожусь. Вскоре на ферме освободилось место водовоза: прежний водовоз отказался, потому что работа отнимала весь день; поставили было возить воду женщину, но та запросилась обратно в бригаду и, узнав, что бригадир ищет мне работу, охотно уступила свое место. С 17 февраля я начал возить воду.

Вообще все радовались случаю уйти с фермы, и трудно было заставить кого-нибудь идти туда работать, хотя заработки там, как я говорил, были раза в четыре выше, чем в бригаде. Помимо водовоза, на ферму была нужна телятница, зимой много коров

телилось, и дояркам некому было сдавать подросших телят. Кроме того, нужна была еще сменная доярка, чтобы доярки могли отдыхать по очереди раз в неделю, но всерьез на такую роскошь никто не надеялся. Сначала на место телятницы хотели поставить женщину с двумя маленькими детьми, у которой прошлым летом утонул муж. Она категорически отказалась, несмотря на все уговоры и угрозы, сказав, что на ферме нужно работать с утра до вечера, а ей не на кого бросить детей. «И так колхоз мне после смерти мужа обещал помочь, а ничего не сделал, — сказала она, — вон мой дом весь развалился, при первой возможности уеду отсюда». «Скатертью дорожка, — закричал председатель, — что ж ты думала, мы молиться на тебя будем, что у тебя муж умер!» Потом хотели поставить телятницей жену учетчика. Та тоже отказалась, сославшись на двух маленьких детей; ей на счет отнесли двух подохших телят, но все равно она не пошла. Не удалось заставить пойти на ферму и жену бригадира трактористов, у которой тоже был маленький ребенок. Те, кто уже работал на ферме телятницами и доярками, всячески поносили и укоряли тех, кто от этого уклонялся: «Суки вы такие, вот мы и с детьми работаем, у нас детей побольше вашего!» На что те им отвечали: «Не надо было мужику п... подставлять, так было бы поменьше!» Председатель с бригадиром только глазами хлопали на эту перебранку.

В деревне бабы еще раньше ворчали, что вот моя жена сколько месяцев живет уже без прописки и в колхозе работать не хочет. Наиболее же вредные, вроде возненавидевшей нас Соньки, грозили позвонить в милицию и донести. Теперь же все в один голос стали требовать, чтобы Гюзель или уезжала или шла работать на ферму. Действительно, создавалось парадоксальное положение: жена человека, сосланного за то, что он не работал, сама жила с ним четыре месяца без официальной работы и без прописки. В начале января приезжал в Гурьевку участковый уполномоченный и спрашивал, работает ли Гюзель в колхозе. Я сказал, что она чистит со мной вместе коровник и на-днях уезжает; с тех пор прошло более месяца, и он мог приехать снова в любой момент. Поскольку я ничем не испортил отношений с бригадиром, с председателем и с милицией, Гюзель пока не трогали, но в любой момент ей могли

дать предупреждение о выезде в двадцать четыре часа. После двух таких предупреждений, как я хорошо знал, могло уже быть возбуждено уголовное дело по 198 статье УК, по обвинению в нарушении паспортного режима.

Конечно, если бы Гюзель пошла работать телятницей или дояркой, на какой-то срок ее бы оставили в покое, потому что в малонаселенной Сибири паспортный режим не так строг, как в больших городах. Но я был категорически против этого, я говорил, что я работаю здесь подневольно, а жена моя свободная и в колхозе задаром работать не будет. Был еще другой вариант. В декабре Гюзель предлагали стать заведующей Новокривошеинского клуба и жить со мной до окончания срока ссылки, но для этого опять же нужно было здесь приписаться, а значит выписаться из Москвы и тем самым навсегда оставить надежду туда вернуться. Поэтому мы с Гюзель от этого предложения отказались. Дело было еще и в том, что как бы ни отнеслись к Гюзель местные власти, по тем же соображениям прописки она не могла отсутствовать в Москве более шести месяцев, иначе ее могли выписать. Тогда мы не смогли бы прописаться не только в Москве, но и вообще в любом другом большом городе.

Самой Гюзель очень не хотелось уезжать, да, кстати, не на что было ехать: в феврале я получил только семь рублей за январь, и это были все наши деньги. Чтобы предупреждение милиции не застигло нас внезапно, я написал о нашем отчаянном положении старому другу своего отца; пока же мы с Гюзель решили, что при первой тревоге она пойдет работать дояркой. Ответа на мое письмо долго не было, мы нервничали. Тем временем мне сообщили, что из отдела милиции звонили в сельсовет и велели передать мне, чтобы жена немедленно уезжала или прописывалась здесь и работала в колхозе. Положение наше было отчаянное, я послал письмо еще одному знакомому с просьбой выслать деньги, пока же отвечал бригадиру на его напоминания, что завтра-послезавтра Гюзель уедет или же что она вот-вот пойдет на ферму сменной дояркой — всех телят уже пришлось перевести на ферму в Ивановку. Какова же была наша радость, когда мы, уже потеряв надежду, внезапно получили телеграфный перевод на пятьдесят рублей, а затем дружеское письмо товарища моего отца. Не помня его домашний

адрес, я послал ему письмо на работу, и он, оказывается, получил его только через две недели, отчего так долго и не было ответа. Теперь мы могли вздохнуть свободнее, однако Гюзель оттягивала свой отъезд, ссылаясь на начавшиеся бураны. Так прошла целая неделя. Все же, как ни тяни, пришлось ехать, и восьмого марта мы простились, не зная, когда увидимся вновь. Теперь я мог не бояться за Гюзель, но тяжело мне было возвращаться в опустевшую избу, где ждал меня в одиночестве черный котик Дима.

Через несколько дней приехал участковый и первым делом спросил, уехала ли моя жена. Потом меня при встрече и секретарь сельсовета спрашивала о том же.

После отъезда Гюзель я стал иногда выпивать в одиночестве, благо при новой системе мне и деньги стали какие-то платить. Очень меня беспокоила в это время мысль, где и как я буду жить после возвращения из ссылки. Я подумывал даже о том, чтобы переехать в какой-нибудь из прибалтийских городов, поступив там в университет: на возвращение в Москву я почти не надеялся. В это время мне часто стали сниться сны, будто я в Москве, ищу какую-нибудь комнату, где бы я мог остановиться, но ничего не могу найти — и со смутным ощущением тревоги я просыпался. Один такой сон я помню очень хорошо, да и приснился он мне со всеми реальными подробностями. Будто бы моя тетя еще жива, и я у нее в квартире на улице Алексея Толстого, но почему-то мне нельзя жить у нее и я спешу скорее к себе домой на Суворовский бульвар, в надежде, что времени после моего отъезда прошло еще не так много и мою комнату, может быть, еще не заняли. И вот я иду по улице, отчетливо я помню каждый дом и зеленые ветки деревьев, смотрю на часы у Никитских ворот (я как бы повторяю свой путь из тюрьмы), вот, наконец, и мой дом. Но поздно, комната уже занята, занята какой-то молодой рабочей парой — я отчетливо вижу комнату, не такой, какой она была последние годы, а какой она была в моем детстве — и у них много гостей, тоже по виду молодых рабочих, может быть, есть и студенты, они справляют новоселье. И среди них почему-то немолодая уже женщина, которую я раньше часто встречал во всяких богемных компаниях, она очень толстая, в черном платье с голыми руками. Я понимаю, что ей очень неловко передо мной,

что она попала в такую неподходящую для нее компанию, которая захватила уже мою комнату. Здесь сон оборвался. Еще мне часто снился один и тот же сон, будто я тайком, в надежде, что никто не знает, на несколько дней уехал из ссылки в Москву и тут узнаю, что ссылку мне отменили и должны официально известить меня об этом, и потому мне скорее нужно ехать назад, потому что если меня не застанут на месте и узнают, что я самовольно уехал, то решение это отменят и мне и дальше придется отбывать свой срок. И вот я тороплюсь, еду в каком-то поезде, и тут все опять смешивается. Подобный сон снился мне много раз, и иногда я тут видел живого отца и даже мать и опять нашу комнату, какой она была в моем раннем детстве.

Дом, где я жил, как я уже рассказывал, стоял на отшибе и пользовался дурной славой. И вот как-то среди ночи возле дома раздался громкий вой, затем кто-то постучал в окно. Спросонок натянув штаны, я кинулся к окну и спросил, кто там, однако никто мне не ответил и ничего не было видно. Я лег, но через несколько минут стук и вой повторились снова, и снова никто не ответил. Тогда я взял топор и затаился в сенях. Когда я услышал, что кто-то снова стучит в окно, я неожиданно с топором выскочил наружу, и три фигуры шарахнулись от меня, увязая в снегу. Оказалось, впрочем, что это просто деревенские шутники решили «попугать» меня.

Моя новая работа — возить воду — была не такая тяжелая, но отнимала почти целый день. Начинал я часов в одиннадцать, запрягал коня в сани, на которых были установлены две двенадцативедерных бочки, наливал воду из водокачки и вез в телятник, где ведром переливал воду в заделанный в печи котел, иногда приходилось сделать два рейса. Также я наливал воду в котел в коровнике. Потом у меня был небольшой перерыв, пока доярки доили коров. Затем начиналось самое трудное: я по очереди должен был развозить воду шести дояркам в коровнике и двум в телятнике, где стояла часть моих бывших нетелей, в большинстве уже телившаяся. Всего напоить мне предстояло около двухсот голов. Я въезжал на санях в коровник, останавливал их, и доярка сама начинала черпать ведром воду из бочек и поочередно обносить ею коров; самое большее у нее было ведра три-четыре, и дело шло очень медленно. В

коровнике была сделана когда-то механическая пойка, проведены трубы от водокачки и устроены автопоилки, но система эта давно вышла из строя, трубы замерзли, заржавели, и никто не думал их налаживать. Я предлагал хотя бы установить несколько бочек в коровнике и подавать в них воду длинным резиновым шлангом из стоящей рядом водокачки, а затем каждый раз выливать из шланга воду и сворачивать его, чтоб он не замерз. Тогда пойка отнимала бы час, а не целый день, и подходящий шланг был в колхозе, но дело опять же столкнулось с общей косностью. Я и сам особенно не настаивал, так как за каждую завезенную бочку воды мне платили 10 копеек, а за идею ничего не заплатили бы и опять послали бы чистить навоз. Когда одна доярка кончала поить свое стадо — обычно на это уходило две бочки воды — я выезжал из коровника, снова наполнял бочки и вез следующей доярке. Поскольку все не могли напоить коров сразу и одной приходилось ждать другую, происходили непрерывные пререкания и скандалы. То одна требовала, чтоб я вез сначала ей, а потом другой, другая же чуть не насильно пыталась вырвать у меня вожжи, то вообще все отказывались поить коров сейчас и ждали, пока привезут им муку, а я вообще сидел без дела. Бывало и так, что я какой-либо доярке вообще не привозил воду в наказание или же бросал свои бочки и шел домой, матерно ругая доярок и говоря: «Возите сами!» Еще скандалы бывали из-за того, что зимой воду носить издалека трудно, а в своем хозяйстве тоже нужно много воды, и некоторые брали моего коня возить себе домой воду из водокачки. Я не возражал против этого, если только не хватали коня без моего ведома. Когда мне нужно было везти воду в телятник или коровник, а кто-то взял коня без спроса, я ни слова не говоря уходил домой; так мне с большим трудом все же удалось приучить всех к порядку. Наибольшую борьбу мне пришлось выдержать с моей соседкой Сонькой, которая кричала: «Ты тунеядец, а я колхозница! Что я воды себе не могу привезти?!» — и в доказательство своей правоты задрала юбку и предложила мне полюбоваться на голый зад. Я хотел было дать ей в зад пинок, но побоялся, что потом не оберешься неприятностей, что «тунеядец избил колхозницу». Сонька эта и раньше меня на базе задирала, однако я отмалчивался, потому что Гюзель ходила в ее драном тулупе и она всегда могла тулуп

отобрать; когда же она тулуп этот действительно отобрала, а сама Гюзель уехала, то я Соньке дал почувствовать, что криком она много не возьмет.

Вечером я опять должен был завезти два раза воду в телятник, и только часов в восемь-девять мог распрягать коня и идти домой. Возил воду я сначала на кобыле Серой, на той же, что и прежний водовоз. Она была не серая, а почти совершенно белая, и мне всегда напоминала цирковую лошадь. Была она кобыла очень умная, спокойная и выносливая, а тащить сани с двумя полными бочками по осклизлому деревянному полу коровника некованным коням было очень тяжело. Я же следил, чтобы полоз не провалился в канавку: тогда вообще страшное дело. Иногда в телятнике мы полчаса мучались, чтобы протащить сани два метра.

Иной раз уставшая Серая пыталась убежать от меня с двумя бочками вместе. Подведя ее к водокачке и сунув в бочку резиновый шланг, я шел внутрь включить воду, а когда выходил, видел, что кобылы моей и след простыл, а вода из шланга бьет прямо на лед. Обычно Серая пряталась от меня за телятник, довольно наивная лошадиная хитрость. Чтобы она не убегала, я стал класть перед ней клок сена, чтобы она жевала, пока течет вода. Как-то раз работа затянулась особенно долго; уже сильно темнело, когда я повез последние две бочки в телятник и запер водокачку. Я раскрыл ворота и пошел отворить еще ворота посредине телятника, когда же вышел, то увидел, что Серая круто повернула, так что обе бочки опрокинулись, и скорее бежит прочь. Я бросился за ней, от страха она не разобрала дороги, и сани застряли в сваленных возле базы дровах. С утра я не ел, очень устал, теперь я живо представил, как мне вытаскивать сани, снова устанавливать бочки, ехать к водокачке, вновь отпирать ее и прикручивать шланг и так далее. Совершенно озверев, я схватил первое полено под ногами и бросился на Серую, чтобы размозжить ей голову и разом со всем покончить. Хорошо, из коровника выскочила доярка Надя Кабанова, суровая сожительница Саньки, образумила меня и помогла вытащить сани. Но это исключительный случай, вообще же с Серой отношения у меня были очень хорошие, как никогда раньше и потом с другими лошадьми, и я всегда о ней очень заботился. Также все лошади, на которых я работал, были сытые и рас-

кормленные, не в пример другим колхозным коням, потому что я постоянно таскал для них предназначенное коровам сено, а потом и муку. Колхозники же коней совершенно не жалели, особенно когда себе что-нибудь везли на них.

Из-за сена тоже были на ферме постоянные скандалы, начиналась весна, кормов стало не хватать, сена выдавали по килограмму в день на корову. Между тем ограда сеновала, куда затаскивали стога, была разрушена, и туда частенько заходили выпущенные на прогулку коровы, а иногда заскакивали кони. Стешка многократно ругалась с конюхом, даже составляла какие-то акты и докладные на него — отчего сена не прибавилось — пыталась и меня обвинить, что я кормлю коней, но ограду в сеновале ни она ни кто другой так и не поправили. Коням же вообще было плохо, овса они совсем зимой не видели, а иной раз стояли сутками без сена.

На Серой я работал более месяца, она была жеребой, и такая нагрузка стала ей уже тяжела; тогда мне дали мерина Бурого, не молодого, на котором я начинал пасти, а старого, слепого на один глаз, еще его звали Шикан, потому что на нем когда-то ездил бригадир тракторной бригады Шиканов. Был он конь послушный, но более глупый и слабосильный, чем Серая: его всегда было очень трудно остановить. Однажды на Пасху он так понес меня, что я вывалился из саней, бочки перевернулись и облили меня с ног до головы — правда, я был немного выпивши.

В день мне записывали 20 бочек, выходило, что при оплате 10 копеек за бочку, в марте, работая без выходных, я получу более шестидесяти рублей. «Вон сколько Андрей получает, мы столько не получим, — загалдели тут колхозники. — А работа ерундовая: держи дудку в руках — а вода в бочку сама течет из водокачки». Я даже и не держал в руках шланг, а приделал из проволоки крючок и цеплял его за край железной бочки и сам рядом прогуливался, что колхозникам было еще обидней. Лева тоже очень переживал, потому что он заработал в бригаде всего лишь рублей двадцать, и уже не говорил мне: «Извини, Андрей, что я живу лучше тебя», — а намекал, что это не по-товарищески, чтобы один «тунеядец» зарабатывал втрое больше другого. Я всё удивлялся деревенской психологии. Даже те, кто, казалось бы, неплохо ко мне относился, и те с сожалением говорили о заработанных мною шестидесяти рублях.

Больше всех негодовала и кричала Сонька: мой-де Митька — колхозник, и то столько не заработал! Впрочем, ее с Митькой дела были плохи.

В конце марта в Гурьевку приехал судья с двумя заседателями и прокурор, и в помещении школы состоялся суд. Перед судом по обвинению в гибели двух павших осенью нетелей предстали Шаповалов, бригадир тракторной бригады Горбачев и пастухи Крицкий и Митька Шик. Здоровенный лысый судья, слегка похожий на Чигринова, вместе с заседателями уселся за учительским столом, слева за маленьким столиком сел прокурор, справа секретарь, на скамье перед ними — подсудимые, а за подсудимыми — зрители; собралась почти вся деревня, кроме доярок, которые были на ферме. Деревня вообще падка до зрелищ: за несколько дней до этого на поле за прудом сел самолет геологической экспедиции, так смотреть на самолет кинулась вся деревня, от престарелых бабок до грудных детей, на ферме коровы, которых забыли привязать потоптали сено, а водокачку залило водой, ее от возбуждения при виде самолета забыл выключить Филимон. А суд был зрелищем не менее интересным, чем самолет.

Прокурор в своей речи потребовал взыскать с обвиняемых в пользу колхоза шестьсот рублей, с каждого по сто пятьдесят. Шик обвинялся в том, что он отказался пасти коров, Крицкий — что он выпустил их из загона, Горбачев — что послал Шика ремонтировать молотилку, а Шаповалов — что раз он бригадир комплексной бригады, так должен за все отвечать. Затем судья начал допрашивать обвиняемых и свидетелей. Из обвиняемых никто себя виновным не признал, только Крицкий сказал сначала, что дело-де хитрое: с одной стороны он не виновен, а с другой все же виновен. Тогда судья спросил: ну, а во сколько бы рублей он сам примерно оценил свою вину? Когда речь зашла о рублях, тут Крицкий твердо сказал, что он невиновен. Как я думаю, он неверно поступил, судье частичное признание вины понравилось, и если бы Крицкий эту линию выдержал и какую-нибудь небольшую сумму назвал, столько бы он ему и дал за признание, теперь же мог поставить на счет гораздо больше. Шаповалов вообще не мог понять, как это он, бригадир, который как раз колхозные интересы и отстаивает, сам оказался на скамье подсудимых, и повторял все время, чтобы

его судили «по закону». Бригадир трактористов Горбачев, который вообще никакого отношения к этому делу не имел и которого прокурор привлек только потому, что дескать «были примеры, когда бригадиры покрывали различные проступки трактористов, и надо положить этому конец», отвечал на вопросы отрывисто и мрачно.

Как свидетелей допросили Саньку, заместителя председателя, девицу-зоотехника, Стешку и ветеринара Сусликова, который подарил мне когда-то сапоги. И прокурор, и судья вели себя со всеми очень грубо, но особенно грубо разговаривали они с Сусликовым. Тот вскоре переходил на работу в Тюменскую область, где жили его родители, и должен был со дня на день уехать отсюда. «Вы у нас здесь в районе отъелись, оперились, а теперь сматываете удочки», — так дословно говорил прокурор. А судья вторил: «Мы о вас уже наслышаны, смотрите, как бы скоро не доиграться!» Так, может быть, учитель может распекать школьника, но не судья вести судебное следствие.

После опроса свидетелей, которые очень боялись, как бы и их не привлекли к ответственности, и валили все друг на друга и на обвиняемых, суд удалился на совещание. Прокурор же сказал, что в перерыве он прочтет лекцию о «советском законодательстве». Лекция вся свелась к тому, что вот-де какая-нибудь баба донесет на своего мужа, что он ее бьет, того года на три посадят, а уж через месяц жена приходит и говорит: выпустите его, пожалуйста, я его простила. Так вы заранее хорошо подумайте, прежде чем жаловаться на своих мужиков, потому что кого мы посадим, того уже раньше срока не выпустим. Еще прокурор сказал несколько слов о правовом положении колхозников. Вы, дескать, жалуетесь, что вас из колхоза не отпускают. И правильно делают: колхоз, как одна большая семья, захотят родичи — отпустят, захотят — не отпустят. Живете вы богато, рабочие в городах столько сала не едят, сколько вы жрете, так что жаловаться вам нечего, а надо работать лучше. Вон в Америке один фермер больше продукции производит, чем вся ваша деревня. Тут я сказал в защиту колхозников, что в Америке механизация гораздо выше, но они, напуганные тем, что я прервал прокурора, зашикали на меня. Зато прокурор порадовал колхозников, что их не имеют

права бить председатель или бригадир. Вот в Междуречине бригадир Пажиков бил колхозников, а одну бабу запер в конторе и два дня голодом морил, так его за это будут судить вскоре.

Из соседней комнаты вышел судья, все встали, и он зачитал приговор. Крицкий и Шик должны были уплатить по 225 рублей каждый, а Шаповалов и Горбачев — по 75; в таком же соотношении раскладывались и судебные издержки. Крицкий и Митька выслушали приговор с тупым недоумением на лицах, а Сонька с проклятиями и криком: «Не бойтесь, не обеднеем!» Судья сказал, что в пятидневный срок приговор может быть обжалован, но никто его обжаловать не стал из страха, что тогда еще добавят; 225 рублей — это полугодовой заработок колхозника.

Колхозники разбрелись по домам, почесывая затылки, а суд уехал в уверенности, что сделал хорошее дело и «трудовая дисциплина в бригаде теперь подтянется».

В школе было проведено при мне еще одно общественное мероприятие, не помню точно, до или после суда. Там был избирательный участок на очередных «выборах» в какой-то из советов. В Москве я никогда в голосовании не участвовал, не принимая «выборы» всерьез, но здесь испугался и пошел голосовать, изменив таким образом своей традиции ради все той же «половинки». Директор школы вручил мне избирательный бюллетень с фамилией одного кандидата, и я тут же бросил его в урну. В противоположном углу комнаты стояла завешенная материей кабина, где можно было проголосовать «тайно». По-моему, в нее так никто и не зашел. Меня немного удивила «двойная» психология колхозников: с одной стороны, они смотрели на «выборы» как на пустую формальность, от которой ничего не зависит, с другой, как на «праздник», такой же, как 1-е мая или 7-е ноября, когда надо крепко выпить и «погулять».

Наступил апрель. Кругом еще лежал снег, дул холодный ветер, таять еще не начинало. Дома у меня тоже было довольно холодно, дрова кончались, и я два раза завез себе распиленные дрова из коровника, накладывая их в бочки вместо воды. Продукты теперь я покупал в магазине и у колхозников, сам варил себе суп и каши, Гюзель часто присылала мне бандероли с пакетными супами, а хлеб пекла доярка Надя Кабанова. Всю пер-

вую половину марта, правда, мне пришлось опять сидеть без хлеба, но потом смололи в Новокривошеине полцентнера, и мне их хватило надолго. Я привез с собой из Москвы несколько популярных книг по математике, и когда у меня оставалось немного свободного времени, начал конспектировать книжку по теории вероятности, но изучение мое далеко не пошло, было времени очень мало, а главное так холодно, что руки коченели и невозможно было писать. Так же медленно двигались и эти мои воспоминания, которые я начал в то время. Работал над ними я все время урывками, и к июлю дошел только до того места, как я приезжаю к дипломату после налета опергруппы. Внезапно эти мои одинокие занятия были прерваны, образом довольно комичным.

Остальные ссыльные, часто ругаясь со своими сожительницами, грозились им: мы-де с вами жить не будем, уйдем к Андрею в «дом тунеядцев»; то же они и мне говорили. Я только посмеивался, зная, что никуда они от своих баб и от щей с куском сала не уйдут. Но вот в конце апреля Феля на смерть поругался с Катей, даже до драки, и сказал, что перейдет жить ко мне. Катя ему на это отвечала матерным пожеланием катиться на все четыре стороны. Когда Федя зашел ко мне рано утром и сказал, что сегодня же переедет ко мне, я думал, что через час он с Катей помирится, но каково же было мое удивление и огорчение, когда я увидел, как он подъезжает к моему дому на санях со старой деревянной кроватью, чемоданом и мешком картошки. Ну ничего, решил я, потерплю несколько дней и тебя, голубчика, в буквальном смысле слова выкурю отсюда. Дело в том, что моя печка пришла в совершенную негодность, где-то забились дымоходы, и когда я начинал ее топить, всю комнату застилал черный дым, так что мне приходилось ложиться на пол, чтоб не задохнуться. Федя просто взвыл, попробовал было поковыряться в печке, но еще хуже сделал. Он поставил себе кровать в противоположном углу и все больше лежал, грустно вздыхая. Однако и он, и Катя на людях поливали друг друга помоями и говорили, что никогда не примирятся. «А если я этого паразита еще пущу, то пусть мне каждый в глаза плюнет!» — кричала Катя на весь коровник. На третью ночь к нам в дверь неожиданно раздался громкий стук. «Открывайте, не бойтесь!» — громко кричал кто-то. Вошла

вдрызг пьяная Катя вместе со своей двенадцатилетней дочерью и сказала: «Федя, вставай, пойдем домой». Обрадованный Федя минут пять покуражился и стал собирать чемодан. Радость примирения слегка омрачилась тем, что Катя по пьяной лавочке свалилась в подпол, который я держал открытым для кота. На следующий день я вынес в сени Федину кровать, и ее впоследствии унесла на себе Катя. Печку мне починили бригадир и муж кладовщицы, которым я поставил за это выпить.

Недели через три такую же штуку попытался проделать Лева. Он получил посылку из дома, продал все вещи, пропил, а тут как раз его престарелая подруга гнала самогон, чтоб угостить мужиков, которые ей будут пилить дрова. Лева тут же потребовал, чтобы до всяких мужиков она дала выпить ему. Поля отказалась, говоря, что это самогон на дрова. «Ах так, — закричал Лева, — не даешь мне выпить, ну так сейчас пойду позвоню в милицию, что ты гонишь самогон!» — и пошел из дому. Поля от страху вылила весь самогон, спрятала аппарат и сама скрылась. Лева вернулся, а на двери замок. Он тогда пошел, с горя набил морду своей прежней хозяйке Аксинье и приходит ко мне: «Поля меня выгнала, теперь я буду здесь жить». Но я проявил твердость и его не пустил, я сказал, что если только председатель или бригадир мне велят, тогда я пущу его, но сам отсюда уйду. Лева еще поматерился, погрозил мне, но ушел ни с чем, а чуть протрезвел — пошел мириться с Полей и просить прощенья у Аксиньи, чтоб та на него в милицию не пожаловалась.

Дрова в деревне на следующую зиму обычно заготовляют в мае, когда уже стаял снег в лесу, а горячие летние работы в колхозе еще не начались. Сами пилят мало, а нанимают обычно пильщиков из промкомбината, у которых есть механические бензопилы «Дружба». В деревне такая пила была у Филимона, а ему как дояру-механику без выходных приходилось работать на ферме. Вдруг без видимых причин в деревню прекратилась подача электричества, дояркам пришлось доить вручную, а освободившийся Филимон энергично пилил дрова себе и нанялся еще кому-то. На четвертый день приехал электрик, начал искать поломки в сети и обнаружил, что никаких поломок нет, а просто кто-то отключил рубильник на распределительном щите.

С 1 января в колхозе на фермах должна была вводиться новая система: к двум дояркам приставлялся один скотник, который вывозил навоз с их участка, а затем завозил им корма. К системе этой сначала отнеслись в Гурьевке с большим недоверием, говоря, что из этого ничего не получится, выходит, что на весь коровник останется трое рабочих, а у нас только трое навоз убирают, да заставь Андрея, например, вдобавок к тому, что он навоз чистит, еще корма возить, так скотина с голоду подохнет. Так особенно говорили те доярки, которым я когда-то возил корма. Все поэтому осталось по-старому, но тут началась путаница с начислением денег, потому что в конторе требовали, чтобы все ведомости оформлялись по-новому, и с марта в Гурьевке тоже перешли на новую систему. На шесть доярок, работающих в коровнике, дали трех скотников: Федю, Митьку и шестнадцатилетнего Толю Кабанова, который стал работать на ферме вместо обморозившегося Крицкого. Возить корма в телятник поставили Катю, отчего бедным телятам пришлось несладко. В деревне все были в родне, и вышло так, что Митька возил корма своей жене и тетке, а Толя тоже своей тетке и жене своего дяди, и между собой доярки вечно ругались, что родственники им больше сена завозят, чем нужно по норме, и потому Толя Кабанов в конце концов не выдержал и сказал, что больше он корма возить не будет, бросил ферму и пошел работать в бригаду. Несколько дней корма себе возили сами доярки, а навоз вообще никто не чистил, так что наросли порядочные горы, две же покинутые доярки — Надя и Маруся Кабановы — плакали и матерились, а Стешка только руками разводила и пела своим певучим голоском. Тогда бригадир, который всегда ставил меня на ту работу, которую никто другой не хотел делать, велел мне возить корма, а Толю Кабанова поставил водовозом.

16 апреля мы вместе с Толей вычистили его загаженный участок, и я приступил к своим новым обязанностям. Я взял себе коня, на котором возил корма Толя, Игреня. Это был конь самый лучший и самый резвый в Гурьевке, и догнать меня на нем никто не мог, только был он очень пуглив. С утра я начинал чистить свой участок коровника — теперь это было немного легче, потому что стало теплее и коров почти каждый день выгоняли на улицу, я мог даже заезжать в боковой проход и обхо-

диться без ненавистной тачки. Трудность была в другом, с конца апреля начало понемногу подтаивать, и коню стало особенно тяжело вытаскивать сани из тамбура по размокшей земле. Я помню, как-то начался маленький дождик, намокли оглобли, и Игрень все время вырывал дугу, не стаскивая сани с места, раз двадцать я перетягивал гужи и снова засупонивал его, но ничего не помогало, я совершенно отчаялся, пока не обвязал оглоблю платком, дуга перестала скользить, и Игрень как-то вытащил сани. Затем я мыл сани возле водокачки и ехал за соломой, которую сваливали в загоне метрах в трехстах от коровника. Первый раз я наложил воз так, что по дороге он у меня рассыпался прямо посреди огромной лужи растаявшего снега; как я сидел на возу, так и сполз вместе с соломой в грязь, а лужа была такая, что чуть ли не все сани уходили под воду. Постепенно я научился хорошо накладывать воз, каждый день я возил воза два. Самое же главное — это был силос. К бурте за силосом на тракторных санях ездила бригада, и обычно нам приходилось ждать, пока, тяжело пыхтя, к базе не подъезжал трактор, волоча тяжело нагруженные сани. Иногда они так запаздывали, что на всю деревню стоял неумолчный рев голодных коров и телят. Грузчики спрыгивали с саней и шли по домам, а нам нужно было перегружать силос и завозить его в коровник; мне на 48 голов приходилось 9,6 центнера силоса. Тут нельзя было медлить, потому что силос не весь был хороший, а иногда его вообще на всех могло и не хватить, так что сразу надо было захватывать лучшие куски своим дояркам. Нагрузив сани, мы заезжали на весы, Стешка смотрела, чтоб каждое стадо не получило больше нормы. Я обычно делал три рейса, чтоб конь мог стащить сани по тающему снегу: первый раз одной доярке, второй — другой, а третий — пополам. Силос мы валили в коровнике прямо на проходе, и доярки сами разносили его по кормушкам, после чего начинали загонять и привязывать коров. Тут начиналась страшная кутерьма, особенно же трудно было загнать здорового быка Гришку; Стешка, которая ухаживала за быками, боялась его привязывать, потому что он несколько раз «покатал» ее, и обычно его привязывал я, хотя и меня он один раз зимой боднул, — к счастью, рог только скользнул по бедру. Чтоб этого Гришку задобрить, я кормил его иногда хлебом, и он уже настойчиво мычал, едва меня завидя. Еще все

возчики по очереди должны были ездить за мукой в сушилку. Ворочать мешки килограммов по 60 было мне с больным сердцем тяжело, но я вообще ни разу в колхозе на свою справку «без поднятия тяжестей» не ссылался, потому что такой работы вообще не было, а начни я от работы уклоняться, я бы на «половинку» уже рассчитывать не мог. Сверх муки у меня была еще одна работа — возить сено и силос самым маленьким телятам, которые стояли в пристройке к коровнику.

К этому времени я научился работать довольно бойко, базу я вычищал самым первым, силос тоже почти всегда завозил первым, прямо из-под носа у других вытаскивая лучшие куски, а если Стешка не успевала уследить, то и сверх нормы накладывал, также и сена я всегда привозил лишнего, прикрывая его сверху соломой, чтоб никто не заметил. Поэтому мои доярки, которые раньше боялись, что я не справлюсь, были очень мной довольны, к тому же я из-за пьянки никогда не прогуливал, как Митька и Федя, так что их дояркам самим приходилось возить корма, и коровы стояли в навозе, а мои только посмеивались. Даже в «боевом листке» я заслужил похвалу.

Чем скорее таял снег, тем тяжелее становилось работать. В грязи размокали завертки, которыми прикручивались оглобли, и приходилось их заново привязывать по нескольку раз в день, а к концу зимы развалились почти все сани, в том числе и мои. Грязь вокруг базы была такая, особенно коровы намесили, что нельзя было понять, на чем ездить: на телеге еще рано, а на санях уже поздно. Бригадир же сани чинить отказывался, действуя по пословице: готовь сани летом, а телегу зимой, а сейчас ни зима, ни лето, так что нечего и возиться с этим. Пока что я забрал сани у Кати, потому что все равно она больше пьянствовала, чем работала. Катя на меня с вилами кидалась и бригадиру жаловалась, но саней я не отдал. Я вообще очень охамел и огрубел, и если я раньше на ругань отмалчивался, то теперь при каждом удобном случае покрывал всех фермерских матом, особенно Стешку, так что она на меня даже в милицию хотела жаловаться.

Зарплата мне начислялась с надоя: один рубль за центнер молока, при среднем надое на корову немногим более четырех литров в день; это выходило более 60 рублей в месяц, да рублей 15 я получал с привеса телят, которым возил корм. Мой зарабо-

ток получался даже выше, чем у некоторых доярок, что опять очень взбудоражило общественное мнение. Общественное мнение стало требовать, что раз уж я зарабатываю такие колоссальные деньги, то пусть куплю себе новые брюки. Действительно, мои лыжные штаны, которые я привез из Москвы, за зиму совершенно изодрались, кой-где я поставил заплатки из мешковины, а кой-где просвечивало нижнее белье, вдобавок у меня не было ремня и я подвязывался веревочкой. Уступая единодушному требованию доярок, я пошел в магазин и купил себе довольно скверные брюки местного производства и ремешок.

6 мая Митьку с фермы перевели на ремонт тракторов, и нам с Федей пришлось взять по три стада, так что каждый чистил половину базы и подвозил корма трем дояркам, также и муку нам пришлось теперь возить через день. Самым же тяжелым для меня днем было 16 мая, когда Федя пошел опять пасти деревенских коров, и я остался на базе один. Базу я не чистил, но завезти корм мне нужно было шести дояркам. В грязи конь не мог вытащить телегу, копыта скользили по льду, оставшемуся под полуметровым слоем жидкого черного месива. Телега так основательно засела, что пришлось мне идти запрягать еще одного коня и часть силоса перекладывать. Хорошо, что у меня за плечами был уже почти год работы в колхозе, а выпади мне такой денек раньше, так я сам свалился бы в грязь под колеса.

На следующий день коров погнали на пастбища, и мне осталось только привозить в день пять центнеров муки и две бочки воды. Воду я даже не возил, а протянул шланг из водокачки, поставил бочки в коровнике и так наливал. Бо́льшую же часть дня я отдыхал дома или разъезжал верхом на косматой кобыле Маврочке, осматривая окрестности. Я отдохнул так дней пять, радуясь, что кончилась моя каторжная работа на ферме. Однако впереди меня ждала работа еще более тяжелая, чем я узнал до сих пор.

Глава двадцать четвертая
С МЕНЯ БУТЫЛКА

Перед первым мая колхозникам была прочитана присланным из райкома лектором лекция о международном и внутреннем положении. До этого вся агитация и пропаганда в деревне сводились к тому, что заведующая клубом время от времени читала на ферме коснеющим языком какую-нибудь мало понятную ей самой статью в газете и затем разъясняла ее слушателям: вроде того, что Синявский и Даниель были американскими шпионами. Читала она также день за днем бесконечное постановление XXIII съезда КПСС; ее, впрочем, никто не слушал, потому что у всех на ферме работы было много, а кто и слушал, тот все равно ничего не понимал, потому что никто даже не знал, что значит само слово КПСС. Один школьник спросил как-то у заведующей фермы, что оно значит, но та ему ничего ответить не могла. Только Филимон, который когда-то учился на курсах в городе, мог объяснить, что это такое.

Лекция состоялась в школе. Лектор, с добродушным круглым лицом, похожий на книжного мужичка-середнячка, начал с того, что он был на семинаре лекторов в Томске, где лектор ЦК КПСС Обриков прочел им установочную лекцию, которой он теперь и будет следовать. Говорил он примерно так: есть не только за рубежом, но и в нашей стране люди, которые не верят тому, что у нас все хорошо, а считают, что кое-что плохо. Поскольку народ этот никак не переубедишь, лекторам дана новая установка: признавать, что действительно кое-что у нас еще обстоит неблагополучно. «В частности, товарищи, — сказал лектор, — как вы сами хорошо знаете, весьма неблагополучно у нас сельское хозяйство». Объяснил он это неблагополучие очень хитро: тем, что у нас большая страна и слишком различные климатические условия. Видимо, он подразумевал, что условия разные, а начальство дает одинаковые указания для всех. К недостаткам отнес он еще, что у нас слишком тяжелые и неповоротливые тракторы. Далее он говорил уже только о достоинствах, главное из которых — военная мощь нашей страны; он сказал, что тут, в отличие от сельского хозяйства, мы можем быть совершенно спокойны. Он осудил американцев за войну во Вьетнаме, плохо отозвался о Западной Германии и

похвалил Францию. О Китае он сказал, что там «живут еще хуже нашего». Поскольку многие в деревне слушали китайские радиопередачи, ему задали несколько вопросов: кто больше помогает Вьетнаму — мы или китайцы, и возможна ли еще дружба с Китаем? Лектор сказал, что китайцы Вьетнаму помогают только на словах, а что дружба вполне возможна после смерти Мао-Цзе-дуна. Закончил он лекцию, неожиданно сказав, чтоб мы не беспокоились о судьбе Хрущева: тот живет в Москве на свободе и на жизнь не жалуется.

Через месяц состоялась еще одна лекция, на этот раз в клубе, и после нее был дан концерт. Лектором оказалась довольно миловидная девица, которая тихим голоском, непрерывно ломая худые руки, говорила в основном о войне во Вьетнаме. Когда она попросила задавать вопросы, поднялся пьяный Лева, участник корейской войны, и сказал, что ему очень интересно слушать о событиях во Вьетнаме, поскольку он сам в свое время был в Корее. «Когда же вы там были?» — любезно спросила девица. «А тогда, — сообщил обрадованный вниманием Лева, — когда мы пели песню 'Сталин и Мао слушают нас!'» Он пытался было запеть, но его скорее усадили на место. Концерт дала агитбригада одного из томских заводов, сначала маленький хор спел песню о солдатской дружбе, потом о ракетах, которые стоят наготове, потом солист спел, что мы не забыли прошлую войну и готовы к будущей, а чтец прочел стихи такого же содержания.

Как я помню, после первой лекции в школе состоялось собрание, которое должно было решить вопрос о пастухах. С деревенским стадом дело решилось просто: пасти опять взялись Федя с Катей. Гораздо сложнее было с колхозным стадом, на 150 голов — пятьдесят коров и нетелей угнали в Новокривошеино — требовалось три пастуха, между тем пасти никто не соглашался, особенно после недавнего суда. Крицкий ссылался на то, что у него пальцев нет, нечем даже бич держать; второй пастух, Пашка Кабанов, говорил, что у него грыжа, нельзя на коне ездить, Санька объяснял, что у него в конце мая кончается трехлетний срок ссылки, так что его ставить пасти и смысла нет. Я тоже решил всеми силами отбиваться; возьмись я пасти — мне бы уже из Гурьевки не выбраться. Я говорил, что я близорук и без очков не отличу корову от куста, очки

же я разбил случайно еще в ноябре. Тут я, к счастью, нашел поддержку у председателя, у которого жена и сын были близорукие. В конце концов 17 мая коров погнали трое: Лева, Санька и Пашка Кабанов.

22 мая началась посевная. Сначала сеяли пшеницу, потом овес, потом кукурузу, клевер и картофель, что считалось делом уже простым. Одновременно с пшеницей сеяли лен. В этом году чуть ли не впервые пшеницу сеяли по ржи и кукурузе, а овес по кукурузе и пшенице, а раньше долгие годы на том же самом месте сеяли одну и ту же культуру. Удобрений в почву никаких не вносили, хотя возле фермы лежали горы навоза, летом даже был пожар. На двух тракторах пахали, боронили и культивировали пашню, а к третьему были прицеплены две сеялки. Бабы в амбаре насыпали в мешки семенную пшеницу, на тележке колесный трактор вез ее на поля, и там мешки сбрасывали в нескольких местах на дороге. Трактор с сеялками шел по полю, и по мере того, как в сеялках кончалось зерно, подвозчик на телеге должен был подвозить эти мешки к сеялкам. Вот на эту работу меня и поставили. Я подвозил зерно на Игрене, за десять дней от него остались кожа да кости, хоть я и кормил его все время овсом. Работа была в две смены: по двенадцать часов смена, после чего заступали другие сеяльщики, тракторист и подвозчик со своим конем. При пересменке через три дня приходилось работать по восемнадцать часов: весь день и половину ночи, или наоборот. Грузить мешки на телегу, а потом переваливать в ящики на сеялку было тяжело, сердце очень кололо, пыль забивалась в горло, слезились глаза, а когда немного потеплело, стали немилосердно жалить комары, вдобавок я сильно простудился, и у меня все время была температура. Работать в ночную смену было еще труднее, особенно мне, потому что в темноте ничего не было видно, а полей я не знал. Со мной и днем в первый же день произошел конфуз: я с конем и с мешками заблудился среди незнакомых полей и никак не мог найти свой отъехавший на другое поле трактор, но остальные дни все прошло благополучно.

Со времени единоличных хозяйств посевные площади не увеличились, часть даже заросла кустарником. От единоличных хозяйств остались небольшие поля, разделенные группами деревьев; трактор больше времени вертелся на таком пя-

тачке и больше сжигал горючего, чем на большом поле. При современной технике выкорчевать несколько межевых деревьев и сделать большие поля ничего не стоит, но из года в год все остается по-старому и теряется вдесятеро больше денег, чем стоила бы раскорчевка. Я говорил об этом бригадиру, и тот охотно соглашался со мной, как, вероятно, согласился бы каждый, отчего ничто не изменилось бы. За эту работу мне начислялось всего лишь около рубля в день, да еще тремя рублями я был награжден. Все колхозные премии, по-моему, не превышали трех-пяти рублей.

После пшеницы и овса я один день еще подвозил картошку, потом сеял клевер, протравливал кукурузу, а когда, наконец, посевная кончилась и я думал денька два отдохнуть, на меня навалилась новая неприятность. За зиму, как я писал, телилось много коров, часть телят уже сильно подросла, и их надо было пасти. Вот бригадир и требовал от меня, чтобы я их пас, сколько я ни ссылался на то, что без очков мне еще труднее будет увидеть маленького теленка, чем большую корову. Тогда я решил пойти на хитрый маневр. Провожаемый добрыми напутствиями телятниц, я погнал семьдесят телят, а через несколько часов пригнал назад лишь пятерых, говоря, что остальные растерялись, уследить же за всеми я по своей близорукости не мог. Телят этих потом насилу собрали, один даже забрел в Ивановку. Сам же я на следующий день поехал в Кривошеино к глазному врачу просить справку, что не гожусь для работ, требующих острого зрения. Также я хотел показать сердце терапевту, но оказалось, что тот уехал в соседнее село. К моему несчастью, и главный врач, без которого никакой справки окулист дать не решился, тоже уехал, но я догадался взять у глазного врача направление на другой день со штампом больницы, показал его бригадиру, на том дело и кончилось. Я не ездил больше в больницу, а подросших телят, как это было зимой, угнали в Новокривошеино.

28-го мая исполнился ровно год со дня суда надо мной, через три месяца, в августе, кончалась половина срока. Меня очень волновало, отпустят ли меня «по половинке». Когда я ездил в больницу, я зашел в отдел милиции и разговаривал с начальником; тот сказал, что со стороны милиции возражений не будет, если отпустит колхоз. Бригадир и парторг, которых я спраши-

вал об этом, тоже отвечали, что отпустят меня, хотя и не в августе, а где-нибудь в октябре, когда закончатся уборочные работы. Особенной уверенности, впрочем, в их ответах не чувствовалось. Вдобавок парторг, с которым отношения у меня были очень хорошие, был на ножах с председателем и вскоре из колхоза уехал. Я твердо решил, если меня не отпустят «по половинке», больше в колхозе не оставаться и просить милицию, чтоб меня перевели работать в Кривошеино. Основанием для такой просьбы я хотел выдвинуть, во-первых, то, что колхоз не снабжает меня продуктами, во-вторых, что мне негде жить зимой, потому что дом, где я живу, совсем сгнил, и, в-третьих, что меня все время обсчитывают и полностью не начисляют заработанные деньги. Денег в бригаде вообще никому ни бригадир, ни заведующая фермой правильно не начисляли, отчасти по безграмотности, отчасти думая такой «экономией» способствовать подъему колхозного хозяйства. Особенно здесь усердствовала Стешка, кому недописывая пять рублей, а кому и десять. Я несколько раз отказывался расписываться в ведомостях, которые она составляла. Два раза я заставил ее переделать их, а трижды она так и сдала их в бухгалтерию без моей подписи, и часть сделанной работы мне не оплатили. В начале мая я составил довольно пространную жалобу в правление колхоза, где перечислил все жульничества Стешки по отношению ко мне, а также привел примеры неправильного начисления зарплаты другим колхозникам, и торжественно вручил эту бумагу заместителю председателя в присутствии парторга, заведующей Новокривошеинской фермы и самой Стешки. Ни на какое практическое действие этой своей кляузы в смысле возвращения мне зажуленных денег или хотя бы правильного начисления в будущем я не рассчитывал, я хотел только, чтобы у меня на руках было какое-то подобие документа, который я мог бы предъявить потом милиции, требуя перевода из колхоза. Вообще же денежная нечистоплотность колхозных руководителей простиралась до того, что заместитель председателя, например, которому я так торжественно вручил свой донос, пропил денежные премии, которые должен был вручить нашим дояркам и телятницам, а им со смущенной улыбкой дал по рублю. Те пошушукались между собой, но как-либо протестовать побоялись. Разумеется, никакого отве-

та я на свою жалобу не получил, и Стешка по-прежнему продолжала неверно начислять мне зарплату, так как мне опять пришлось работать на ферме. Я, правда, ни в каких ведомостях не расписывался и Стешке при каждом удобном случае говорил, что если б это от меня зависело, я б ее на версту к ферме не подпустил.

После истории с телятами я дня два совсем ничего не делал, после посевной вообще наступает небольшая пауза в колхозной работе, которой колхозники пользуются, чтоб сажать на своих огородах картошку, а с середины июня уже начинается заготовка силоса, а затем сенокос. Я думал, что меня опять ожидает та же работа, что и прошлым летом, но 10 июня ко мне зашел бригадир и сказал, что хочет поставить меня возчиком молока. Летом коров в коровник не загоняли, а доили в летнем загоне на другом конце деревни, и три раза в день нужно было отвозить молоко на ферму, где его перекручивали на сливки.

Сначала я этому предложению обрадовался, потому что идти на заготовку силоса мне не хотелось, но работа оказалась гораздо хлопотливее, чем я думал. Вставать нужно было в половине шестого утра и идти искать коня. Хорошо, если конюх пригнал коней в деревню, а если пьяный Крицкий, который был теперь конюхом, просыпал, то приходилось идти за конем далеко в поле, где кони паслись ночью. Шел я сквозь высокую траву, отгоняя комаров и прислушиваясь к доносящемуся издали звону ботала — колокольчика, который привязывают коням под шею. И вот увидел наконец впереди в утреннем тумане табунок коней; иногда Крицкий разводил им костер, и они стояли в дыму, спасаясь от комаров. Мой конь был самый большой, десятилетний мерин с белым пятном на лбу, почему его и прозвали Лысым; я уже на нем работал осенью. Завидев меня, он иной раз пытался спрятаться за какого-нибудь другого коня, хитрость довольно наивная, потому что он был самым крупным; убегать от меня он пытался очень редко. Я взгромождался на Лысого и ехал к своему дому или к ферме, где стояла моя телега. Чтоб утром коня долго не искать и всю ночь о коне не беспокоиться, я попробовал ставить Лысого на ночь у себя в сенях, насыпав ему порядочно овса. Я его не привязал, а только закрыл дверь наружу. Всю ночь я слышал за стеной громкие

охи и вздохи, а часа в четыре был разбужен от ударов, которые сотрясали весь дом. «Лысый! Лысый!» — покричал я для его успокоения и заснул снова, а когда проснулся — Лысого не было, осталась только на память о нем порядочная кучка под дверью: наевшись овса, утром, когда появились комары, он выбил задними ногами шаткую дверь и вышел из сеней наружу. Потом я держал его ночью в телятнике или в старой конюшне, привязывая и насыпая вдоволь овса, который я брал в сушилке, когда ездил за мукой для коров. В седьмом часу запрягал я Лысого в телегу, брал на ферме пустые фляги и ехал за три километра на дойку. К моему приезду доярки уже додаивали коров, я нагружал на телегу сорокалитровые фляги с молоком и вез их опять на ферму. Иногда на дойке ломался мотор вакуумной системы, доярки доили вручную, и я обычно помогал им, чтоб дело шло быстрее, — теперь я на собственном опыте мог убедиться, как тяжело доить вручную нескольких коров. С фермы я ехал к сушилке, брал там в амбаре восемь мешков муки и вез опять на дойку, потому возвращался опять на ферму, брал пустые фляги и вез опять на дойку, чтоб их там помыла дежурная доярка, потом возвращался домой, распрягал и путал коня, готовил себе завтрак и ложился немного вздремнуть.

Часа через три, в обед, снова надо было идти искать коня, чтоб везти молоко с обеденной дойки. Лысый, хоть на вид был грубый конь, работяга, очень был большой любитель комфорта, в жару он никогда не шел к остальным коням, а прятался от комаров и слепней в коровнике, куда мне за ним обычно и приходилось ходить. Опять я вез полные фляги на ферму и пустые на дойку, а потом распрягал и пускал коня. То же повторялось вечером, доярки кончали вечером доить около десяти, а мне еще нужно было отвезти молоко, потом самому помыть фляги, чтоб можно было везти их завтра утром на дойку, так что возвращался я домой не раньше двенадцати часов ночи. Никаких выходных у меня не было. Сначала я очень нервничал из-за коня, что коня надо все время ходить искать, но потом, как я сказал, ночью стал держать его в телятнике, а днем он привык и сам почти никуда не уходил. Утром и вечером меня еще мучили комары, но вообще в этом году комаров было меньше, чем в прошлом.

Едва я начал возить молоко, возникла новая коллизия. На дойке Стешка промеряла все молоко из расчета 39 литров во фляге, а остаток вымеряла кружками, на ферме же отделенщица, которая сепарировала молоко, вешала его на весах, и разница иной раз у них получалась до 20 литров в день. Вот Стешка с отделенщицей и попытались меня обвинить, что я якобы выпиваю это молоко в дороге, тем более, что я перестал брать свой ежедневный литр. Всем, однако, было понятно, что если даже я и пью в дороге молоко, то выпить 20 литров под силу разве Гаргантюа. Я пошел к бригадиру и сказал, чтоб он ставил на эту работу человека, заслуживающего большего доверия, чем я. «Чепуха, — сказал бригадир, — где ж это видано, чтоб моряк воды не выпил. Ты за сохранность молока не расписываешься, какое тебе дело, сколько не хватает».

Зарплата начислялась мне от надоя молока — 20 копеек за перевезенные 100 литров, пастухи за те же сто литров получали 80 копеек, а доярки, если я не ошибаюсь, что-то около 1 р. 20 к. или немного больше, но меньше, чем зимой. Надои же были очень невысоки: с четырех литров, на одну корову зимой, они поднялись едва до шести, и на 150 голов составляли 800-900, а то и 600-700 литров в день, так что мой средний заработок был немногим более 1 р. 50 к. в день; заработок пастуха — 3 р. в день, если пасли вдвоем, и 2 р., если пасли втроем; а средний заработок доярки — от полутора до двух рублей. С середины июня надои не повышались, а с июля начали даже падать. Не помогали повешенные на дойке два плаката. Один призывал доярок удвоить усилия, чтоб увеличить надои, а другой — увеличить усилия, чтоб удвоить надои. Оба были в стихах, и в каждом рифмовалось «удвой» и «надой». Доярки, впрочем в низких надоях виноваты были мало, скорее уж пастухи. Они пасли сначала втроем, каждый отдыхая через два дня, потом Пашка Кабанов пасти отказался, сославшись на грыжу, и стал возить сливки на маслозавод. Остались Лева с Санькой, которым пришлось теперь пасти ежедневно, мест они не знали и вообще пасти не хотели. У Саньки кончился срок, но он никуда из деревни не уезжал, так как ехать ему было некуда, а жил попрежнему у Нади Кабановой. В день освобождения он напился, пьяный заснул посредине главной улицы в Кривошеине, и милиция опять отобрала у него паспорт, так что ему

пришлось занимать у меня деньги, чтобы заплатить штраф и получить свой паспорт. Они и пасли с Левой все время пьяные, вдобавок подрались, оба бросили стадо, и коровы потоптали несколько гектаров овса. Пока их вызвали в милицию, а на их место прислали другого пастуха, о котором я еще скажу, произошло новое событие: Сонька уже в который раз показала свой голый зад на дойке, но на этот раз другая доярка на нее пожаловалась, Соньку вызвали в суд и оштрафовали на 25 рублей. Она боялась, что ее могут посадить на несколько суток и, перед тем как ехать на суд в Кривошеино, зашла ко мне и попросила одолжить денег на хлеб, чтоб не сидеть на одной тюремной пище. Я ей деньги дал, внутренне усмехаясь и про себя вспоминая, сколько она нас с Гюзель попрекала, что нам ее свекровь печет хлеб. После штрафа Сонька на всех доярок обиделась и на ферме работать бросила, так что доить пришлось самой Стешке. Этим дело не кончилось. На допросе в милиции Лева с Санькой повели себя очень некрасиво и показали, что подрались и оставили стадо они потому-де, что накануне пили бражку у колхозницы Маруси Кабановой, жены бывшего пастуха, и ту, на основании их показаний, привлекли уже к уголовной ответственности за браговарение.

В разгар этих малоприятных событий неожиданно объявили, что в клубе будет общее собрание, где представители милиции сделают важное сообщение. Уже за несколько дней до этого ходили слухи о каких-то новых строгостях, в частности о введении резиновых дубинок. Приехали участковый уполномоченный, еще один милицейский, какой-то человек в штатском, а также председатель колхоза и парторг. Собрание открыл человек в штатском; он сказал, что подобные собрания проводятся сейчас по всей стране, на всех предприятиях и во всех колхозах и совхозах, чтобы «разъяснить трудящимся» два новых мероприятия: указ об усилении ответственности за хулиганство и вооружение милиции резиновыми дубинками. Резиновые дубинки были особенно щекотливым пунктом, поскольку до сих пор они играли немаловажную роль в антиамериканской пропаганде и, как я помню с детства, в многочисленных газетах, журналах, книгах, фильмах и плакатах резиновая дубинка иначе как «символом американской демократии» не называлась. Человек в штатском зачитал отпечатанный на ротапринте разъяснитель-

ный циркуляр, сопровождая его собственными комментариями. Начал он с того, что «Центральный комитет нашей партии и наше правительство не от счастливой жизни решили ввести резиновые дубинки накануне пятидесятилетия советской власти», затем зачитал, что преступность в нашей стране непрерывно возрастает, особенно среди молодежи, наибольший процент преступлений дает хулиганство, которое можно отнести к наиболее опасным преступлениям; что необычайное распространение получило различное холодное самодельное оружие: финские ножи, кистени и так далее, которые многие изготовляют прямо у себя на работе, а другие делают вид, что не замечают этого. Кончил же тем, что жизнь советских людей год от года становится все краше. «Я вот, например, был в вашей деревне лет пять назад, — сказал он, — так более забитого и серого народа, чем вы, не видел, а теперь уже смотрю — вы более или менее на людей стали похожи».

Участковый сказал кратко, что нарушителям от резиновых дубинок не поздоровится, и на всех милицейских лицах выразилось нетерпение получить скорее в руки дубинку для искоренения правонарушителей. Еще он добавил, чтоб колхозники не валили все безобразия, творящиеся в районе, на «тунеядцев», они и сами хороши, а вот в вашей деревне есть «тунеядец» Амальрик, так за ним пока ничего плохого не замечено, правда, он пытался однажды украсть дрова, но это дело простительное. Последним выступил председатель, он сетовал, что в Гурьевке так матерятся, даже девочки шестнадцатилетние, что ему сюда и приезжать не хочется. Далее была выбрана народная дружина с Шаповаловым во главе, и на этом собрание закончилось.

Интересно, что почти все колхозники поняли дело так, что резиновыми дубинками будут наказывать по специальному приговору суда вместо штрафа и заключения или же вдобавок к ним. Одни недовольно говорили, что теперь-де не те времена, чтоб людей дубинками лупить, другие же спокойно возражали: все, мол, идет к старому, раньше был помещик, а теперь председатель колхоза, раньше розгами секли крестьян, а теперь дубинками резиновыми. Но как мне кажется, реакция на резиновые дубинки была все же довольно болезненная, и их вве-

дение, учитывая довольно смутные представления нашей милиции о пределах своих полномочий, приведет, я думаю, еще ко многим осложнениям, как, например, в Туле летом 1967 года, когда там из-за удара дубинкой произошло целое столкновение между милицией и рабочими.

В июле в колхозе опять ожидались томичи, и мне стали намекать, что теперь секретарь райкома твердо уже распорядился меня выселить, и в моем доме поселят томичей. Я отвечал, что поселить могут кого угодно, но я сам никуда оттуда не пойду. Томичей там не поселили, но мне пришлось уйти из дома, в котором я прожил год, гораздо раньше, чем я думал.

В деревне появился новый пастух. Со своей женой и двумя детьми он в начале лета приехал неизвестно откуда в Новокривошеино и изъявил желание работать в колхозе. Сначала он недолгое время пас коров в Новокривошеине, а когда понадобился пастух в Гурьевку, его послали сюда. Колхозники втихомолку над ним посмеивались, говоря, что нужно быть окончательно пропащим человеком, чтоб самому пойти в колхоз, что такой человек хуже в тысячу раз «тунеядца», которого все-таки насильно сослали. Наоборот, председателю, которого радовало, что кто-то сам пошел к нему в колхоз, хотелось, чтоб пастух этот был образцово-показательным и служил всем примером. Когда тот жил еще в Новокривошеине, он призвал его к себе в контору и стал дружески пенять: что это вы-де всё с тунеядцами якшаетесь, я вот их за людей не считаю, лучше бы вам завести дружбу с нашими уважаемыми колхозниками. «А что мне ваши колхозники, — ответил новый пастух, — у них один разговор: вот моя свинья, да вот моя корова. У меня коров нет, а с тунеядцами у меня общие интересы: как бы скорее получку получить да напиться». После этого разговора пастуха и отправили к нам в Гурьевку.

Поселить его решили ко мне. Избу внутри побелили, и через день на тракторной тележке перевезли вещи пастуха, меня же никто не трогал и никуда уходить не предлагали. Пастух выпил в честь переезда с трактористом и спросил меня: вот ты здесь давно живешь, а много ли добрых дел ты сделал? Я всю жизнь разговоров о «добрых делах» не терпел и про себя подумал: посмоторим, каких дел ты наделаешь.

Первая же ночь показалась мне адской. Раньше я посыпал везде избу дустом от комаров, теперь же жена пастуха, молодая, но какая-то истощенная и вся как бы вылизанная от волос до ног женщина, сказала, что это для детей вредно, и ночью меня зверски кусали комары. Вдобавок она истопила печь, и я чуть не задохся от жары. Всю ночь пастух ругался с женой. Дети орали. Воняло мочой и грязным бельем. То же было и на второй день. Только мой кот Дима был доволен, потому что ему перепало много рыбы. Пастух пропил все деньги, и семья его питалась только рыбой, которую он ловил в пруду; ее даже не жарили, потому что не было масла, а просто варили в воде и ели с черным хлебом, а для детей я дал сахару и пачку какао, которое мне прислала Гюзель. Вообще же дети эти никаких теплых чувств у меня не вызывали. Оба были мальчики: один годовалый, весь какой-то крошечный и сморщенный, почти все время плакал; второму было три года, но он еще не научился говорить и ходил почему-то все время голый, упорно не давая надеть на себя штаны.

Третьи день и ночь были не лучше; если днем я раньше ложился немного поспать, так как за ночь не высыпался, то теперь больше сидел во дворе, чтоб отдохнуть от крика, и ждал, когда же снова на работу, как раньше ждал возвращения домой. Чтоб писать что-нибудь, не могло быть и речи, все свои бумаги я спрятал, а машинку закрыл и убрал под кровать. Жена пастуха предложила мне почитать две книжки, которые очень хвалила. Одна оказалась романом Горького «Мать». После первых фраз я его читать бросил, настолько вычурным и претенциозным языком в стиле худших декадентстких произведений «конца века» был написан этот первенец «социалистического реализма». Вторая книжка, без начала и конца, была, как я понял, сборником болгарских рассказов, более безыскусственных, но книжка сама настолько пропиталась смешанными запахами детской каши и мочи, страницы ее были настолько липкими и грязными, что ее противно было в руках держать, не то что читать.

На второй же день я решил, что уеду из дома; единственное место, которое мне еще оставалось, — это конюховка. Конюховка, или помещение конюха, была маленькая избушка возле

конюшни, где зимой хранились хомуты, дуги и прочая упряжь и овес для коней. Когда-то у избушки были сени, но этой зимой их распилили на дрова, внутри стояла железная печка, было два маленьких оконца, одно против другого, и лавки справа от двери. Электричества проведено не было, а также не было крыши, был только потолок, засыпанный землей. В сухую погоду земля сквозь щели все время сыпалась вниз, а в дождь полились бы потоки грязи. Однако выбора не было; договорившись с бригадиром, я начал собирать свое имущество. Я погрузил на телегу огромный стол с надписями, свою кровать, а также кастрюлю, чайник, сковородку, рукомойник, матрас, одеяло и другие вещи, сверху села маленькая Сонькина дочь с черным котенком в руках, и Лысый потащил мое добро мимо школы и фермы к конюховке. По дороге стояли бабы и удивленно качали головами: сколько Андрей богатства накопил! Действительно, все сразу не вместилось и пришлось грузить еще одну телегу. Едва мы добрались до конюховки, как мой перепуганный кот выскочил из рук у девочки и бросился бежать назад. Я решил, что он побежал к старому дому, потому что коты обычно привыкают к дому, а не к людям. Дорогу он знал хорошо, потому что иногда ходил со мной за молоком на ферму рядом с конюховкой. Однако поздно вечером я услышал поскребыванье в дверь и мяуканье, и мой черный котик вбежал в конюховку и начал обнюхивать новую квартиру.

Я обмахнул грязь со стен, расставил мебель, мой сосед умный старик Разуванов вставил стекла, одна доярка вымыла пол, на дверь я повесил мешок, чтоб комары не лезли сквозь щели, и зажил роскошной жизнью. Меня смущал только дырявый потолок, но до первого дождя я рассчитывал соорудить некое подобие крыши над своей постелью. В конюховке было слишком жарко, но зато уж никто мне не мешал, и я был уверен, что на мое жилище теперь никто не польстится. Рядом была конюшня, и я был теперь по крайней мере спокоен, что мой конь от конюшни никуда не убежит. Тут, правда, Лысого у меня забрали на сенокос, я хотел было взять Серую, но она недавно ожеребилась, а жеребенок не хотел бегать за ней и не уходил от коней. Когда я вез на ней мешок с овсом по одной стороне пруда, на другой заржал ее жеребенок, она не задумываясь бросилась в воду вместе с телегой и хотела плыть, мешок сва-

лился в воду, и насилу мне удалось повернуть ее назад и вытащить мешок. После этого я взял старого Сокола, рассчитывая ездить на нем, пока на сенокосе заняты другие кони. А он, как я его распрягал, так и стоял почти на одном месте.

Едва я переехал в конюховку, случилось новое происшествие. На работу не вышел ни один пастух: ни колхозного стада, ни деревенского. Обеспокоенные доярки, видя, что стадо стоит в загоне, а свои коровы по дворам, пошли искать пастухов и зашли в бывший мой дом, где застали дым коромыслом. Новый пастух бьет свою жену, Санька обнимается с Катей, а пьяный Федя спит под столом, на столе же стоит самогонный аппарат и бутыль самогону. Доярки бросились к новоорганизованным дружинникам во главе с Шаповаловым и стали звонить в правление колхоза. Нагрянули дружинники, самогонный аппарат и бутыль нашли уже спрятанными в погребе и конфисковали. Я же благодарил Бога, что вовремя унес оттуда ноги, до всех еще «добрых дел». Но, к счастью для пастухов, все кончилось благополучно: дружинники не удержались и выпили конфискованный самогон, после чего дело замяли. Сидя у себя в конюховке, я подумывал, что новый пастух здесь долго не пробудет и я, может быть, еще смогу вернуться в старый дом. Однако в моей жизни предстояло новое изменение, гораздо более важное, чем переезд в конюховку и обратно.

9-го июля, когда я распряг после утренней дойки коня и пошел в деревню, чтобы купить себе луку, меня возле магазина остановила почтальонша и со словами: «Вроде тебе телеграмма» — протянула мне желтый служебный конверт. В таком же точно конверте получил я десять месяцев назад известие о болезни отца. Я так испугался, подумав, что что-нибудь случилось с Гюзель, что до меня не сразу дошел смысл телеграммы: «Приговор отменен. Постановление почтой. Бутылка с тебя, Гинзбург».

Глава двадцать пятая
БЕГСТВО. РЕШЕНИЕ ПРОКУРАТУРЫ. КОНЕЦ

Был я так взволнован, что долго ходил по пыльной дороге за конюховкой, думая о том, что произошло. Я не мог понять, отчего отменили приговор, но предполагал, что это продолжал хлопотать адвокат, не смутившись первым отказом и моим неверием в успех.

Я продолжал возить молоко, с нетерпением ожидая обещанного постановления суда, чтобы ехать с ним в милицию. Через неделю я получил письмо от адвоката, после чего почувствовал себя уже менее уверенным. Вот что он писал:

> «Андрей Алексеевич,
>
> Вы, вероятно, уже получили телеграмму, которую по моей просьбе послал Вам А. И. Гинзбург.
>
> Рассмотрение моей жалобы по Вашему делу чрезвычайно затянулось, и только 20 июня Верховный Суд РСФСР вынес определение об отмене необоснованного определения Народного суда о Вашей высылке.
>
> Прокуратуре Фрунзенского района Москвы предложено произвести дополнительную проверку материалов, в свое время представленных по Вашему делу.
>
> По приезде в Москву позвоните мне.
>
> Поздравляю Вас и желаю всего доброго».

Смутило меня, что материалы переданы в прокуратуру на доследование. Значило ли это, что меня должны освободить сразу же после решения суда, не дожидаясь результатов расследования, или же милиция будет ждать решения прокуратуры? Неизвестно также было, прекратит ли прокуратура дело или же вновь возбудит преследование против меня, а также, сколько ей понадобится времени для вынесения решения: может быть, тоже целый год, как и суду?

Захватив письмо, на следующий день я отправился в милицию. Комендант долго читал письмо, недоуменно вскидывая брови, и сказал, наконец, что им никаких распоряжений еще не поступало. «Подожди, впрочем, — вспомнил он, — сегодня как раз пришел какой-то пакет из Москвы, сейчас придет секретарь, и мы посмотрим». В пакете действительно оказалось по-

становление Верховного Суда. Оно было вынесено 20 июня и пришло в Кривошеино только 20 июля, ровно через месяц.

— Мы не знаем, как поступить, — сказал мне начальник отдела подполковник Коротких, — у нас такого случая еще не было. Будем ждать решения прокуратуры, а пока что продолжай работать по-старому. Во всяком случае, что бы прокуратура ни решила, мы тебя отпустим по половинке.

Самому посмотреть постановление суда мне по милицейской привычке не дали. Комендант пригласил меня к себе в кабинет, чтобы вернуть мне паспорт и трудовую книжку: это не было связано с решением Верховного Суда, а просто вышло новое постановление выдавать ссыльным документы на руки. Он велел мне здесь прописаться, но я решил пока с этим не спешить. Пока я сидел у коменданта, ввели под конвоем моего старого знакомого — Шапошникова. У Шапошникова в июле кончался пятилетний срок ссылки, но перед самым почти освобождением произошла новая неприятность: весной он опять из колхоза перешел работать в райпотребсоюз и там слегка проворовался. Недостача у него была маленькая — всего 36 рублей, и он ее тут же возместил, но все равно против него грозились завести уголовное дело. И теперь, при нашей последней встрече в милиции, Шапошников сказал мне, что его дело швах.

Когда я возвращался на попутной машине в Гурьевку, хлынул проливной дождь. Получив телеграмму, крышу я уже не стал делать, думая, что теперь все равно со дня на день поеду в Москву; теперь же с потолка хлынули потоки грязи, залив постель, стол и скамью с продуктами. На следующий же день я взял возле строящегося амбара несколько плиток шифера и с помощью сыновей Веры сделал себе крышу над той частью конюховки, где стояли стол и постель. Теперь я мог, не боясь дождя, сидеть в избушке и читать «Братьев Карамазовых», третий и четвертый томы которых я захватил по дороге в Новокривошеинской библиотеке.

Сразу как только я получил письмо адвоката, я написал Гинзбургу, прося его горячо поблагодарить адвоката и узнать у него точно, что мне теперь делать, что значит передача дела в прокуратуру на доследование и долго ли ждать результатов этого доследования. В деревне тоже с интересом ждали, от-

пустят ли меня. Получив телеграмму, я не мог сдержать радости и сказал, что на-днях от них уеду, теперь же все видели, что время идет, а я по-прежнему в Гурьевке. Узнав, что я получил письмо от адвоката, некоторые мужики говорили так: это, мол, тебя просто адвокат обнадеживает, ты ему небось денежки заплатил, вот он и старается тебя порадовать.

24 июля почтальонша с торжественным видом принесла мне в конюховку новую телеграмму: «Выезжай немедленно. Твое присутствие необходимо. Имеющихся документов вполне достаточно. Гинзбург».

— Ну, что пишут? — спросила почтальонша.

— Завтра же уезжаю, — сказал я.

Вечером я договорился с бригадиром, что молоко вместо меня теперь будет возить старший сын Веры, а утром снова поехал в милицию, чтобы переговорить с ними о своем отъезде. Я хотел сказать так: поскольку суд отменил мне приговор, на основании которого я нахожусь здесь в ссылке, у них нет никаких оснований больше меня удерживать; если же прокуратура примет решение вновь возбудить против меня дело или потребует восстановления старого приговора, то пусть меня снова и ссылают; во всяком случае пусть они дадут мне хотя бы маршрутный лист, чтобы я мог ехать в Москву, раз мое присутствие там «необходимо».

— Комендант здесь? — спросил я дежурного.

— Нет.

— А начальник отдела?

— Никого нет, — сказал дежурный, — сегодня все отправились на воскресник, на стройку, приходите завтра.

Что было делать? Было два выхода: переночевать здесь в гостинице и завтра опять идти в милицию, и неизвестно было, дадут ли они мне разрешение на выезд или, наоборот, воспрепятствуют отъезду; но можно было поступить по-другому — раз от меня требовали «выезжать немедленно», то и выезжать завтра утром, не спрашивая разрешения милиции. Пока я шел по селу мимо жухлых кривошеинских заборов и обдумывал это, я выбрал второй путь и решил ехать на свой страх и риск.

Теперь мне оставалось получить в колхозе деньги: зарплату за июль и четвертую часть всего заработка за полгода, которую у меня удерживали на зерно. Зерно мне не было нужно, я хотел получить деньги, но прекрасно понимал, что без справки об освобождении колхоз со мной рассчитываться не будет. Пожалуй, на дорогу мне хватило бы тех денег, что у меня были с собой, но ведь мне как-то надо было жить первое время в Москве. Тогда я выбрал такой план действий.

— У себя ли председатель? — спросил я, войдя в контору колхоза.

— Его нет, будет только через полмесяца, он уехал отдыхать, — сообщил неожиданную для меня новость бухгалтер, старик прижимистого вида.

— Я нахожусь здесь в ссылке и работаю в вашем колхозе, — сказал я бухгалтеру, что он, впрочем, знал и без меня. — Суд отменил мне приговор, и завтра я срочно уезжаю в Москву, я хотел бы получить расчет.

— Давайте вашу справку об освобождении и ведомость, какие продукты вы брали за этот месяц в кладовой.

— У меня нет ни того, ни другого, — сказал я, и бухгалтер развел руками.

— Как же мы будем вас рассчитывать?

— Я только что из милиции, — сказал я, — сегодня там все на воскреснике, поэтому я и не смог получить справку, мне дадут ее завтра, но я тут же уеду в Москву, не возвращаясь в колхоз, потому что я вызван срочной телеграммой. Не можем ли мы сделать так: формально меня не рассчитывая, вы дадите мне пока аванс в счет заработанных мной денег, а оставшуюся сумму вышлите потом мне в Москву, когда получите из милиции подтверждение о моем освобождении.

Бухгалтер долго колебался, сказал, что это должен решить заместитель председателя, того тоже не было, я долго сидел и напрасно ждал его; наконец бухгалтер решился и сказал, что может дать мне не более пятидесяти рублей, поскольку не знает, много ли я взял в кладовой за июль. Таким образом, колхоз оставался мне должен примерно восемьдесят рублей: я в кладовой вообще ничего не брал.

Вечером я вернулся в Гурьевку. Мне предстояло еще одно дело: пристроить куда-то своего кота. Я отнес его к Пашке Кабанову, который был человеком неплохим и добрым, и заодно договорился с Пашкой, что завтра утром, когда он повезет в Кривошеино сливки, он возьмет меня с собой. Я зашел проститься на дойку, попрощался со многими колхозниками и сдал кладовщице колхозные вещи. С собой я брал только пишущую машинку и чемодан, а другие свои вещи раздарил. Я остриг бородку и тщательно побрился, чтоб не обращать на себя внимание в дороге.

Рано утром мы отправились в путь на сварливой кобыле Одноклубой и молоденьком мерине Буром, на котором я начинал свою короткую карьеру пастуха. Медленно катилась наша телега по заброшенной грязной дороге, мимо начинавших уже желтеть берез. Мы ехали через Долорез, мертвую сибирскую деревню, где только кое-где торчали сгнившие остовы изб да стояло два-три полуразвалившихся дома. Когда еще смогу я здесь побывать?

На пристани меня ждала неприятная неожиданность: все катера и пароходы были перегружены и шли, не останавливаясь в Кривошеине. Я потащился на другой конец села, к автобусной станции, каждую минуту рискуя попасться со своими чемоданами на глаза кому-нибудь из милиции. На автобусе пришлось ехать с двумя пересадками, и в Томск я приехал около восьми вечера. На поезд «Томск-Москва» билетов не было, мне сказали, что сейчас самое горячее время, билеты покупают за неделю вперед. Я решил хоть как-то добраться до Тайги, а там поезда ходят часто, но и до Тайги ближайший поезд шел чуть ли не через сутки. В одиннадцать вечера подошел поезд «Томск-Москва», к нему сразу же ринулась толпа пассажиров.

— До Тайги доедем как-нибудь? — обратился я к пожилой проводнице общего вагона, когда почти все уже сели и до отправки поезда оставалось несколько минут. Та только замахала руками: все время, мол, ходят ревизоры. Но я настаивал и обещал хорошо заплатить, так что она в конце концов уступила. Но через час в вагоне действительно появились контролеры.

— Билета нет? Придется сойти, — сказал мне усатый дядя сурового вида. Но, видно, ему что-то шепнула проводница,

потому что меня не тронули, хотя на маленькой станции между Томском и Тайгой, где поезд останавливается только раз в сутки, ссадили человек десять безбилетников.

В Тайге я первым делом сдал багаж и пошел брать билет. Едва я подошел к кассе, как кто-то тронул меня за плечо.

— А ну-ка пройдем, — сказал милицейский старшина, указывая мне на дверь в служебное помещение. — Куда вы едете? Где ваш багаж? Документы у вас есть?

Я подумал, что кривошеинский комендант, узнав о моем отъезде, предупредил железнодорожную милицию, чтоб меня задержали в дороге.

— Я еду в Москву, а мой багаж в камере хранения, — сказал я и протянул ему паспорт. Там вместо штампа о прописке была пометка: «Гор. Москва. 5-е отделение милиции. ВЫПИСАН за пределы города в распоряжение УООП гор. Томска 29 мая 1965 г.» Я объяснил, что нахожусь в ссылке в Кривошеинском районе, но теперь Верховный Суд РСФСР отменил мне приговор и я еду в Москву.

— Постановление суда у вас? — спросил старшина.

— Нет, оно в отделе милиции в Кривошеине.

— А справка об освобождении?

— Я не успел ее взять, — ответил я, — я срочно выехал по телеграмме адвоката.

— Ну, так покажите телеграмму.

— Она в чемодане в камере хранения, — сказал я, — можно взять ее оттуда.

Старшина колебался. Я понял, что кривошеинская милиция пока еще ничего обо мне не сообщала, просто ему показался подозрителен мой потрепанный вид и отсутствие багажа. Отсутствие справки об освобождении тоже его насторожило, зато большое впечатление произвело упоминание Верховного Суда.

— Что ж ты думаешь, такого, как ты, теперь в Москве пропишут? — спросил он, продолжая рассматривать мой паспорт.

— Конечно, пропишут, — сказал я — раз Верховный Суд отменил мне приговор как необоснованный.

— Ну что ж, поезжай, — решился старшина. Всего минут через десять уже должен был проходить скорый «Красноярск-Москва». Я купил билет, взял багаж, и пока ждал поезда, старшина еще несколько раз прошелся мимо меня. Видно было, что он очень колеблется. К счастью, подошел скорый поезд «Енисей», следующий из Красноярска на Москву, и я быстро прошел в свой вагон. Я подумал, что железнодорожная милиция позвонит теперь в Кривошеино проверить, отпущен ли я, там ответят, что разрешения на выезд мне не давали и я попросту бежал, и меня задержат уже где-нибудь в дороге или по прибытии в Москву. Трое суток пути провел я в этом нервном ожидании, мало ощущая поэтому радость, что возвращаюсь домой, да и дома у меня в Москве не было. Все это наяву напоминало мне мои сибирские сны.

Однако никто меня не задержал, и 29 июля, в семь часов утра, я оказался на Комсомольской площади в Москве. Сразу же я поехал к Гинзбургу. Гинзбург рассказал, что, несмотря на мое неверие в успех дела, адвокат подал жалобу в прокуратуру РСФСР. Прокуратура жалобу приняла и опротестовала решение Народного суда в Московском городском суде. Московский городской суд протест отклонил и приговор Народного суда оставил в силе. Адвокат вновь подал жалобу в прокуратуру, и прокуратура опротестовала решения районного и городского суда в Верховном Суде РСФСР. 20 июня Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР отменила постановление Народного суда о моей высылке и постановление Московского городского суда и передала дело в прокуратуру Фрунзенского района на доследование. Определение Верховного Суда я потом видел, отмена приговора мотивировалась там так: во-первых, как следовало из моей трудовой книжки, показаний свидетелей и моих показаний, большую часть жизни я от общественно-полезного труда не уклонялся и потому «тунеядцем» считаться не могу; во-вторых, данные судебно-медицинской экспертизы не позволяют заключить, пригоден ли я вообще к физическому труду; в-третьих, Народным судом не установлено, в чем именно заключался мой «неправильный образ жизни» и что делали приходившие ко мне иностранцы; о больном отце не было сказано ни слова.

Гинзбург сказал, что он договорился со своими друзьями, и

я смогу жить у них в квартире до середины августа, пока они не вернутся в Москву. Тем временем, как только прокуратура прекратит мое дело, я могу хлопотать о возвращении комнаты, это он и имел в виду, требуя моего немедленного приезда. В тот же день я смог, наконец, снова увидеть Гюзель: она жила в маленькой деревне под Москвой.

Дня через два я встретился с адвокатом, которому был обязан своим возвращением в Москву. Я сказал о своих опасениях в связи со столь поспешным отъездом. Адвокат ответил, что поскольку суд отменил мне приговор, я возвращаюсь к тому правовому состоянию, в каком был до вынесения приговора. Вообще же мое положение довольно сложно до вынесения определенного решения прокуратурой; может случиться так, что прокуратура затребует меня из Кривошеина, а оттуда ответят, что я уже уехал, не дождавшись их решения. Он предусматривал даже вариант, что мне придется ехать назад для получения справки об освобождении. Он добавил еще, что Фрунзенская прокуратура пользуется репутацией крайне консервативной, и это может служить дополнительным препятствием. Пока же мы решили просто ждать решения прокуратуры, и я в нетерпеливом ожидании жил с Гюзель в любезно предоставленной мне квартире.

Из-за квартиры этой мне тоже пришлось пережить порядочно передряг. То дворничиха однажды вздумала не пускать меня туда и даже грозила донести в милицию, то понаехали какие-то знакомые и родственницы хозяев, которые подняли такой шум, что неоднократно приходили с претензиями и тоже грозили милицией соседи сверху и снизу. Одна из этих родственниц подцепила где-то молодого человека, который стал ломиться за ней в квартиру. «Ко мне нельзя, я уже раздета», — отвечала она из-за двери, но того это еще больше распаляло, так что я велел ей сказать, что, наоборот, она очень плотно одета, даже в пальто, после чего тот немного успокоился. Если добавить, что я жил в постоянной боязни задержания и на улице каждого милиционера обходил за версту, то можно понять, что нервы у меня были взвинчены до предела. Чтобы как-то ускорить дело, я решил, с согласия адвоката, попросить содействия у газеты «Известия». Там меня встретили очень дружелюбно и обещали помочь, но их помощь уже не потребовалась.

19 августа я позвонил адвокату, и тот сообщил мне, что вчера прокуратура приняла решение о прекращении дела. Дня через четыре, выждав срок, якобы нужный мне для приезда из Сибири, я смогу зайти в 5-е отделение милиции и получить у оперуполномоченного Горохова постановление, с которым могу начать хлопоты о возвращении комнаты. Теперь я мог чувствовать себя более уверенно. Адвокат сказал еще, что он слышал в милиции, что якобы мои пьесы были изданы в Дании и это послужило одной из причин судебного преследования. Я отнесся к этому милицейскому слуху с недоверием, во-первых, я даже не знал никого из датчан и никому из них не давал своих пьес, во-вторых, после истории со своей работой о норманнах я вообще не доверял всему, что исходило из Дании.

Старший лейтенант Горохов, щуплый и утомленный, встретил меня довольно любезно, сказал, что завтра уезжает отдыхать куда-то на Кавказ, и спросил, не знаю ли я, хорошие ли там места. Он дал мне постановление и спросил: «Ну как, работать теперь будете?» Я пожал плечами. Там же я встретил следователя Новикова и спросил, правда ли, что мои пьесы изданы в Дании. Оба только разводили руками, говоря: точно мы не знаем, но такой слушок был. Новиков вновь завел речь об украденных у меня иконах. Чтобы успокоить его, я сказал, что подозреваю в этом сотрудников КГБ, а не милиции, поскольку сотрудники милиции менее культурны и мало разбираются в иконах. Новиков страшно обиделся. «Напрасно ты так говоришь, — сказал он, — мы разбираемся в иконах ничуть не хуже КГБ, у нас на Петровке есть люди, окончившие исторический факультет».

Врученное мне постановление было столь любопытно, что я здесь его почти целиком приведу:

«УТВЕРЖДАЮ,
Начальник отдела милиции Исполкома
Фрунзенского райсовета гор. Москвы,
подполковник милиции РЫКАЛИН.
18 августа 1966 г.

Постановление
о прекращении материалов.

Я, оперуполномоченный 5-го отделения милиции гор. Москвы, ст. лейтенант милиции Горохов, рассмотрев выделенные материалы из уголовного дела № 3381 в отношении Амальрика А. А.,

УСТАНОВИЛ:

Амальрик Андрей Алексеевич, 1938 года рождения, уроженец г. Москвы, русский, беспартийный, образование среднее, холост, без определенных занятий, не судим, проживал: г. Москва, Суворовский бульвар, д. 12, кв. 10.

Опросом Амальрика А. А. установлено, что свою трудовую деятельность он начал в 1957 году, работал на различных предприятиях и в учреждениях, с работы, как правило, увольнялся по собственному желанию... [Тут идет долгий перечень, где и когда я работал].

Амальрик 5. 3. 65 года был вызван в 5-е отделение милиции г. Москвы, где от него было отобрано предупреждение о трудоустройстве на работу до 20. 3. 65 года, ему разъяснен Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 4. 5. 61 года «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни» и был предупрежден об ответственности в случае невыполнения этого указа. После отобранного предупреждения Амальрик на работу не устроился, за что был нарсудом Фрунзенского р-на г. Москвы выселен 28 мая 1965 года на 2 г. 6 мес. в установленные законом места поселения за тунеядство.

31 марта 1966 года заместитель прокурора РСФСР вынес протест в порядке надзора в Мосгорсуд с просьбой отмены постановления нарсуда Фрунзенского р-на г. Москвы от 28 мая 1965 г. в отношении Амальрика А. А., и от дальнейшего пребывания его в местах поселения освободить.

7 апреля 1966 года Президиум Московского городского суда рассмотрел протест зам. прокурора РСФСР и оставил его без удовлетворения.

8 июня 1966 года заместитель прокурора РСФСР внес вторично протест в порядке надзора в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РСФСР. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР вынесла определение: Постановление Фрунзенского районного нарсуда г. Москвы от 28 мая 1965 г. и Постановление Московского горсуда от 7 апреля 1966 г. в отношении Амальрика Андрея Алексеевича отменить и дело направить прокурору Фрунзенского р-на г. Москвы для дополнительной проверки.

Произведенной дополнительной проверкой установлено, что к Амальрику, когда он проживал в г. Москве по адресу: Суворовский б., 12, 10, часто приходили молодые люди, в том числе и иностранцы, и уносили от него картины абстрактного содержания. Были опрошены все жильцы квартиры, которые сказали, что делали приходившие к Амальрику граждане в его комнате, не знают и их фамилий и имен также не знают.

Была произведена повторная трудовая экспертиза которая дала заключение, что Амальрик Андрей Алексеевич освидетельствован комиссией Бюро судебно-медицинской экспертизы 30 апреля 1965 г., которая в связи с наличием у обследуемого митрального комбинированного порока сердца, ревматической этиологии, признала его ограниченно трудоспособным, т. е. работу, связанную с поднятием тяжестей, Амальрик выполнять не может.

Материалы дополнительной проверки были доложены зам. прокурора Фрунзенского р-на г. Москвы т. Орлову, который дал указание дополнительное производство по делу прекратить, о чем вынести постановление.

На основании вышеизложенного

ПОСТАНОВИЛ:

Материалы на Амальрика А. А. дальнейшим производством прекратить.

О/Уполномоченный дознания
5-го о/м, ст. лейтенант милиции ГОРОХОВ.
«Согласен», Начальник 5-го о/м
подполковник милиции АКУЛОВ».

То есть, как ни странно это покажется, в качестве основания для прекращения дела против меня были выдвинуты те же самые обстоятельства, что и в приговоре суда о моей ссылке.

С этим постановлением я отправился в жилищный отдел Исполкома райсовета, откуда меня отправили к юристу Исполкома, пожилой и довольно приветливой женщине. Однако растолковать ей мое дело стоило больших усилий, ее удивляло также, что у меня нет справки об освобождении. Я объяснял, что так поспешно уехал, что не успел ее взять. Наконец она сказала, чтоб я написал заявление председателю Исполкома и приложил к нему заверенные копии Определения Верховного Суда и Постановления прокуратуры, выписку из домовой книги и копию лицевого счета, подтверждающих, что я имел раньше комнату в Москве.

В канцелярии Верховного Суда я получил копию Определения, а когда зашел в Жилищную контору за выпиской из домовой книги, паспортистка сказала, что меня разыскивает мой старый знакомый Киселев, чтоб передать мне какую-то важную бумагу. Через полчаса пришел сам Киселев, поинтересовался, «принесла ли мне пользу» ссылка, и торжественно вручил справку об освобождении. Оказывается, кривошеинская милиция выписала ее на третий день после моего отъезда и переслала в 5-е отделение в Москву. В справке, подписанной подполковником Коротких, было сказано, что я находился с 21 июня 1965 г. в ссылке в Кривошеинском районе Томской области, откуда 29 июля 1966 года был «освобожден на основании определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР от 20 июня 1966 г.».

Теперь я смог передать исполкомовскому юристу все документы, и в начале сентября Исполком принял решение предоставить мне комнату в Москве. Тут началась канитель в Жилищном отделе: каждый день меня просили позвонить завтра-послезавтра. Наконец начали предлагать комнаты, но маленькие и лишенные самых элементарных удобств, так что в одной квартире даже уборной не было. От всего этого я категорически отказывался, и жилищный инспектор сказала мне, что больше ничего она мне предлагать не будет и чтоб на лучшую комнату я не рассчитывал.

Я решил узнать, не могу ли я тогда потребовать возвращения

комнаты через суд. Я зашел в юридическую консультацию при Народном суде, где меня судили. Выслушав мое дело, юрисконсульт сказал: «Должен вас огорчить, но, по существующему жилищному законодательству, вы вообще не имеете никаких прав на площадь в Москве. Раз вы подверглись административной высылке, то по истечении шести месяцев вы во всех случаях теряете право на площадь, независимо от того, правильно вы были высланы или нет, отменили вам приговор или оставили в силе. Это Исполком просто пошел вам навстречу или же не знал точно закона». Я почувствовал, как с прочного берега меня столкнули в воду, а плавать я не умею.

Между тем мне нужно было где-то жить. Из той квартиры, где я поселился сначала, в конце августа мне пришлось уйти. До середины сентября я жил у товарища, а потом, с большим трудом, мы с Гюзель сняли за 30 рублей в месяц комнату в старом доме недалеко от впадения Яузы в Москва-реку, у пожилой супружеской пары. Старик, вообще тихий и кроткий, пил каждый день, а когда напивался, устраивал скандалы и требовал, чтоб мы уезжали. Это было еще ничего. Гораздо больше я напугался, когда жена его, чтоб утихомирить разбушевавшегося мужа, вызвала милицию, и прибывший участковый сразу же потребовал документы у нас. Ведь я жил без прописки, разъяснять мое дело было бы слишком долго, да и снимать комнату нам дальше не разрешили бы. Поэтому я показал только паспорт Гюзель, сказал, что я ее муж и указал на штамп о браке в ее паспорте. К счастью, штамп в паспорте успокоил милицию. Все наши деньги шли на плату за квартиру, и нам приходилось еще хуже, чем в Сибири. Жили мы в основном на продажу книг из моей библиотеки.

По совету исполкомовского юриста я сделал новый ход: подал 16 сентября еще одно заявление с просьбой предоставить мне комнату, по площади равную занимаемой мной до ссылки, поскольку я буду жить вдвоем с женой, и приложил к этому справку о ее тяжелом жилищном положении. Заместитель председателя Исполкома наложил положительную резолюцию, и мне, наконец, предложили комнату 18 м^2, правда, довольно темную, но в квартире с ванной и телефоном, а главное в районе Арбата, где я жил с детства. Больше привередничать я уже не мог, и 7 октября получил ордер. Теперь мне оставалось прописаться.

на прописку на основании полученного мной ордера. Дней через десять разрешение было получено; меня несколько удивил такой долгий срок, потому что, после получения ордера, прописка была уже простой формальностью. С разрешением милиции нужно было идти в Жилищно-эксплуатационную контору, платить маленький налог и давать свой паспорт, который опять передавался в милицию уже собственно на прописку. Только в начале ноября мне вручили мой повидавший виды паспорт со свежим штампом: «Гор. Москва, 6-е отделение милиции. ПРОПИСАН ПОСТОЯННО по Вахтангова ул. дом № 5, кв. № 5, 2 ноября 1966 г.».

Этим милицейским штампом кончилась история моей ссылки.

1966-1967,
Гурьевка-Москва-
Макаровка-Москва.